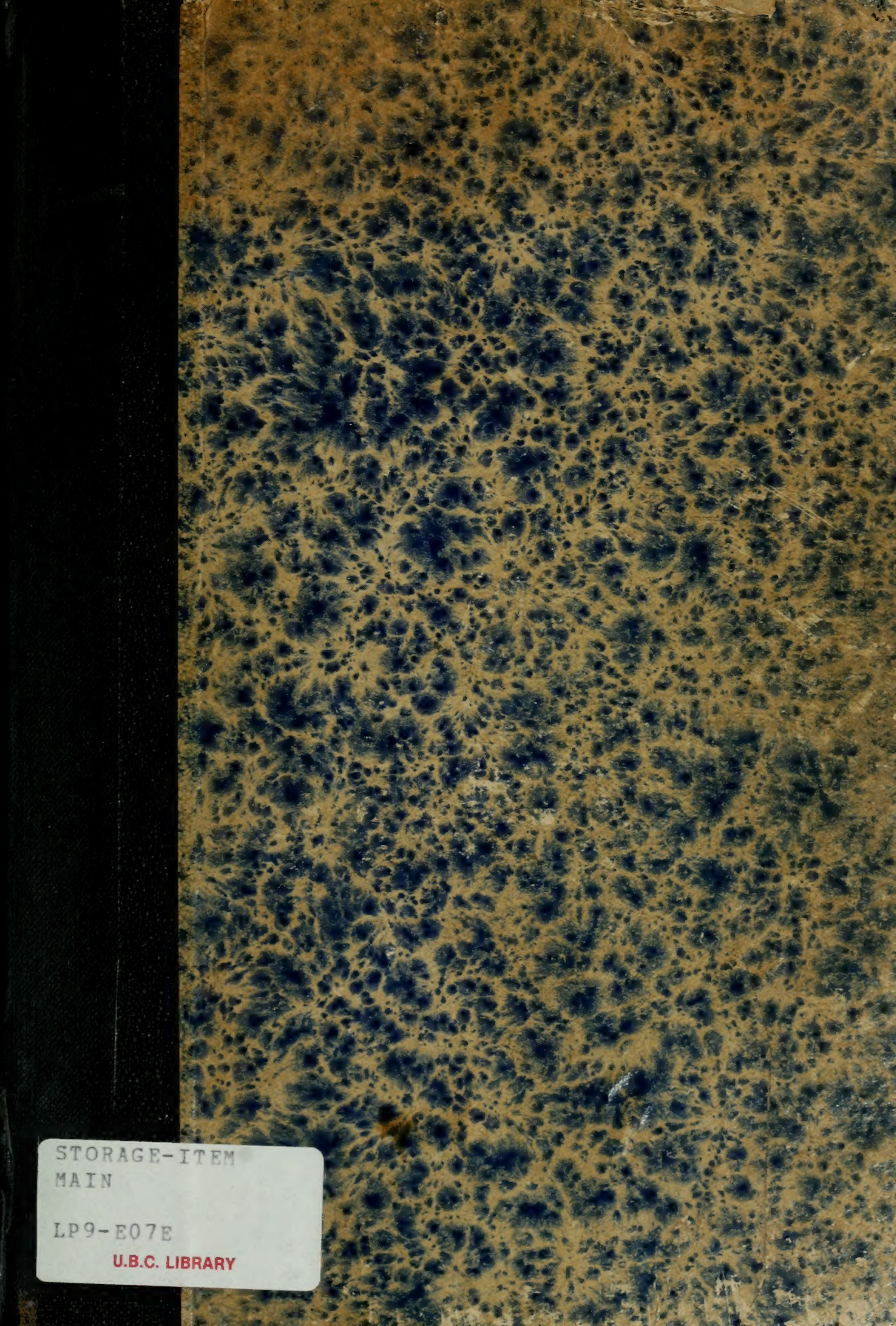
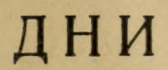


В. В. ШУЛЬГИНЪ

ДНИ

Бѣлградъ
Книгоиздательство М. А. Суворинъ и Ко. „Новое Время“
1925

Типографія „РАДЪ" Бѣлградъ, ул. Короля Милана 69.



ДНИ

Рожденные въ года глухіе
Пути не помнятъ своего.
Мы—дѣти страшныхъ лѣтъ Россіи—
Забыть не въ силахъ ничего...

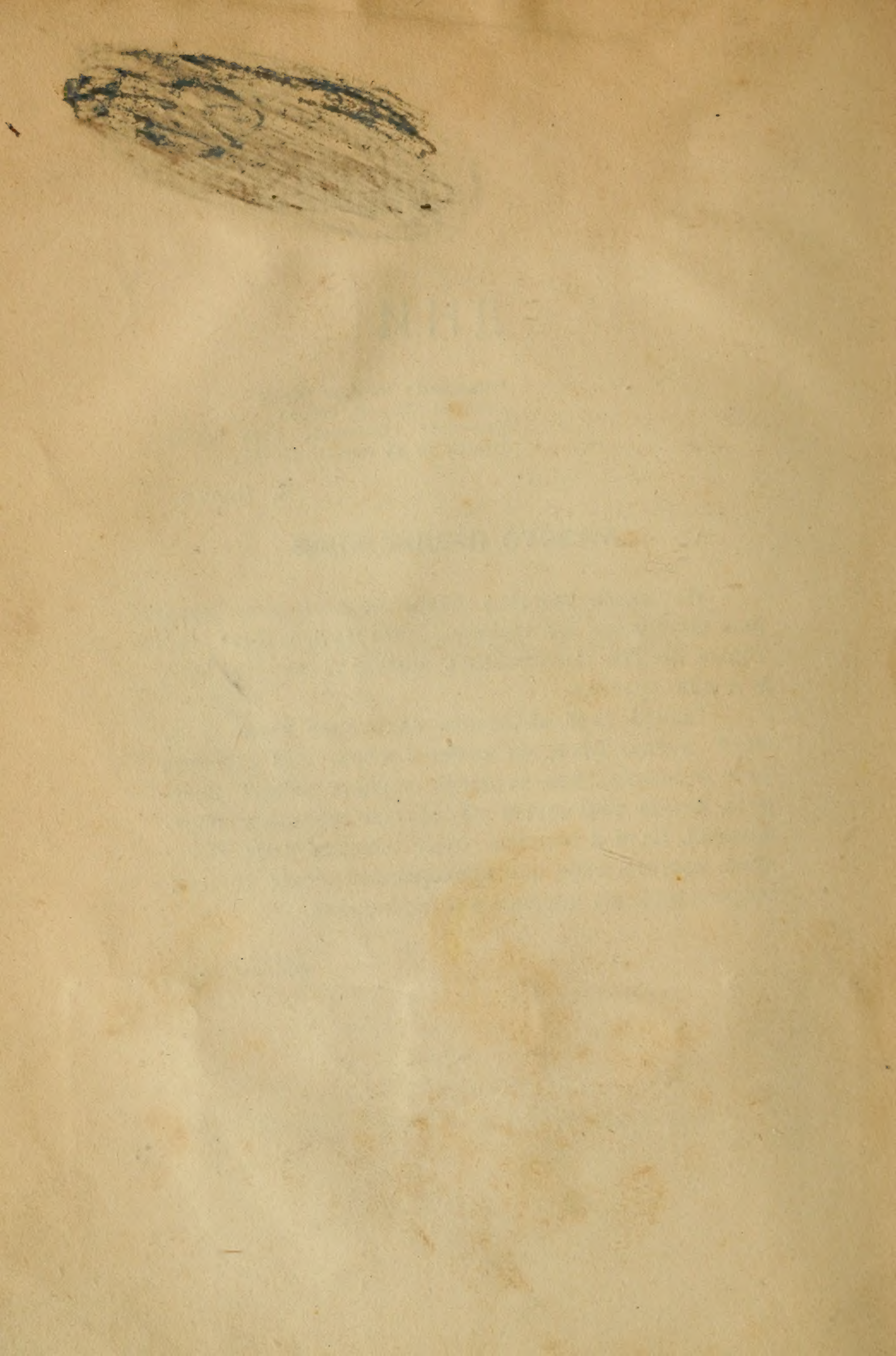
А. Блокъ.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ

Въ жизни каждаго человѣка есть дни, которые слѣдовало бы записать. Это такіе „Дни“, которые могутъ представлять интересъ не для него, а и для другихъ.

Такихъ дней набралось нѣкоторое число и въ моей жизни. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ кажется, хотя я сознаю, что не легко угадать общій интересъ изъ-за сбивающей сѣтки собственныхъ переживаній. Если я ошибся, буду утѣшать себя тѣмъ, чѣмъ льстятъ себя всѣ мемуаристы: плохія записки современниковъ хороши для потомковъ.

АВТОРЪ.



Первый день „конституціи".

(18 октября 1905 года).

Мы пили утреній чай. Ночью пришелъ ошарашивающій манифестъ. Газеты вышли съ сенсаціонными заголовками: „Конституція".

Кромѣ обычныхъ членовъ семьи, за чаемъ еще былъ одинъ поручикъ. Онъ былъ начальникомъ караула, поставленнаго въ нашей усадьбѣ.

Караулъ стоялъ уже нѣсколько дней. „Кіевлянинъ" шелъ рѣзко противъ „освободительнаго движенія"... Его редакторъ, профессоръ Дмитрій Ивановичъ Пихно, принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ людямъ, которые сразу по „альфѣ" (1905) опредѣлилъ „омегу" (1917) русской революціи...

Рѣзкая борьба „Кіевлянина" съ революціей удержала значительное число кіевлянъ въ контрреволюціоныхъ чувствахъ. Но съ другой вызвала бѣшенство революціонеровъ. Въ виду этого по приказанію высшей военной власти „Кіевлянинъ" охранялся.

Поручикъ, начальникъ караула, который пилъ съ нами чай, былъ очень взволнованъ.

— Конституція, конституція! — восклицалъ онъ безпомощно — Вчера я зналъ, что мнѣ дѣлать... Ну придутъ, — я ихъ долженъ не пустить. Сначала уговорами, а потомъ, если не послушаютъ — оружіемъ. Ну а теперь? Теперь что? Можно ли при конституціи стрѣлять? Существуютъ ли старые законы? Или, быть можетъ, меня за это подъ судъ отдадутъ?

Онъ нервно мѣшалъ сахаръ въ стаканѣ. Потомъ вдругъ, какъ бы найдя рѣшеніе, быстро допилъ.

— Разрѣшите встать?...

И отвѣчая на свои мысли:

— А все таки, если они придутъ и будутъ безобразить, — я не позволю. Что такое конституція, я не знаю, а вотъ гарнизонный уставъ знаю... Пусть приходятъ!...

Поручикъ вышелъ. Д. И. ходилъ по комнатѣ. Потомъ заговорилъ, прерывая себя, задумываясь, опять принимаясь говорить.

— Безуміе было такъ бросить этотъ манифестъ, безъ всякаго предупрежденія... Сколько такихъ поручиковъ теперь, которые не знаютъ, что дѣлать... которые гадаютъ, какъ имъ быть „при конституціи“... этотъ нашелъ свой выходъ... дай Богъ, чтобы это былъ прообразъ... чтобы армія поняла... Но какъ имъ трудно, какъ имъ трудно будетъ... Какъ трудно будетъ всѣмъ. Офицерамъ, чиновникамъ, полиціи, губернаторамъ и всѣмъ властямъ... Всегда такія акты подготовлялись. О нихъ сообщалось заранѣе властямъ на мѣста и давались указанія, какъ понимать и какъ дѣйствовать... А тутъ бухнули!... Какъ молоткомъ по головѣ... и разбирайся каждый молодецъ на свой образецъ...

... Будетъ каша, будетъ отчаянная каша... Тамъ въ Петербургѣ потеряли голову отъ страха... или ничего, ничего не понимаютъ!... Я буду телеграфировать Витте, это, Богъ знаетъ, что они дѣлаютъ! Они сами дѣлаютъ революцію. Революція дѣлается отъ того, что въ Петербургѣ трясутся. Одинъ разъ хорошенько прикрикнуть, и все станетъ на мѣста...

Это вѣдь все трусы, они только потому бунтуютъ, что ихъ боятся. А если бы увидѣли твердость — сейчасъ спрячутся... Но въ Петербургѣ не смѣютъ, тамъ сами боятся. Тамъ настоящая причина революціи, — боязнь, слабость...

... Теперь бухнули этотъ манифестъ! Конституція! Думаютъ этимъ успокоить. Сумасшедшіе люди! Развѣ можно успокоить явнымъ выраженіемъ страха?! Кого успокоить? Мечтательныхъ конституціоналистовъ? Эти и такъ на рожонъ не пойдутъ. А динамитчиковъ этимъ не успокоишь. Наоборотъ, теперь то они и окрылятся, теперь то они и поведутъ штурмъ!..

... Я ужъ не говорю по существу. Дѣло сдѣлано! Назадъ не вернешь. Но долго ли продержится Россія безъ самодержавія — кто знаетъ? Выдержитъ ли „конституціонная Россія" какое нибудь грозное испытаніе?... „За Вѣру, Царя и Отечество", — умирали, и этимъ создалась Россія. Но что бы пошли умирать „за Государственную Думу", — вздоръ!

... Но это впереди... Теперь — отбить штурмъ! Потому что будетъ штурмъ. Теперь-то они и полѣзутъ. Манифестъ, какъ керосиномъ ихъ польетъ. И надежды теперь только на... поручиковъ! Да, вотъ на такихъ поручиковъ, какъ нашъ. Если поручики поймутъ свой долгъ, — они отобьютъ...

... Но кто меня поражаетъ, — это евреи. Безумные, совершенно безумные люди! Своими руками себѣ могилу роютъ... и спѣшатъ, торопятся — какъ бы не опоздать!.. Не понимаютъ, что въ въ Россіи всякая революція пройдетъ по еврейскимъ трупамъ. Не понимаютъ!.. Не понимаютъ съ чѣмъ играютъ. А вѣдь близко, близко...

* * *

Въ домѣ произошло какое то тревожное движеніе. Всѣ бросились къ окнамъ.

Мы жили въ одноэтажномъ особнячкѣ, занимавшимъ уголъ Караваевской и Кузнечной. Изъ угловой комнаты было хорошо видно. Сверху по Караваевской отъ Университета надвигалась толпа. Синія студенческія фуражки перемѣшались со всякими иными.

— Смотрите, смотрите!... У нихъ красные.. красные значки...

Дѣйствительно почти у всѣхъ было нацѣплено что то красное. Были и какіе то красные флаги съ надписями, на которыхъ трепалось слово „Долой". Они всѣ что то кричали. Черезъ закрытыя окна изъ разинутыхъ ртовъ вырывался ревъ, жуткій ревъ толпы.

— Ну, штурмъ начинается...

* *
*

Рядомъ съ нашимъ особнячкомъ стоитъ трехэтажный домъ: въ немъ помѣщалась редакція и типографія. Тамъ, передъ этой дразнящей вывѣской, „Кіевлянинъ", должно было разыграться что нибудь. Я бросился туда черезъ дворъ. Во дворѣ я столкнулся съ нашимъ поручикомъ. Онъ кричалъ на бѣгу:

— Караулъ — вонъ!!

Солдаты по этому крику выбѣгали изъ своего помѣшенія. Выстроились.

— На пра...во! Шагомъ маршъ! За мной!

Онъ бѣглымъ шагомъ повелъ взводъ черезъ ворота, а я прошелъ напрямикъ, черезъ вестибюль.

Два часовыхъ, взявъ ружья на перевѣсъ, охраняли входную дверь. Толпа ревѣла, подзуживаемая студентами. Часовые иногда оглядывались быстрень-

ко назадъ, сквозь стекло дверей, ожидая помощи. Толпа смѣлѣла, надвигалась, студенты уже были на тротуарѣ.

— Отойди, солдаты! теперь свобода, конституція!

Часовые, не опуская штыковъ, уговаривали ближайшихъ:

— Говорятъ же вамъ, господа, нельзя сюда! Проходите! Если вамъ свобода, такъ идите себѣ дальше. Ахъ ты, Господи, а еще и образованные!

Но „образованные" не слушали уговоровъ „несознательныхъ". Имъ нужно было добраться до ненавистной редакціи „Кіевлянина".

Наступилъ моментъ, когда часовымъ нужно было или стрѣлять, или у нихъ вырвутъ винтовки. Они поблѣднѣли и стали жаться къ дверямъ.

Въ это время подоспѣлъ поручикъ. Обогнувъ уголъ, поручикъ расчищалъ себѣ дорогу съ револьверомъ въ рукахъ. Черезъ мгновеніе сѣрый живой частоколъ, выстроившись у дверей, закрылъ собой поблѣднѣвшихъ часовыхъ.

— Назадъ! Осадите! Стрѣлять буду!

У поручика голосъ былъ звонкій и увѣренный. Но студенты, какъ интеллигенты, не могли сдаться такъ—просто...

— Господинъ офицеръ. Вы должны понимать! Теперь свобода! Теперь конституція!

— Конституція! Ура!

Электризируя самое себя, толпа ринулась...

Раздалась команда:

— По наступающей толпѣ... — пальба... — взводомъ!!!

Сѣрый частоколъ выбросилъ лѣвыя ноги и

винтовки впередъ, и раздался характерный, не громкій, но ужасно четкій, стукъ затворовъ...

* * *

Да, Д. И. былъ правъ... Достаточно было строгаго окрика, за которымъ „чувствуется твердая воля"...

Увидѣвъ, что съ ними, не шутятъ, толпа съежилась и отругиваясь, осадила.

И въ наступившей тишинѣ раздалась негромкая команда, которую всегда почему то произносятъ презрительнымъ баскомъ:

— Отставить!...

* * *

Я вышелъ пройтись. Въ городѣ творилось нѣчто небывалое. Кажется всѣ, кто могъ ходить, были на улицахъ. Во всякомъ случаѣ всѣ евреи. Но ихъ казалось еще больше, чѣмъ ихъ было, благодаря ихъ вызывающему поведенію. Они не скрывали своего ликованія. Толпа расцвѣтилась на всѣ краски. Откуда то появились дамы и барышни въ красныхъ юбкахъ. Съ ними соперничали красные банты, кокарды, перевязки. Все это кричало, галдѣло, перекликивалось, перемигивалось.

Но и русскихъ было много. Никто хорошенько ничего не понималъ. Почти всѣ надѣли красныя розетки. Русская толпа въ Кіевѣ, въ значительной мѣрѣ—по старинѣ монархическая, думала, что разъ Государь далъ манифестъ, то, значитъ, такъ и надо, — значитъ, надо радоваться. Подозрителенъ былъ, конечно, красный маскарадъ. Но вѣдь теперь у насъ конституція. Можетъ быть, такъ и полагается?

Потоки людей со всѣхъ улицъ имѣли направленіе на главную — на Крещатикъ. Здѣсь творилось нѣчто грандіозное.

Толпа затопила широкую улицу отъ края до края. Срѣди этого моря головъ стояли какіе то огромные ящики, также увѣшанные людьми. Я не сразу понялъ, что это—остановившіеся трамваи. Съ крышъ этихъ трамваевъ какіе то люди говорили рѣчи, размахивая руками, но за гуломъ толпы ничего нельзя было разобрать. Они разѣвали рты, какъ рыбы, брошенныя на песокъ. Всѣ балконы и окна были полны народа. Съ балконовъ также силились что-то выкричать, а изъ подъ ногъ у нихъ свѣшивались ковры, которые побагровѣе, и длинныя, красныя полосы, очевидно содранныя съ трехцвѣтныхъ національныхъ флаговъ.

Толпа была возбужденная, въ общемъ радостная, при чемъ радовались — кто какъ — иные назойливо, другіе „тихой радостью", а всѣ вообще дурѣли и пьянѣли отъ собственнаго множества. Въ толпѣ очень гонялись за офицерами, силясь нацѣпить имъ красныя розетки. Нѣкоторые соглашались, не понимая въ чемъ дѣло, не зная, какъ быть, — „разъ конституція". Тогда ихъ хватали на руки, качали, несли на себѣ... Кое-гдѣ были видны безпомощныя фигуры этихъ ѣдущихъ на толпѣ...

Начиная отъ Николаевской, толпа стояла, какъ въ церкви. Вокругъ городской думы, заливъ площадь и всѣ прилегающія улицы, а особенно Институтскую, человѣческая гуща еще больше сгрудилась... Старались разслышать ораторовъ, говорившихъ съ думскаго балкона. Что они говорили, трудно было разобрать...

Нѣсколько въ сторонѣ отъ думы неподвижно стояла какая-то часть въ конномъ строю.

* *
*

Я вернулся домой.

„Дома“ сцены въ родѣ утрешней повторялись уже много разъ. Много разъ подходила толпа, вопила, угрожала, стремилась ворваться. Они требовали во имя чего-то, чтобы всѣ газеты, а въ особенности „Кіевлянинъ“, забастовали.

Но кіевлянинскіе наборщики пока держались. Они нервничали, правда, да нельзя было не нервничать, потому что этотъ ревъ толпы наводилъ жуть на душу. Что можетъ быть ужаснѣе, страшнѣе, отвратительнѣе толпы? Изъ всѣхъ звѣрей, онъ звѣрь самый низкій и ужасный, ибо для глаза имѣетъ тысячу человѣческихъ головъ, а на самомъ дѣлѣ одно косматое, звѣриное сердце, жаждущее крови...

Съ кіевлянинскими наборщиками у насъ были своеобразныя отношенія. Многіе изъ нихъ работали на „Кіевлянинъ“ такъ долго, что стали какъ-бы продолженіемъ редакціонной семьи. Д. И. былъ человѣкъ строгій, совершенно чуждый сентиментальностей, но очень добрый, — какъ-то справедливо, разумно добрый. Его всегда безпокоила мысль, что наборщики отравляются свинцомъ, и вообще онъ находилъ, что это тяжелый трудъ. Поэтому кіевлянинскіе наборщики ежегодно проводили одинъ мѣсяцъ у насъ въ имѣніи, — на отдыхѣ. Повидимому, они это цѣнили. Какъ-бы тамъ ни было, но Д. И. твердо имъ объявилъ, что „Кіевлянинъ“ долженъ выйти во что-бы то ни стало. И пока они держались, — набирали...

* * *

Между тѣмъ около городской думы атмосфера нагрѣвалась. Рѣчи ораторовъ становились все наглѣе по мѣрѣ того, какъ выяснялось, что высшая

власть въ краѣ растерялась, не зная, что дѣлать. Манифестъ засталъ ее врасплохъ, никакихъ указаній изъ Петербурга не было, а сами они боялись на что-нибудь рѣшиться.

И вотъ съ думскаго балкона стали смѣло призывать „къ сверженію“ и „къ возстанію“. Нѣкоторые изъ близь стоящихъ начали уже понимать, къ чему идетъ дѣло, но дальнѣйшіе ничего не слышали и ничего не понимали. Революціонеры привѣтствовали революціонные лозунги, кричали „ура“ и „долой“, а огромная толпа, стоявшая вокругъ, подхватывала . . .

Конная часть, что стояла нѣсколько въ сторонѣ отъ думы, попрежнему присутствовала неподвижная и бездѣйствующая.

Офицеры тоже еще ничего не понимали.

— Вѣдь—конституція!

* * *

И вдругъ многіе поняли . . .

Случилось это случайно или нарочно, — никто никогда не узналъ . . . Но, во время разгара рѣчей о „сверженіи“, царская корона, укрѣпленная на сумскомъ балконѣ, вдругъ сорвалась, или была дорвана, и на глазахъ у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металлъ жалобно зазвенѣлъ о камни . . .

И толпа ахнула.

По ней зловѣщимъ шопотомъ пробѣжали слова:

— Жиды сбросили царскую корону . . .

* * *

Это многимъ раскрыло глаза. Нѣкоторые стали уходить съ площади. Но въ догонку имъ бѣ-

жали разсказы о томъ, что дѣлается въ самомъ зданіи думы.

А въ думѣ дѣлалось вотъ что.

Толпа, среди которой наиболѣе выдѣлялись евреи, ворвалась въ залъ засѣданій и въ революціонномъ неистовствѣ изорвала всѣ царскіе портреты, висѣвшіе въ залѣ. Нѣкоторымъ императорамъ выкалывали глаза, другимъ чинили всякія другія издѣвательства. Какой-то рыжій студентъ-еврей, пробивъ головою портретъ Царствующаго Императора, носилъ на себѣ пробитое полотно, изступленно крича:

— Теперь я — Царь!

* * *

Но конная часть въ сторонѣ отъ думы все еще стояла неподвижная и безучастная. Офицеры все еще не поняли.

Но и они поняли, когда по нимъ открыли огонь изъ оконъ думы и съ ея подъѣздовъ.

Тогда, наконецъ, до той поры неподвижные сѣрые встрепенулись. Давъ нѣсколько залповъ по зданію Думы, они ринулись впередъ.

Толпа въ ужасѣ бѣжала. Все перепуталось — революціонеры и мирные жители, русскіе и евреи. Все бѣжало въ паникѣ, и черезъ полъ-часа Крещатикъ былъ очищенъ отъ всякихъ демонстрацій.

„Поручики", разбуженные выстрѣлами изъ летаргіи, въ которую погрузилъ ихъ манифестъ съ „конституціей", исполняли свои обязанности . . .

* * *

Приблизительно такія-же сцены разыгрались въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ города. Все это можно свести въ слѣдующій бюллетень:

Утромъ: праздничное настроеніе — буйное у евреевъ, — „по Высочайшему повелѣнію“ у русскихъ; войска — въ недоумѣніи.

Днемъ: революціонныя выступленія; рѣчи призывы, символическія дѣйствія, уничтоженіе царскихъ портретовъ; войска — въ бездѣйствіи.

Къ сумеркамъ: нападеніе революціонеровъ на войска, пробужденіе войскъ; залпы и бѣгство.

* * *

У насъ, на Караваевской, съ наступленіемъ темноты стало жутче. Наборщики еще набирали, но очень тряслись. Они дѣлали теперь такъ: тушили электричество, когда подходила толпа, и высылали сказать, что работа прекращена. Когда толпа уходила, они зажигали снова, и работали до новаго нашествія. Но становилось все труднѣй.

* * *

Я время отъ времени выходилъ на улицу. Было темно, тепло и влажно. Какъ будто улицы опустѣли, но чувствовался больной встревоженный пульсъ города.

* * *

Однажды, когда я вернулся, меня встрѣтила во дворѣ группа наборщиковъ.

Они видимо были взволнованы. Я понялъ, что они только что вышли отъ Д. И.

— Невозможно, Василій Витальевичъ, мы бы сами хотѣли, да никакъ. Эти проклятые у насъ были!

— Кто?

— Да отъ забастовщиковъ, отъ „комитета“. Грозятся: „вы тутъ подъ охраной работаете, такъ мы ваши семьи вырѣжемъ!“ Ну, что-жъ тутъ сдѣ-

лать?! Мы сказали Дмитрію Ивановичу: хотимъ работать, и никакихъ тамъ этихъ „требованій" не предъявляемъ, — но боимся...

— А онъ что?

— А онъ такъ намъ сказалъ, что вѣрите, Василій Витальевичъ, сердце перевернулось. Никакихъ сердитыхъ словъ, а только сказалъ: „Прошу васъ, не для себя, а для васъ самихъ и для Россіи... Нельзя уступать!... Если имъ сейчасъ уступить, ни все погубятъ, и будете сами безъ куска хлѣба, и вся Россія будетъ такая же!"... И правда такъ будетъ... И знаемъ, и понимаемъ... Но не смѣемъ, — боимся... за семьи... Что дѣлать...

Мнѣ странно было видѣть эти съ дѣтства совершенно по иному знакомыя лица такими разволнованными и такими душевными.

Всѣ они толпились вокругъ меня въ полутьмѣ плохоосвѣщеннаго двора и разсказывали мнѣ перебивающими голосами. Я понялъ, что эти люди искренно хотѣли бы „не уступить", но... страшно...

И вправду, есть-ли что нибудь страшнѣе толпы?...

* *
*

Они ушли, но двое осталось. Это былъ Ш...о и еще другой, — самые старые наборщики „Кіевлянина".

Ш...о схватилъ меня за руки.

— Василій Витальевичъ! Мы наберемъ!.. Вотъ насъ двое... Одинъ листъ наберемъ — двѣ страницы... Вѣдь тутъ не то важно, чтобъ много, а чтобъ не уступить... И чтобы статья Дмитрія Ивановича вышла... Мы все знаемъ, все понимаемъ...

Онъ трясъ мнѣ руки.

— Сорокъ лѣтъ я надъ этими станками работалъ — пусть надъ ними и кровь пролью... Василій Витальевичъ, дайте рубликъ... на водку!... Не обижайтесь — для храбрости... Страшно!.. Пусть кровь пролью — наберу „Кіевлянинъ"!...

Онъ былъ уже чуточку пьянъ и заплакалъ. Я поцѣловалъ старика и сунулъ ему деньги. Онъ побѣжалъ въ темноту улицы за водкой...

* * *

— Ваше благородіе! Опять идутъ.

Это было уже много разъ въ этотъ день.

— Караулъ, — вонъ! — крикнулъ поручикъ.

Взводъ строился. Но въ это время солдатъ бѣжалъ вторично.

— Ваше благородіе! Это какіе то другіе.

Я прошелъ черезъ вестибюль. Часовой разговаривалъ съ какой то группой людей. Ихъ было человѣкъ тридцать. Я вошелъ въ кучку.

— Что вы хотите, господа?

Они стали говорить всѣ вмѣстѣ.

— Господинъ офицеръ... Мы желали, мы хотѣли... редактора „Кіевлянина"... профессора... то есть господина Пихно... мы къ нему... да... потому что... господинъ офицеръ... развѣ такъ возможно?! что они дѣлаютъ!.. какое они имѣютъ право?!... корону сбросили... портреты царскіе порвали... какъ они смѣютъ!... мы хотѣли сказать профессору...

— Вы хотите его видѣть?..

— Да, да... Господинъ офицеръ!... насъ много шло... сотни, тысяча... Насъ полиція не пустила... А такъ какъ мы, то-есть, не противъ полиціи, такъ мы вотъ разбились на кучки... вотъ намъ сказали,

чтобы мы непремѣнно дошли до „Кіевлянина“, чтобы разсказать профессору... Дмитрію Ивановичу...

Д. И. былъ въ этотъ день страшно утомленъ. Его цѣлый день терзали. Нельзя перечислить сколько народа перебывало въ нашемъ маленькомъ особнячкѣ. Все это жалось къ нему, ничего не понимая въ происходящемъ, требуя указаній, объясненій, совѣта и поддержки. Онъ давалъ эту поддержку, не считая своихъ силъ. Но я чувствовалъ, что и этимъ людямъ отказать нельзя. Мы были на переломѣ. Эти пробившіеся сюда, — это пѣна обратной волны...

— Вотъ что... всѣмъ нельзя. Выберите четырехъ... Я провожу васъ къ редактору.

* * *

Въ вестибюлѣ редакціи.

— Я редакторъ „Кіевлянина“. Что вамъ угодно?

Ихъ было четверо: три въ манишкахъ и въ ботинкахъ, четвертый въ блузѣ и въ сапогахъ.

— Мы... вотъ... вотъ я — напримѣръ, парикмахеръ... а вотъ они...

— Я — чиновникъ: служу въ Акцизѣ... по канцеляріи.

— А я — торговецъ... Бакалейную лавку имѣю... А это рабочій.

— Да, я — рабочій... Слесарь... эти жиды св...

— Подождите, — перебилъ его парикмахеръ — такъ вотъ, мы, г. редакторъ, — люди, такъ сказать, разные, т.-е. разныхъ занятій...

— Ваши подписчики, — сказалъ чиновникъ.

— Спасибо вамъ, г. редакторъ, что пишите правду, — вдругъ, взволновавшись, сказалъ лавочникъ.

— А почему?... Потому что не жидовская ваша газета! — пробасилъ слесарь.

— Подождите,—остановилъ его парикмахеръ,— мы, такъ сказать, то-есть намъ сказали: „Идите къ редактору „Кіевлянина“, господину профессору, и скажите ему, что мы такъ не можемъ, что мы такъ не согласны... что мы такъ не позволимъ...

— Какое они имѣютъ право! — вдругъ страшно разсердился лавочникъ. — Ты красной тряпкѣ поклоняешься, — ну и чертъ съ тобой! А я трехцвѣтной поклоняюсь! И отцы мои, и дѣды поклонялись. Какое ты имѣешь право мнѣ запрещать!“...

— Бей жидовъ! — зазвенѣлъ рабочій, какъ будто ударилъ молотомъ по наковальнѣ.

— Подождите, — еще разъ остановилъ парикмахеръ — мы пришли, такъ сказать, чтобы тоже... Нѣтъ, бить не надо, — обратился онъ къ рабочему. — Нѣтъ, не бить, а, такъ сказать, мирно. Но чтобы всѣмъ показать, что мы, такъ сказать, не хотимъ... такъ не согласны... такъ не позволимъ...

— Господинъ редакторъ, — перебилъ чиновникъ, — мы хотимъ тоже, какъ они — демонстрацію, манифестацію... Только они съ красными, а мы съ трехцвѣтными...

— Возьмемъ портретъ Государя Императора и пойдемъ по всему городу!... Вотъ, что мы хотимъ— заговорилъ лавочникъ. — Отслужимъ молебенъ и крестнымъ ходомъ пойдемъ!

— Они съ красными флагами, а мы съ хоругвями...

— Они портреты царскіе рвутъ, а мы ихъ, такъ сказать всенародно возстановимъ...

— Корону сорвали? — загудѣлъ рабочій. Бей ихъ, бей жидову сволочь проклятую!...

— Вотъ, мы и хотимъ... за этимъ шли... чтобы узнать... хорошо ли?... Ваше, такъ сказать, согласіе...

Всѣ четверо замолчали, ожидая отвѣта. По хорошо мнѣ знакомому лицу Д. И. я видѣлъ, что съ нимъ происходитъ. Это лицо, такое въ обычное время незначительное, теперь ... сѣрые добрые глаза изъ подъ сильныхъ бровей и эта глубокая складка воли между ними.

— Вотъ, что я вамъ скажу. Вамъ больно, васъ жжетъ? ... И меня жжетъ! Можетъ быть больнѣе, чѣмъ васъ ... Но есть больше того, чѣмъ то, что у насъ съ вами болитъ ... Есть Россія ... Думать надо только объ одномъ: какъ ей помочь ... Какъ помочь этому Государю, противъ котораго они повели штурмъ ... Какъ Ему помочь? Ему помочь можно только однимъ: поддержать власти Имъ поставленныя. Поддержать этого генералъ-губернатора, полицію, войска, офицеровъ, армію ... Какъ же ихъ поддержать? Только однимъ: соблюдайте порядокъ! Вы хотите „по примѣру ихъ“ манифестацію, патріотическую манифестацію ... Очень хорошія чувства ваши, святыя чувства, — только одно плохо, — что „по примѣру ихъ“, вы хотите это дѣлать. Какой же ихъ примѣръ? Начали съ манифестаціи, а кончили залпами. Такъ и вы кончите ... Начнете крестнымъ ходомъ, а кончите такими дѣлами, что по васъ же властямъ стрѣлять придется ... И не въ помощь вы будете, а еще страшно затрудните положеніе власти ... потому, что придется властямъ

на два фронта, на двѣ стороны, бороться... И съ ними, и съ вами! Если хотите помочь, есть только одинъ способъ, одинъ только.

— Какой!... Какой!... Скажите! Затѣмъ и шли!...

— Способъ простой, хотя и трудный: „Всѣ по мѣстамъ!“ Всѣ по мѣстамъ! Вотъ вы парикмахеръ — за бритву! Вы торговецъ — за прилавокъ! Вы чиновникъ — на службу! Вы рабочій — за молотъ! Не жидовъ бить, а молотомъ — по наковальнѣ. Вы должны стать „за трудъ“! За ежедневный, честный трудъ, — противъ манифестацій и противъ забастовки. Если мы хотимъ помочь власти, дадимъ ей исполнить свой долгъ. Это ея долгъ усмирить бунтовщиковъ! И власть это сдѣлаетъ, если мы отъ нихъ въ сторону отхлынемъ, потому, что ихъ на самомъ дѣлѣ не много. И они хоть наглецы, но подлые трусы...

— Правильно! — заключилъ рабочій: — Бей ихъ, сволочь паршивую...

* * *

Они ушли, снаружи какъ будто согласившись, но внутри неудовлетворенные. Когда дверь закрылась, Д. И. какъ-то съежился, потомъ махнулъ рукой, и въ глазахъ его было выраженіе, съ которымъ смотрятъ на нѣчто неизбѣжное. Онъ сказалъ:

— Будетъ погромъ!..

* * *

Черезъ полчаса изъ разныхъ полицейскихъ участковъ позвонили въ редакцію, что начался еврейскій погромъ.

Одинъ очевидецъ разсказывалъ мнѣ, какъ это было въ одномъ мѣстѣ:

Изъ бани гурьбой вышли баньщики. Одинъ изъ нихъ влѣзъ на телефонный столбъ. Сейчасъ же около собралась толпа. Тогда тотъ со столба началъ кричать:

— Жиды царскую корону сбросили!... Какое они имѣютъ право?! Что же, такъ имъ и позволимъ?! Такъ и оставимъ?! Нѣтъ, братцы, врешь!

Онъ слѣзъ со столба, выхватилъ у перваго попавшагося человѣка палку, перекрестился, и размахнувшись, со всей силы бахнулъ въ ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло въ магазинъ...

И пошло...

* * *

Такъ кончился первый день „конституціи“...

Второй день „конституціи".

19-го октября 1905 года „Кіевлянинъ" все таки вышелъ. Старый наборщикъ выполнилъ свое обѣщаніе и набралъ двѣ страницы. Больше въ Кіевѣ не вышло ни одной газеты. Всѣ они ознаменовали нарожденіе новаго политическаго строя тѣмъ, что сами себѣ заткнули ротъ. Впрочемъ, если не ошибаюсь, это же произошло во всѣхъ другихъ городахъ Россіи.

* *
*

Еще въ сентябрѣ я былъ призванъ (по послѣдней мобилизаціи) въ качествѣ „прапорщика запаса инженерныхъ войскъ". Но на войну я не попалъ, такъ какъ „графъ полусахалинскій", какъ въ насмѣшку называли Сергѣя Юльевича Витте (онъ отдалъ японцамъ полъ Сахалина), заключилъ миръ. Но домой меня пока не отпускали. И я служилъ младшимъ офицеромъ въ 14 саперномъ баталіонѣ, въ Кіевѣ. Наканунѣ у меня былъ „выходной день", но 19-го октября я долженъ былъ явиться въ казармы.

* *
*

— Рота напра...во!!!

Длинный рядъ сѣрыхъ истуканчиковъ сдѣлалъ — „разъ", то-есть каждый повернулся на правой ногѣ, и сдѣлалъ — „два", то-есть каждый пристукнулъ лѣвой. Отъ этого всѣ стали другъ другу „въ затылокъ".

— Шагомъ!... — закричалъ ротный протяжно... И тихонько — фельдфебелю:

— Обѣдъ пришлешь въ походной кухнѣ.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

— Марршъ! — рявкнулъ ротный, точно во рту у него лопнулъ какой-то сильно напряженный шаръ, разсыпавшій во всѣ стороны энергическое „рр“.

Истуканчики твердо, „всей лѣвой ступней“, приладонили полъ, дѣлая первый шагъ... И затѣмъ мѣрно закачались, двумя сѣрыми змѣйками выливаясь черезъ открытыя двери казармы.

* * *

— Куда мы идемъ?

— На Деміевку.

Деміевка — это предмѣстье Кіева. Ротный въ свою очередь спросилъ:

— Не знаете, что тамъ? Безпорядки?

Я отвѣтилъ тихонько, потому что зналъ:

— Еврейскій погромъ.

— Ахъ, погромъ...

По его лицу прошло что-то неуловимое, что я тѣмъ не менѣе очень хорошо уловилъ...

* * *

— Возьмите четвертый взводъ и идите съ этимъ... съ надзирателемъ. Ну, и тамъ... дѣйствуйте! — приказалъ мнѣ ротный.

Кажется, въ первый разъ въ жизни мнѣ приходилось „дѣйствовать“.

— Четвертый взводъ, слушай мою команду. Шагомъ... марршъ!...

Я съ удивленіемъ слушалъ свой голосъ. Я старался разсыпать „ррр“, какъ ротный, но ничего не вышло. А впрочемъ ничего. Они послушались — это самое главное.

Пошли. Полицейскій надзиратель ведетъ...

* * *

Грязь. Маленькіе домишки. Бѣднота. Кривыя улицы. Но пока — ничего. Гдѣ-то что-то кричатъ. Толпа?... Да. Но гдѣ?

Здѣсь тихо. Людей мало. Какъ будто даже слишкомъ мало. Это что?

Да, — тамъ въ переулкѣ. Я подошелъ ближе.

Старый еврей въ полосатомъ бѣльѣ лежалъ, раскинувъ руки, на спинѣ. Иногда онъ судорожно поводилъ ногами.

Надзиратель наклонился.

— Кончается...

Я смотрѣлъ на него, не зная, что дѣлать.

— Отчего его убили?

— Стрѣлялъ должно быть... Тутъ только тѣхъ убивали, что стрѣляли...

— Развѣ они стрѣляютъ?

— Стрѣляютъ... „Самооборона"...

Не зная, что дѣлать, я поставилъ на этомъ перекресткѣ четырехъ человѣкъ. Далъ имъ приказаніе въ случаѣ чего бѣжать за помощью. Пересчиталъ остальныхъ. У меня осталось тринадцать... Не много...

Мы пошли дальше и за однимъ поворотомъ — наткнулись.

* * *

Это была улица, по которой прошелся „погромъ".

— Что это? Почему она бѣлая?..

— Пухъ... Пухъ изъ перинъ, — объяснилъ надзиратель.

— Безъ зимы снѣгъ, — сострилъ кто-то изъ солдатъ.

Страшная улица... Обезображенныя жалкія еврейскія халупы... Всѣ окна выбиты... Мѣстами выбиты и рамы... Точно ослѣпшія, всѣ эти грязныя лачуги. Между ними, безглазыми, въ пуху и въ грязи — вся жалкая рухлядь этихъ домовъ, перекалѣченная, переломанная... Нелѣпо раскарячившійся столъ, шкафъ съ проломаннымъ днищемъ, словно желтая рана, комодъ съ вываливающимися внутренностями... Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавѣски, тряпье... полувдавленныя въ грязь разбитыя тарелки, полуразломанныя лампы, осколки посуды, остатки жалкихъ картинъ, смятые стѣнные часы,— все, что было въ этихъ хибаркахъ, искромсанное, затоптанное ногами... Но страшнѣе всего эти слѣпые дома. Они все же смотрятъ своими безглазыми впадинами, — таращатъ ихъ на весь этотъ нелѣпый и убогій ужасъ...

* * *

Мы прошли эту улицу. Это что?

Двухэтажный, каменный домъ. Онъ весь набитъ кишащимъ народомъ. Вся лѣстница полна, и сквозь открытыя окна видно, что толпа залила всѣ квартиры.

Я перестроилъ людей и во главѣ двухъ сѣрыхъ струекъ втиснулся въ домъ... И все совершилось невѣроятно быстро. Нѣсколько ударовъ прикладами — и нижній этажъ очищенъ. Во второмъ этажѣ произошла паника. Нѣкоторые въ ужасѣ передъ вдругъ съ неба свалившимися солдатами бросаются въ окна. Остальные мгновенно очищаютъ помѣщеніе. Вотъ ужъ больше никого. Только въ

одной комнатѣ солдатъ бьетъ какого-то упрямящагося человѣка. Ко мнѣ бросается откуда-то взявшаяся еврейка:

— Ваше благородіе, что вы дѣлаете!—это же нашъ спаситель!..

Я останавливаю солдата. Еврейка причитаетъ:

— Это-же нашъ дворникъ... Онъ-же нашъ единственный защитникъ.

Passage...

* * *

Этотъ домъ выходилъ на очень большую площадь. Въ окна я увидѣлъ, что тамъ, на площади, собралась толпа, — не менѣе тысячи человѣкъ. Я сошелъ внизъ и занялъ выжидательную позицію.

Площадь была такъ велика, что эта большая толпа занимала только кусочекъ ея. Они стояли поодаль и, видимо, интересовались нами. Но не проявляли никакихъ враждебныхъ дѣйствій или поползновеній грабить. Стоятъ. Тѣмъ не менѣе я рѣшилъ ихъ „разогнать“: пока я здѣсь, они — ничего, но какъ только уйду — бросятся на дома. Иначе — для чего имъ тутъ стоять?

Я развернулъ взводъ фронтомъ и пошелъ на нихъ. Въ эту минуту я вдругъ почувствовалъ, что мои люди совершенно въ моей власти. Мнѣ вовсе не нужно было вспоминать „уставныя“ команды, они понимали каждое указаніе руки. Когда это случилось, — ни они, ни я не замѣтили — но они вдругъ сдѣлались „продолженіемъ моихъ пальцевъ“, — что-ли. Это незнакомое до сихъ поръ ощущеніе — наполняло меня какой-то бодростью.

Подходя къ толпѣ, я на ходу приказалъ ей „разойтись“. Но они не шевельнулись.

— На руку!...

Взводъ взялъ штыки на перевѣсъ. Толпа побѣжала.

Побѣжала съ крикомъ, смѣхомъ, визгомъ.

Среди нихъ было много женщинъ — хохлушекъ и мѣщанокъ предмѣстья.

Онѣ оборачивались на бѣгу и смѣялись намъ въ лицо.

— Господинъ офицеръ, — зачѣмъ вы насъ гоните?!... Мы вѣдь — за васъ!

— Мы — за васъ, ваше благородіе! Ей Богу, — за васъ!...

Я посмотрѣлъ на своихъ солдатъ. Они дѣлали страшныя лица и шли съ винтовками на перевѣсъ, но дѣло было ясно:

Эта толпа — „за насъ“, а мы — „за нихъ“...

* * *

Я провозился здѣсь довольно долго. Только я ихъ разгоню — какъ черезъ нѣсколько минутъ они соберутся у другого края пустыря. Въ концѣ концовъ, это обращалось въ какую то игру. Имъ положительно нравились эти маневры горсточки солдатъ, — „покорныхъ каждому моему движенію“. При нашемъ приближеніи поднимался хохотъ, визгъ, заигрываніе съ солдатами и афектированное бѣгство. Ясно, что они насъ нисколько не боятся. Чтобы внушить имъ, что съ ними не шутятъ, надо было-бы побить ихъ или выпалить...

Но это невозможно. За что?.. Они ничего не дѣлали. Никакихъ поползновеній къ грабежу. Наоборотъ демонстративное подчиненіе моему приказанію „разойтись.“ Правда разбѣгаются, чтобы собраться опять...

Запыхавшись, я, наконецъ, понялъ, что гоняться за ними,—глупо. Надо занять выжидательную позицію.

* * *

Мы стоимъ около какого-то дома. Я разсматриваю эту толпу. Кромѣ женщинъ, которыхъ должно быть половина, тутъ самые разнообразные элементы: русское населеніе предмѣстья и крестьяне пригородныхъ деревень. Рабочіе, лавочники-бакалейщики, мастеровые, мелкіе чиновники, кондуктора трамваевъ, желѣзнодорожники, дворники, хохлы разнаго рода, — все, что угодно.

Понемногу они пододвигаются ближе. Нѣкоторые совсѣмъ подошли и пытаются вступить въ разговоры. Кто-то попросилъ разрѣшенія угостить солдатъ папиросами. Другіе принесли бѣлаго хлѣба. Да, положительно, эти люди — „за насъ." Они это всячески подчеркиваютъ и трогательно выражаютъ. И этому дыханію толпы трудно не поддаваться.

Вѣдь идетъ грозная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера начался штурмъ исторической Россіи. Сегодня... сегодня это ея отвѣтъ. Это отвѣтъ русскаго простонароднаго Кіева, — Кіева, сразу по „альфѣ" понявшаго „омегу"... Этотъ отвѣтъ принялъ безобразныя формы еврейскаго погрома, но вѣдь рвать въ клочья царскіе портреты было тоже не очень красиво... А вѣдь народъ только и говоритъ объ этомъ... Только и на языкѣ:

— Жиды сбросили царскую корону!

И они очень чувствовали, что войска, армія, солдаты, и въ особенности офицеры, неразрывно связаны съ этой царской короной, оскорбленной и

сброшенной. И поэтому-то и словами, и безъ словъ, они стремились выразить:

— Мы — за васъ, мы — за васъ!

* * *

Пришелъ полицейскій надзиратель исказалъ, что на такой-то улицѣ идетъ „свѣжій" погромъ и что туда надо спѣшить.

Мы сначала сорвались бѣгомъ, но выдохлись на какомъ то глинистомъ подъемѣ. Въ это время изъ-за угла на насъ хлынулъ потокъ людей.

Это была какъ бы огромная толпа носильщиковъ. Они тащили на себѣ все, что можетъ вмѣщать человѣческое жилье... Нѣкоторые, въ особенности женщины, успѣли сдѣлать огромные узлы. Но это были не погромщики. Этобыла толпа такая же, какъ тамъ на площади, толпа пассивная, „присоединяющаяся"...

Я понялъ, что намъ нужно спѣшить туда, гдѣ громятъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я не могъ-же хладнокровно видѣть эти подлые узлы.

— Бросить сейчасъ!

Мужчины покорно бросили. Женщины пробовали протестовать. Я приказалъ людямъ на ходу отбирать награбленное. А самъ спѣшилъ впередъ, чувствуя, что тамъ нужно быть. Оттуда доносилось временами дикое и жуткое улюлюканье, глухіе удары и жалобный звонъ стекла.

Вдругъ я почувствовалъ, что солдаты отстали отъ меня. Обернулся.

Боже мой!

Они шли нагруженные, какъ верблюды. Что на нихъ только не было! Мнѣ особенно бросились

въ глаза: самоваръ, сулея наливки, мѣшокъ съ мукой, огромная люстра, половая щетка.

— Да бросьте, чертъ васъ возьми!

* * *

Вотъ разгромленная улица. Это отсюда потокъ людей. Сквозь разбитыя стекла видно, какъ они тамъ грабятъ, тащатъ, срываютъ... Я хотѣлъ было заняться выбрасываніемъ ихъ изъ домовъ, но вдругъ какъ то сразу понялъ „механизмъ погрома“....

Это не они, — не эти. Эти только тащатъ... Тамъ дальше, тамъ должна быть „голова погрома“, — тѣ, кто бросается на цѣлые еще дома. Тамъ надо остановить... Здѣсь уже все кончено...

* * *

Вотъ...

Ихъ было человѣкъ тридцать. Взрослые (повидимому рабочіе) и мальчишки-подростки... Всѣ они были вооружены какими то палками. Когда я ихъ увидѣлъ, они только что атаковали „свѣжій домъ“ — какую то одноэтажную лачугу. Они сразу подбѣжали было къ дому, но потомъ отступили на три, четыре шага... Отступили съ особенной ухваткой, которая бываетъ у профессіональныхъ мордобоевъ, когда они собираются „здорово“ дать въ ухо... И, дѣйствительно, изловчившись и взявши разбѣгъ, они изо всѣхъ силъ, со всего размаха, „вдарили“ въ окна... Точно дали несчастной халупѣ ужасающе-звонкую оплеуху... Отъ этихъ страшныхъ пощечинъ разлетѣлись на куски оконныя рамы... А стекла звономъ зазвенѣли, брызнувъ во всѣ стороны. Хибарка сразу ослѣпла на всѣ глаза, толпа за моей спиной взвыла и заулюлюкала, а банда громилъ бросилась на сосѣднюю лачугу.

* * *

Тутъ мы ихъ и настигли... Я схватилъ какого то мальчишку за шиворотъ, но онъ такъ ловко покатился кубаремъ, что выскользнулъ у меня изъ рукъ... Другого солдатъ сильно ударилъ прикладомъ между лопатками... Онъ какъ то вродѣ какъ бы икнулъ — грудью впередъ... Я думалъ, что онъ свалится... но онъ справился и убѣжалъ... Нѣсколько другихъ эпизодовъ такихъ-же произошло одновременно... Удары прикладами, не знаю ужъ, дѣйствительные или симулированные, и бѣгство...

И все...

* * *

Мы на какомъ то углу. Влѣво отъ меня, разгромленная улица, которую мы только что прошли, вправо — цѣлая, которую мы „спасли". Погромъ прекратился... Громилы убѣжали, оставивъ нѣсколько штукъ своего оружія, которое мнѣ показалось палками... На самомъ дѣлѣ это были куски желѣзныхъ, должно быть водопроводныхъ, трубъ.

Толпа-же сама по себѣ — безъ „иниціативной группы" не способна громить. Въ нашемъ присутствіи она даже не пробуетъ грабить... Евреевъ не видно совсѣмъ. Они или перебѣжали въ сосѣдній кварталъ или прячутся гдѣ то здѣсь — въ русскихъ домахъ... Но ихъ не видно... Не видно ни убитыхъ, ни раненыхъ. Нѣтъ ихъ, повидимому, и въ разбитыхъ домахъ. У меня такое впечатлѣніе, что здѣсь обошлось безъ человѣческихъ жертвъ. Мнѣ вспоминаются слова полицейскаго надзирателя:

Убиваютъ тѣхъ, кто стрѣляетъ...

* * *

Толпа собирается вокругъ насъ, —жмется къ намъ. Чего имъ нужно?

Имъ хочется — поговорить. У нихъ какое то желаніе оправдаться, объяснить, почему они это дѣлаютъ, — если не громятъ, то грабятъ, если не грабятъ, то допускаютъ грабить... И они заговариваютъ на всѣ лады...

И все одно и то же...

Жиды сбросили корону, жиды порвали царскіе портреты, какъ они смѣютъ, мы не желаемъ, мы не позволимъ!...

И они горячились и они накалялись...

Вокругъ меня толпа сомкнулась. Она запрудила перекрестокъ съ четырехъ сторонъ... Тогда я влѣзъ на тумбу и сказалъ имъ рѣчь. Едва ли это была не моя первая политическая рѣчь. Вокругъ меня было русское простонародье, глубоко оскорбленное... Ихъ чувства были мнѣ понятны... но ихъ дѣйствія были мнѣ отвратительны. Такъ и сказалось.

— Вчера въ городской думѣ жиды порвали царскіе портреты... За это мы въ нихъ стрѣляли... Мы — армія... И если это еще когда нибудь случится — опять стрѣлять будемъ. И не вы имъ „не позволите“, — а мы не позволимъ! Потому что для этого мы и состоимъ на службѣ у Его Императорскаго Величества... чтобы честь Государя и Государства русскаго защищать. И этой нашей службы мы никому, кромѣ себя, исполнять не позволимъ! И вамъ не позволимъ!... Это наше дѣло, а не ваше. А почему? А потому, хотя бы, что вы и разобрать толкомъ не можете и зря, неправильно, несправедливо, незаслуженно поступаете. Кого бьете, кого громите?!... Тѣхъ развѣ, кто царскіе портреты порвалъ вчера въ думѣ? Нѣтъ — это мы по нимъ стрѣляли,

а вы даже знать не вѣдали, когда вчера дѣло было... А вотъ теперь, сегодня, заднимъ числомъ разыгрались. И кого-жъ бьете? Вотъ этихъ вашихъ жидковъ деміевскихъ, что въ этихъ халупахъ паршивыхъ живутъ? Янкеля или Мошку, что керосиномъ торгуетъ на рубль въ день, — что же онъ портреты царскіе рвалъ,—онъ, да?!... Или жена его, Хайка, — она корону сбросила?!

Въ толпѣ произошло движеніе. Въ заднихъ рядахъ кто то сказалъ:

— Это правильно ихъ благородіе говоритъ.

Я воспользовался этимъ.

— Ну такъ вотъ... И говорю вамъ еще разъ: вчера мы въ жидовъ стрѣляли за дѣло, а сегодня... сегодня вы хотите царскимъ именемъ прикрыться и ради Царя вотъ то дѣлать, что вы дѣлаете... Ради Царя хотите узлы чужимъ добромъ набивать!... Возьмете портреты и пойдете, — впереди Царь, а за Царемъ — грабители и воры!... Этого хотите... Такъ вотъ заявляю вамъ: видитъ Богъ, запалю въ васъ, если не прекратите гадости...

Опять сильное движеніе въ толпѣ. Вдругъ какъ бы что то прорвало. Какой то сильный рыжій мужчина безъ шапки, съ голыми руками и въ бѣломъ фартукѣ закричалъ:

— Ваше благородіе! Да мы ихъ не трогаемъ! У насъ вотъ, смотрите, руки голыя!

Онъ трясъ въ воздухѣ своими голыми руками.

— А они зачѣмъ въ насъ стрѣляютъ съ револьверовъ?!

— Вѣрно... правильно — подхватили въ разныхъ мѣстахъ. Зачѣмъ они въ насъ стрѣляютъ?!

Я хотѣлъ что то возразить и поднялъ руку.

На многовенiе опять стало тихо... Но вдругъ, какъ будто въ подтвержденiе, въ наступившую тишину рѣзко ворвался трескъ браунинга.

Толпа взъѣлась:

— А что!... Вотъ вамъ!... Ваше благородiе, это что же?! Вы говорите...

Я хотѣлъ что то прокричать, но звонкiй теноръ въ заднихъ рядахъ зазвенѣлъ покрывая все:

— Бей ихъ жидову, сволочь проклятую!...

И къ небу взмылось дикое, улюлюкающее:

Бей!!!...

Толпа ринулась по направленiю выстрѣла. Разсуждать было некогда.

— Взводъ ко мнѣ!...

* * *

Мнѣ удалось все же опередить толпу. Теперь мы двигались такъ:

Передо мной была узкая кривая уличка. За моей спиной — цѣпочка взвода, отъ стѣнки до стѣнки... За солдатами сплошная масса толпы, сдерживаемая каемкой тринадцати сѣрыхъ шинелей.

Впереди раздалось нѣсколько выстрѣловъ. Толпа взвыла.

Я велѣлъ зарядить винтовки. Люди волновались, и дѣло не ладилось. Наконецъ справились. Двинулись дальше. Завернули за уголъ. Это что?

* * *

Уличка выходила на небольшую площадь. И вотъ изъ двухэтажнаго дома, напротивъ, выбѣжало шесть или семь фигуръ, — еврейскiе мальчишки не старше двадцати лѣтъ... Выстроились въ рядъ. Что они будутъ дѣлать?... Въ то же мгновенiе я понялъ:

они выхватили револьверы и нелѣпые, дрожащіе дали залпъ по мнѣ и моимъ солдатамъ... Выстрѣлили и убѣжали.

Я успѣлъ охватить взглядомъ цѣпочку и убѣдиться, что никто не раненъ. Но вслѣдъ за этимъ произошло нѣчто необычайно быстрое... Толпа, которая была за моей спиной, убѣжала другимъ переулкомъ, очутилась какъ то впереди и сбоку меня — словомъ на свободѣ, и бросилась по направленію къ злощастному двухэтажному дому...

* *
*

— Взводъ, ко мнѣ!...

Я успѣлъ добѣжать до дома раньше толпы и стоялъ спиной къ нему, раскинувши руки. Это былъ жестъ-приказъ, по которому взводъ очень быстро выстроился за мной. Толпа остановилась.

Въ это время — выстрѣлы съ верхняго этажа.

— Ваше благородіе — въ спину стрѣляютъ!

Я сообразилъ, что надо что-то сдѣлать.

— Вторая шеренга, кругомъ!...

Шесть сѣрыхъ повернулось. Но толпа пришла въ бѣшенство отъ выстрѣловъ и, видя передъ собой только семь солдатъ (первая шеренга), подавала всѣ признаки, что сейчасъ выйдетъ изъ повиновенія.

— Стрѣляютъ сволочь!... Какъ они смѣютъ!...
У насъ руки голые!... Бей ихъ, бей жидову! Трамъ тарарамъ ихъ перетрамъ тарарамъ...

Они завыли и заулюлюкали такъ, что стало жутко. И бросились.

Я рѣшился на послѣднее:

— По наступающей толпѣ... и по дому... пальба... взводомъ!!!

Сѣрые выбросили лѣвые ноги и винтовки впередъ, и взводъ ощетинился штыками въ обѣ стороны, приготовившись...

Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я бы запалилъ. Непонятнымъ образомъ они это поняли.

И остановились.

Я воспользовался этимъ и прокричалъ:

— Если вы мнѣ обѣщаете, что не тронетесь съ мѣста, я войду въ домъ и арестую того, кто стрѣлялъ. А если двинетесь, палить буду!

Среди нихъ произошелъ какой-то летучій обмѣнъ, и выдѣлилась новая фигура, я его не видѣлъ раньше.

Это былъ то, что называется „босякъ", — одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ. Онъ подошелъ ко мнѣ, приложилъ руку къ сломанному козырьку и съ совершенно непередаваемой ухваткой доложилъ:

— Такъ что мы, ваше благородіе, увсѣ согласны!

* * *

„Согласіе народа", выраженное черезъ „босяка", меня устраивало, но не совсѣмъ. Я пойду „арестовать", кого я оставлю здѣсь? Какъ только я уйду, — они бросятся.

Въ это время на мое счастіе я увидѣлъ далеко въ концѣ улицы движеніе сѣрыхъ шинелей. Я узналъ офицера. Это былъ другой взводъ нашей роты. Я подозвалъ ихъ, попросилъ стать на мое мѣсто около дома. Самъ же со своимъ взводомъ обошелъ уголъ, такъ какъ ворота были съ другой стороны.

Но ворота оказались на запорѣ. Пришлось ломать замокъ. Замокъ былъ основательный, и дѣло не клеилось.

* * *

Боже мой! Это что такое?

Какая-то новая, несравненно болѣе многочисленная, словомъ огромная, толпа заливала выходившія сюда улицы. Это, очевидно, изъ города. Та демонстрація, о которой вчера говорилось. Да, да... Патріотическая манифестація.

Хоругви, кресты... Затѣмъ торжественно несомые на груди портреты Государя, Государыни. Наслѣдника... Важное, какъ бы церковное шествіе... Вродѣ, какъ крестный ходъ. Поютъ? Да — гимнъ.

— Взводъ, смирна! Слушай — на краулъ!...

Процессія медленно протекаетъ, сопутствуемая огромными толпами. Гимнъ смѣняется — „Спаси Господи“... Прошли.

Мы должны продолжать свое дѣло. Наша толпа, деміевская, сначала совершенно затопленная процессіей, теперь отсѣялась. Она осталась и ждетъ финала — ареста „тѣхъ, кто стрѣлялъ.“

Я приказываю:

— Ломай замокъ!

Но солдаты не умѣютъ. Въ это время подходитъ фигура, кажется тотъ самый, который докладывалъ, что они „увсѣ согласны.“

— Дозвольте мнѣ, ваше благородіе.

Въ рукахъ у него маленькій ломикъ. Замокъ взлетаетъ сразу...

* * *

Во внутренности двора, сбившись въ кучу,

смертельно блѣдные, прижались другъ къ другу кучка евреевъ. Ихъ было человѣкъ сорокъ: нѣсколько подозрительныхъ мальчишекъ, остальные старики, женщины, дѣти...

— Кто тутъ стрѣлялъ?

Они отвѣтили перебивающимъ хоромъ:

— Ихъ нема!... они вже убѣгли!...

Старикъ, сѣдой, трясущійся, говорилъ подымая дрожащія худыя руки.

— Ваше благородіе... Тѣ, что стрѣлили, ихъ вже нѣтъ... Они убѣгли... Стрѣлили и убѣгли... Мальчишки!... Стрѣлили и убѣгли!...

Я почувствовалъ, что онъ говоритъ правду. Но сказалъ сурово:

— Я обыщу васъ... Отдайте револьверы!

Солдаты пощупали нѣкоторыхъ. Конечно у нихъ не было револьверовъ. Но мое положеніе было плохо.

Тамъ за стѣной—огромная толпа, которая ждетъ „правосудія". И для ея успокоенія, и для авторитета войскъ, и для спасенія и этихъ евреевъ и многихъ другихъ, весьма важно, чтобы „стрѣлявшіе" были арестованы. Какъ быть? Внезапно я рѣшился...

— Изъ этого дома стрѣляли! Я арестую десять человѣкъ. Выберите сами...

Получился неожиданный отвѣтъ:

— Ваше благородіе!... арестуйте насъ всѣхъ!... просимъ васъ — сдѣлайте милость, — всѣхъ, всѣхъ заберите!...

Я понялъ. За стѣной ждетъ толпа. Ея ревъ минутами переплескиваетъ сюда. Что можетъ быть страшнѣе толпы? Не въ тысячу-ли разъ лучше быть подъ защитой штыковъ, хотя бы и въ качествѣ арестованныхъ?

Я приказываю все-таки выбрать десять и вывожу ихъ, окруженныхъ кольцомъ сѣрыхъ. Дикое улюлюканье встрѣчаетъ наше появленіе. Но никакихъ попытокъ отбить или вырвать. Чувство „правосудія“ удовлетворено. Они довольны, что офицеръ исполнилъ свое обѣщаніе. Я пишу записку: „арестованы въ домѣ, изъ котораго стрѣляли“. Съ этой запиской отправляю ихъ въ участокъ подъ охраной половины взвода. (Они были доставлены благополучно — я получилъ записку изъ полиціи; дальнѣйшая судьба: черезъ два дня выпущены на свободу. На это я и расчитывалъ).

* *
*

Желтые звуки трубы рѣжутъ воздухъ. Трубятъ общій сборъ. Мы бросились на эти сигналы: Что это?

Грабятъ базаръ...

* *
*

На базаръ обрушилась многотысячная толпа. Когда мы прибѣжали, въ сущности все было кончено. Мы вытѣснили толпу съ базара, но рундуки были уже разграблены, все захвачено, перебито. Больше всего было женщинъ. Онѣ тащили со смѣхомъ, шутками и визгомъ. Иныя, сорвавъ съ себя платки, вязали огромные узлы.

— Брось, безстыжая!...

Она улыбнулась мнѣ виноватою улыбкой:

— Ваше благородіе... пропадетъ вѣдь...

Запалить-бы въ нихъ надо по настоящему, но не хватаетъ духу. Психологически это невозможно.

* *
*

Не помню уже, какъ и почему, но въ третьемъ часу дня ко мнѣ собралась вся рота. Куда

дѣвались остальные офицеры, — не знаю. Зато появился понтонный капитанъ съ ротой понтонеровъ. Нашъ фельдфебель разыскалъ насъ, и теперь мы всѣ обѣдали, усѣвшись среди разбитыхъ рундуковъ.

Пошелъ дождикъ. Чуть темнѣло. Подошелъ фельдфебель.

— Ваше благородіе. Тутъ народъ сталъ болтать . . .

У него сдѣлалось таинственное лицо.

— Ну что?

— Насчетъ Голосѣевскаго лѣса...

— Ну?

— Что тамъ, то-есть какъ бы, неблагополучно...

— Что такое?...

— Жиды, ваше благородіе...

— Какіе жиды?

— Всякіе. Съ города... Съ браунингами и бомбами... Десять тысячъ ихъ тамъ. Ночью прійдутъ сюда.

— Зачѣмъ?

— Русскихъ рѣзать...

— Какой вздоръ!

— Такъ точно — вздоръ, ваше благородіе.

Но по его глазамъ я вижу, что онъ этого не думаетъ.

* * *

Я долженъ былъ-бы послать донесеніе объ этомъ въ батальонъ. Но я не послалъ, не желая попадать въ дурацкое положеніе. Я только поставилъ постъ на краю предмѣстья — на всякій случай. Но сенсаціонное извѣстіе какимъ то путемъ добѣжало и, повидимому, — въ самыя высокія сферы...

* * *

Вечерѣло... Я стоялъ на обезлюденной улицѣ. Все куда-то попряталось. Гдѣ же всѣ эти толпы? Новая какая-то жуть нависла надъ предмѣстьемъ.

Изъ города приближается кавалерійскій разъѣздъ. Во главѣ вахмистръ. Я подзываю его:

— Куда?

— Въ Голосѣевскій лѣсъ, ваше благородіе.

— Что тамъ?

— Жиды, ваше благородіе...

Значитъ уже узнали гдѣ-то, тамъ. Прислали кавалерійскій разъѣздъ. Ну, и прекрасно.

— Ну, ѣзжай...

Прошло нѣсколько минутъ. Оттуда же появляются еще что-то — опять кавалерія. Но уже больше: полъ-эскадрона должно быть. Во главѣ корнетъ.

— Позвольте васъ спросить, куда вы?

Онъ остановилъ лошадь и посмотрѣлъ на меня сверху внизъ:

— Въ Голосѣевскій лѣсъ.

— А что тамъ такое?

— Тамъ?... Жиды!...

Онъ сказалъ это такимъ тономъ, какъ будто было даже странно съ моей стороны это спрашивать. Что можетъ быть въ Голосѣевскомъ лѣсу?

— И много?...

Онъ отвѣтилъ стальнымъ тономъ:

— Восемь тысячъ...

И тронулъ лошадь.

Черезъ нѣсколько минутъ — опять группа всадниковъ, то-есть собственно только двое. Первый — полковникъ, другой, очевидно, адъютантъ. Полковникъ подзываетъ меня:

— Какія у васъ свѣдѣнія о Голосѣевскомъ лѣсѣ?

— Кромѣ непровѣренныхъ слуховъ — никакихъ...

Полковникъ смотритъ на меня съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сказать:

— Ничего другого я и не ожидалъ... отъ прапорщика...

Проѣхали...

Батюшки, это что же такое?...

Неистово гремя, показывается артиллерія. Протягиваютъ одно, другое, третье... Полубатарея. Ну-ну...

За артиллеріей, шлепая въ грязи, тянутся двѣ роты пѣхоты. Ну теперь все въ порядкѣ: „отрядъ изъ трехъ родовъ оружія“. Можно не безпокоиться за Голосѣевъ.

* * *

Ночь черная, какъ могила. Не только уличныхъ фонарей, — ни одного освѣщеннаго окна. Ни одного огня въ предмѣстьи. Съ совершенно глухого неба мороситъ мельчайшій дождикъ.

Я патрулирую во главѣ взвода. Обхожу улицы, переулки, базаръ...

Домишки и дома стоятъ мрачными и глухими массивами. Еще чернѣе, чѣмъ все остальное, дыры выбитыхъ оконъ и дверей. Подъ ногами на тротуарахъ трещитъ стекло. Иногда спотыкаешься о что-нибудь брошенное.

Тамъ, въ этихъ полуруинахъ, иногда чувствуется какое-то шевеленіе. Очевидно, дограбливаютъ какія-то гіены. Наконецъ мнѣ это надоѣло.

— Кто тамъ, вылѣзай!...

Затихло. Я повторилъ приказаніе. Никакого

отвѣта. Я выстрѣлилъ изъ револьвера въ разбитое окно.

— Не стрѣляйте — мы вылѣземъ...

Изъ-подъ исковерканнаго висящаго дверного жалюзи вылѣзло двое.

Это были солдаты — запасные.

— Ахъ, такъ!... наши!... Мы тутъ разоряемся, изъ силъ выбиваемся, ночи не спимъ, грабителей ловимъ, — а грабители вотъ кто! Наши же... Арестовать! Подъ судъ пойдете...

Ихъ окружаютъ. Пошли дальше.

* *
*

Слышны приближающіеся голоса, шаги, изъ-за угла вдругъ появляется плохо различаемая гурьба людей.

— Кто вы?... Что тутъ дѣлаете?

Въ темнотѣ не разберешь, что за люди. Тѣ перепугались.

— Мы... Мы — ничего... Мы — вотъ...

Они суютъ мнѣ что-то въ руки, что оказывается національными флагами.

— Чего же вы ночью съ флагами шляетесь?... Маршъ домой!

Отбираютъ флаги и гонятъ ихъ. Убѣгаютъ...

* *
*

На одномъ углу спотыкаемся о какую-то мягкую и разсыпающуюся горку.

— Чай, ваше благородіе.

Да, это чай. Симпатичные и душистые кубики въ золотомъ украшенныхъ оберткахъ. И я чувствую, что дѣлается въ крестьянскихъ бережливыхъ сердцахъ моихъ солдатъ.

Чай!... Драгоцѣнное солдатское зелье, ихъ роскошь, вотъ такъ валяется въ грязи, пропадаетъ...

Они не выдерживаютъ:

— Ваше благородіе — дозвольте взять... По штучкѣ... Пропадетъ зря!...

Въ моей душѣ борьба. Чувствую, что солдатамъ этого никакъ не понять, если я откажу. Они честно работали со мною весь день. Старались, какъ могли, спасая „жидовское добро". Но вѣдь этотъ чай — уже ничей. Онъ все равно пропадетъ. Какъ же его не спасти? Принципіально? Но вѣдь Донъ-Кихотство непонятно имъ.

И я уступаю.

* * *

Кто скажетъ „а", — тотъ скажетъ „б"...

Унтеръ-офицеръ подходитъ ко мнѣ.

— Ваше благородіе...

— Ну?...

— Ребята наши просятъ — отпустить бы... тѣхъ...

У него въ голосѣ что-то подкупающее. Я понимаю, — онъ проситъ, чтобы я отпустилъ тѣхъ двухъ солдатъ, что мы арестовали.

— Пропадутъ, ваше благородіе... Они уже увольненные со службы. Завтра домой имѣли ѣхать... А тутъ какое дѣло вышло... Жалко... Ребята очень просятъ.

Опять коротенькая душевная борьба, и опять я капитулирую.

— Ваше благородіе, — мы ихъ сами накажемъ... А подъ судъ...

Онъ не доканчиваетъ, но я знаю, что если бы онъ былъ интеллигентомъ, онъ сказалъ бы: „А подъ судъ — безчеловѣчно".

Но я стараюсь отступить съ соблюденіемъ приличій.

— Ну, ладно... Но помните, только — ради вашей службы!

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше благородіе...

Я слышу возню въ темнотѣ, удары: ихъ „наказываютъ". Потомъ они выныриваютъ передо мной:

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше благородіе...

Я все еще стараюсь сохранить конвенансы.

— Не ради васъ, мерзавцы... Ради моихъ саперъ.

Какъ бы тамъ ни было, инцидентъ исчерпанъ.

* * *

На одной изъ улицъ (неразгромленной) я почувствовалъ нѣчто необычайное.

Полная темнота. Но въ подъѣздахъ, въ воротахъ, въ дверяхъ, въ палисадникахъ и садикахъ какая-то возня, шопотъ, заглушенные голоса. Если они не спятъ, почему не зажигаютъ свѣта? Почему въ полной темнотѣ они перебѣгаютъ, перешептываются? Что то встревоженное, волнующееся, напряженное. Что такое?

По обрывкамъ долетающихъ словъ, — ясно, что это русская улица. Почему они прячутся? На мостовую выйти какъ бы боятся.

Я остановился и выстроилъ взводъ поперекъ улицы.

Понявъ, что мы — солдаты, люди начинаютъ по одиночкѣ подбираться къ намъ.

Я вступаю въ разговоръ съ ними.

— Что тутъ такое? Чего вы шепчетесь?

— Боимся...

— Чего боитесь?

— Жидовъ боимся... Идутъ рѣзать...

— Да откуда это вы взяли?

— Всѣ говорятъ, ваше благородіе...

Въ это время прямо въ строй бросается какая-то женщина. Метнулась отъ страха.

— Ой ратуйте, ратуйте!..

— Чего ты кричишь? Что съ тобой?

— Ой, ой, тамъ на Совской... Дѣтки мои тамъ... ой ратуйте!...

— На какой Совской?

Нѣсколько голосовъ вмѣшиваются.

— Тамъ, ваше благородіе, тамъ... Тамъ Совская!

Они показываютъ руками куда-то въ черноту, куда, повидимому, улица уходитъ въ гору.

Баба продолжаетъ кричать истерически: что тамъ, на Совской рѣжутъ ея дѣтей, но что она не пойдетъ все равно туда, и молитъ о помощи.

— Ратуйте, хто въ Бога віруе!...

Вокругъ взволнованная, — чувствую, какъ они перепуганы! — собирается толпа и жмется къ моему взводу.

И вдругъ я чувствую, что это паническое состояніе передается солдатамъ. Истерическій вопль женщины, эта черная темнота, психическій токъ этой перепуганной толпы — дѣйствуетъ на нихъ. А въ особенности эта проклятая цифра: „десять тысячъ.“ Эта шепчущаяся толпа только и говоритъ о десяти тысячахъ жидовъ, которые гдѣ-то засѣли, но сейчасъ вотъ-вотъ придутъ по этой черной улицѣ, вонъ оттуда съ горки, съ этой самой Совской, гдѣ уже рѣжутъ дѣтей этой голосящей бабы. А вѣдь насъ только горсточка, — взводъ...

Я говорю солдатамъ нѣсколько успокаивающихъ словъ, они какъ будто пріободрились, но все же я рѣшаю пройти на эту дурацкую Совскую, чтобы выяснить...

Развернутымъ строемъ отъ стѣнки до стѣнки, вѣрнѣе, отъ палисадника — до палисадника, мы поднимаемся вверхъ по этой чернѣющей улицѣ. Двигаемся впередъ осторожно, потому-что темно, какъ въ погребѣ. Пройдя нѣсколько, я вдругъ угадываю впереди толпу.

Ихъ не видно, но по приглушонному говору и шуму чувствуется человѣческая масса, которая не то стоитъ, не то идетъ поперекъ улицы.

Я останавливаю взводъ. Кричу въ темноту:

— Кто идетъ? Что за люди?..

Говоръ вдругъ замолкаетъ. Наступаетъ тишина, но отвѣта нѣтъ. Темная масса, которая уже чуть чуть различается глазами, стоитъ неподвижно.

— Повторяю вопросъ:

— Да отвѣчайте же: Кто такіе?

Отвѣта нѣтъ.

Кричу еще разъ:

— Отвѣчайте, не то стрѣлять буду!

Отвѣта нѣтъ.

Я приказываю горнисту.

— Сигналъ!

Замершую — черную, какъ деміевская грязь, темноту вдругъ прорѣзаетъ желтый хрипло-рѣзкій звукъ трубнаго сигнала: „Слушайте всѣ“...

Сигналъ звучитъ зловѣще, но вмѣстѣ съ тѣмъ внушительно, торжественно.

Послѣ его рѣзкаго четырехстопья опять наступаетъ мертвая, черная тишина. И тогда, нако-

нецъ, изъ темноты раздается голосъ. Великолѣпный голосъ и на чистѣйшемъ кіевско-деміевскомъ діалектѣ. Но Боже мой. что онъ говоритъ!

— Стрѣлять хатишь?... Стрѣляй!... Стрѣляй!... Я съ портретомъ Государа моего на груди стою, а ты стрѣлять хатишь... А генерала знаешь?... Я министру самому на тебя жалобу подамъ!... Стрѣляй, стрѣляй...

Я не сталъ дожидаться продолженій.

— Взводъ впередъ!

* * *

Они облѣпили насъ, какъ пчелы матку.

— Господи, ваше благородіе... Ужъ какъ мы боялись... Цѣлый день говорятъ, что жиды придутъ — десять тысячъ... Вотъ мы подумали: уже идутъ... А это вы... Господи, вотъ не познали...

— Чего же вы тутъ собрались всѣ?

— А такъ, ваше благородіе, порѣшили, что такъ же нельзя даться... Вотъ собрались всѣ вмѣстѣ, чтобы другъ другу помощь подать... Одинъ до одного жмется... Всѣ равно не спимъ... боимся!...

Въ заднихъ рядахъ я ясно слышу тотъ самый голосъ, который читалъ мнѣ только что ектенью съ „портретомъ моего Государà на груди." Черезъ нѣсколько времени онъ попадаетъ въ орбиту моей руки. Я схватываю его за шиворотъ.

— Это ты на меня хотѣлъ министру жаловаться?...

— Я...

— А гдѣ жъ портретъ?...

А вотъ...

Дѣйствительно держитъ въ рукахъ портретъ изъ календаря.

— Будешь жаловаться?...

— Да, нѣтъ... Ето я... такъ...

— То то — такъ!

Кругомъ хохочутъ...

Я приказываю разойтись по домамъ, объясняю имъ, что все это вздоръ. Расходятся...

* * *

Приходитъ приказанiе отъ ротнаго командира: пришла смѣна, можно вести людей на отдыхъ.

Идемъ по совершенно чернымъ, но успокоившимся улицамъ. Единственный огонь въ полицейскомъ участкѣ. Захожу на всякiй случай.

Вижу того полковника, который тогда меня подарилъ презрительнымъ взглядомъ, за то, что я не могъ ему сообщить ничего о Голосѣевскомъ лѣсѣ. Я не удержался:

— Разрѣшите спросить, господинъ полковникъ. Какъ въ Голосѣевскомъ лѣсу?

Онъ посмотрѣлъ на меня, понялъ и улыбнулся:

— Непрiятель обнаруженъ не былъ...

* * *

Вотъ домъ для отдыха. Во дворѣ насъ всрѣчаетъ еврейская семья, которая не знаетъ, какъ забѣжать и что сдѣлать, чтобы намъ угодить. Это понятно: наше присутствiе обезпечиваетъ имъ безопасность.

— Гаспадинъ солдатъ, — вотъ сюда, сюда пожалуйте...

Они ведутъ моего унтеръ-офипера куда то, и я слышу его голосъ, который бурчитъ изъ темноты:

— Вчера былъ — „москаль паршивый“ а сегодня — „гашпадинъ солдатъ“... Эхъ вы!...

* * *

Намъ, офицерамъ, хозяева отвели свою спальню.

Устали мы сверхестественно. Раздѣваться нельзя, потому что Богъ знаетъ, что можетъ случиться. Но надо же отдохнуть. Дразнятъ „великолѣпныя“ постели съ красными атласными, стеганными одѣялами. Ротный говоритъ.

— Ну куда-же мы тутъ ляжемъ?... Вотъ съ этакими сапожищами на такое одѣяло...

Но хозяйка возмущается:

— Что вы, ваше благородіе. Какъ же вы устали! Ложитесь, отдыхайте себѣ на здоровьечко. Вѣдь это же въ ваше полное распоряженье...

* * *

Мы ложимся и отдыхаемъ среди „еврейскихъ шелковъ“. Такъ кончается для меня второй день „конституціи“...

Третій день „конституціи".

Уже давно мы такъ сидѣли вдвоемъ. Это было въ одинъ изъ послѣпогромныхъ дней. Тамъ же, на Деміевкѣ, — въ одномъ изъ домовъ.

Я читалъ книгу, подобравшись ближе къ печкѣ. Изрѣдка похлебывалъ чай. А онъ сидѣлъ въ углу, на неудобномъ стулѣ, сгорбившись — неподвижно. Онъ внимательно смотрѣлъ внизъ, въ другой уголъ — напротивъ. Я думалъ, что онъ слѣдитъ за мышью, которая тамъ шуршала обоями. Это былъ старикъ-еврей, сѣдой, худой, съ длинной бородой. Мы не обращали другъ на друга никакого вниманія и сидѣли такъ, можетъ быть, часа два. Печка пріятно трещала, въ окно понемножку входили голубоватые сумерки.

Караулъ помѣщался внизу. А мнѣ отвели помѣщеніе здѣсь — въ комнатѣ, которая служила и столовой и гостиной въ этой еврейской семьѣ. Старикъ этотъ былъ хозяинъ.

Нашъ батальонъ въ это время охранялъ Деміевку и каждыя сутки выставлялъ караулъ. Мы помѣщались въ разныхъ домахъ, гдѣ придется. Въ противоположность днямъ допогромнымъ каждый еврейскій домъ добивался, чтобы караулъ поставили у него. Принимали всегда въ высшей степени радушно, но я старался держаться „raide". Въ качествѣ войскъ мы обязаны были сохранять „нейтралитетъ" и, спасая евреевъ, держаться такъ, чтобы русское населеніе не имѣло поводовъ выдумывать всякія гадости вродѣ: „жиды купили офицеровъ".

Поэтому я читалъ, не заговаривая съ хозяиномъ! Онъ молчалъ и о чемъ то думалъ. И вдругъ неожиданно разразился...

— Ваше благородіе!... сколько ихъ можетъ быть?

— Кого?

— Этихъ сволочей, этихъ мальчишекъ паршивыхъ...

— Какихъ мальчишекъ?

— Такихъ, что бомбы бросаютъ... Десять тысячъ ихъ есть?

Я посмотрѣлъ на него съ любопытствомъ.

— Нѣтъ... конечно, нѣтъ...

— Ну, такъ что же?!... Такъ на что же министры смотрятъ!... Отъ чего же ихъ не вивишать всѣхъ?...

Онъ трясъ передъ собой своими худыми руками. Мнѣ показалось, что онъ искрененъ, этотъ старикъ.

— А отчего вы сами, евреи, — старшіе, не удержите ихъ? Вѣдь вы же знаете, сколько вашихъ тамъ.

Онъ вскочилъ отъ этихъ словъ.

— Ваше благородіе! И что же мы можемъ сдѣлать? Развѣ они хотятъ насъ слушать. Ваше благородіе! Вы знаете — это чистое несчастіе. Приходитъ ко мнѣ въ домъ... Кто? мальчишки! Говорятъ „Давай"!... И я мушу дать... Они говорятъ — „самооборона"! И мы даемъ на самооборона. Такъ ви знаете, ваше благородіе, что они сдѣлали, эти сволочи на Деміевкѣ?! „Самооборона"! Бомбы, такъ они бросать могутъ! Это они таки умѣютъ, да!... А когда пришелъ погромъ до нась, такъ что эта са-

мооборона? Штрѣлили эти паршивые мальчишки, штрѣлили и убѣгли... Они таки убѣгли, а мы таки остались... Они штрѣлили, а насъ бьютъ... Мальчишки паршивые! „Самооборона"!!!

— Все-таки надо удерживать вашу молодежь

— Ваше благородіе, какъ ихъ можно удерживать!... Я — старый еврей. Я себѣ хожу въ синагогу. Я знаю свой Законъ... Я имѣю Бога въ сердцѣ... А что эти — мальчишки! Онъ себѣ хватаетъ бомбу, идетъ — убиваетъ... На тебѣ — онъ тебѣ революцію дѣлаетъ!... Ваше благородіе!... И вы повѣрите мнѣ, старому еврею: вы говорите — ихъ нѣтъ десять тысячъ. Такъ что же!? въ чемъ дѣло?! Всѣхъ ихъ сволочей паршивыхъ, всѣхъ ихъ, какъ собакъ, перевѣшивать надо! И больше — ничего, ваше благородіе!

* * *

Съ тѣхъ поръ, когда меня спрашиваютъ:

— Кого вы считаете наибольшимъ черносотенцемъ въ Россіи?

— Я всегда вспоминаю этого стараго еврея... И еще я иногда думаю: ахъ, если бы „мальчишки", еврейскіе и русскіе, во время послушались своихъ стариковъ — тѣхъ, по крайней мѣрѣ, изъ нихъ, кто имѣли или имѣютъ „Бога въ сердцѣ"...

Предпослѣдніе дни „конституціи“.

3 ноября 1916 года.

Было такъ тихо, какъ бывало въ этомъ Таврическомъ дворцѣ послѣ бурнаго дня... Было тихо и полутемно... Самый воздухъ, казалось, отдыхалъ, стараясь забыть громкія волнующія слова, оглушительныя рукоплесканія, яркій нервирующій свѣтъ, — все, что тутъ было...

Я любилъ иногда по вечерамъ оставаться здѣсь совершенно одному. Нервы успокаиваются... И такъ хорошо думается... Думается совсѣмъ по иному... Можно посмотрѣть на себя со стороны... Такъ, какъ разглядываютъ изъ темноты освѣщенную комнату...

* * *

Вотъ кресло... Удобное кожанное кресло.

Передо мной огромная зала... Длинный рядъ массивныхъ, бѣлыхъ колонъ... Нѣтъ онѣ сейчасъ не бѣлыя... Полуосвѣщенныя, онѣ сейчасъ загадочнаго цвѣта — оттѣнка неизвѣстности... О чемъ онѣ думаютъ?... Онѣ видѣли Екатерину, теперь созерцаютъ „его величество желтый блокъ“... Что онѣ еще увидятъ?...

* * *

Сегодня я сказалъ рѣчь... Ахъ, эти рѣчи.

— Вы такъ свободно говорите... Вамъ, вѣроятно, это никакого труда не составляетъ?

Знали бы они, что это такое!... Чего стоятъ эти полчаса, проведенные на „Голгофѣ“, на этой

„высокой кафедрѣ“, какъ неизмѣнно ее называютъ наши батюшки... Какое неумолимое напряженіе мысли, воли, нервовъ...

Я какъ то былъ въ бою... Страшно? Нѣтъ... Страшно говорить въ Государственной Думѣ... Почему? Не знаю... Можетъ быть, потому, что слушаетъ вся Россія.

Впрочемъ, находятся утѣшители:

— За то вамъ очень хорошо платятъ... Вы говорите раза три, четыре въ годъ... И получаете четыре тысячи рублей... Тысячу—за выходъ. Это почти Шаляпинскій гонораръ.

* * *

Кстати сегодня Шаляпинъ былъ на хорахъ, Кого только не было! Сегодня „большой думскій день“. А это все равно, что премьера въ Маріинскомъ. Маклаковъ насъ познакомилъ. Шаляпинъ сдѣлалъ мнѣ комплиментъ по поводу моей рѣчи:

— Такъ рѣдко удается услышать чистую русскую рѣчь.

Это замѣчаніе въ высшей степени мнѣ польстило. Для насъ, кіевлянъ, „чистая русская рѣчь“ — наше слабое мѣсто... Мы говоримъ плохо, съ южнымъ акцентомъ... И вдругъ...

* * *

Это пустяки... Но какимъ образомъ я, природный кіевлянинъ, а значитъ чистой воды черносотенецъ, дошелъ до нижеслѣдующаго: мнѣ только что сообщили, что моя рѣчь не появится въ провинціи, такъ какъ не пропущена цензурой... Что это значитъ? Это значитъ, что черезъ нѣсколько дней, ее будутъ стучать на машинкахъ барышни всей

Россійской державы и въ рукописномъ видѣ распространять какъ „нелегальщину“... Я — и „подпольная литература!“ Нѣчто чудовищное!.. Какимъ образомъ это произошло?

* * *

Эти бѣлыя колонны, вѣроятно, не замѣтили меня, когда, десять лѣтъ тому назадъ, робкимъ провинціаломъ я пробирался сквозь злобные кулуары второй Государственной Думы, — „Думы Народнаго Гнѣва“. Пробирался для того, чтобы съ всероссійской кафедры, украшенной двуглавымъ орломъ, высказать слова истинно-кіевскаго презрѣнія къ ихъ „гнѣву“ и къ ихъ „народу“... Народу, который во время войны (Японской) предалъ свою родину, который шепталъ гнусныя змѣиныя слова „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“, который ради „свободы“ жаждалъ разгрома своей арміи, ради „равноправія“ гибели своихъ эскадръ, ради „земли и воли“, униженія и пораженія своего отечества... Мы ненавидѣли такой народъ и смѣялись надъ его презрѣннымъ гнѣвомъ... Не свободы „они“ были достойны, а залповъ и казней!

* * *

Залпы и казни и привели ихъ въ чувство... И бѣлыя колонны Таврическаго Дворца увидѣли третью Государственную Думу — эпоху Столыпина... Эпоху реформъ quand même — эпоху подъ лозунгомъ: „Все для народа — вопреки народу“... Мы, провинціалы, твердо стали вокругъ Столыпина и дали ему возможность вбивать въ крѣпкія мужицкія головы сознаніе, что земли „черезъ волю“ они не получатъ, что грабить землю нельзя — и глупо и

грѣшно, что земельный коммунизмъ непремѣнно приведетъ къ голоду и нищетѣ, что спасеніе Россіи въ собственномъ, честно полученномъ кускѣ земли — въ „отрубахъ“, въ „хуторахъ“, какъ тогда говорили, и, наконецъ, что „волю“ народъ получитъ только „черезъ землю“, то есть не прежде, чѣмъ онъ научится ее, землю, чтить, любить и добросовѣстно обрабатывать, ибо только тогда изъ вѣчнаго Стеньки Разина онъ станетъ гражданиномъ...

И сколько разъ эти бѣлыя колонны видѣли насъ, спѣшащихъ туда въ этотъ залъ, чтобы тамъ, — съ трибуны, неизмѣнно держащей двуглаваго орла, „глаголомъ жечъ сердца людей“, людей гораздо болѣе крѣпкоголовыхъ, чѣмъ саратовскіе мужики, людей, хотя и высокообразованныхъ, но тупо не понимавшихъ величія совершавшагося на ихъ глазахъ и не цѣнившихъ самоотверженнаго подвига Столыпина...

* * *

Столыпинъ заплатилъ жизнью за то, что онъ раздавилъ революцію, и, главнымъ образомъ за то, что онъ указалъ путь для эволюціи. Нашелъ выходъ, объяснилъ, что надо дѣлать... Выстрѣлъ изъ револьвера въ Кіевѣ — увы! нашемъ Кіевѣ, всегда бывшемъ его лучшей опорой, — закончилъ столыпинскую эпоху... Печерская Лавра приняла пробитое пулей Багрова тѣло, а новый предсѣдатель совѣта министровъ взялъ на себя тяжесть правленія...

И скоро мнѣ пришлось сказать:

— Будетъ бѣда... Россія безнадежно отстаетъ... Рядомъ съ нами—страны высокой культуры и высокаго напряженія воли. Нельзя жить въ такомъ

неравенствѣ. Такое сосѣдство опасно. Надо употребить какія-то большія усилія. Необходимъ размахъ, изобрѣтательность, творческій талантъ. Намъ надо изобрѣтателя въ государственномъ дѣлѣ... Намъ надо „соціальнаго Эдиссона"...

И колонны слышали отвѣтъ:

— Отъ меня требуютъ, чтобы я былъ какимъ-то государственнымъ Эдиссономъ... Очень былъ-бы радъ... Но чѣмъ я виноватъ, что я не Эдиссонъ, а только Владиміръ Николаевичъ Коковцевъ.

* * *

Конечно, В. Н. не былъ виноватъ. Какъ не былъ виноватъ весь классъ, до сихъ поръ поставлявшій властителей, что онъ ихъ больше не поставляетъ... Былъ классъ, да съѣздился.

* * *

Межъ тѣмъ передъ Россіей вставали огромныя трудности. Германія искала выхода для своего населенія, наростающаго, какъ приливъ, и для своей энергіи, усиливающейся, какъ буря. Естественно, что глаза нѣмцевъ жадно устремлялись въ лѣнивую пустоту Востока.

Какъ?! Эти ничтожные русскіе получаютъ 35 пудовъ зерна съ десятины!.. Это просто стыдно. О, мы научимъ ихъ, какъ обращаться съ такой драгоцѣнностью, какъ русскій черноземъ. Къ тому же, если мы объявимъ имъ войну, у нихъ сейчасъ же будетъ революція. Вѣдь ихъ культурный классъ можетъ только пѣть, танцовать, писать стихи... и бросать бомбы.

И надъ Германіей неумолчно звучалъ воин-

ствующій крикъ „Drang nach Osten“, и раздавались глухіе удары молотовъ Круппа...

* * *

И произошло то, что должно было произойти: нѣмецкіе профессора бросили германскую армію на Россію...

* * *

Тутъ случилось чудо... Та самая русская интеллигенція, которая во время Японской войны насквозь пропиталась лозунгомъ „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“ и только въ пораженіи родины видѣла возможность осуществленія своихъ сновъ „о свободѣ“, — вдругъ словно переродилась.

И бѣлыя колонны видѣли, какъ 26 іюля 1914 года на кафедру, въ этотъ день горделиво подпираемую двуглавымъ орломъ, одинъ за другимъ входили представители еще недавно пораженческихъ группъ и въ патетическихъ словахъ обѣщали всѣми силами поддержать русскую государственную власть въ ея борьбѣ съ Германіей...

* * *

Успѣхъ не долго сопутствовалъ нашему оружію. Не хватило снарядовъ, и разразилось грозное отступленіе 1915 года. Я былъ на фронтѣ и видѣлъ все... Неравную борьбу безоружныхъ русскихъ противъ „ураганнаго“ огня нѣмцевъ... И когда снова была созвана Государственная Дума, я принесъ съ собой, какъ и многіе другіе, горечь безконечныхъ дорогъ отступленія и закипающее негодованіе арміи противъ тыла.

* * *

Я пріѣхалъ въ Петроградъ, уже не чувствуя

себя представителемъ одной изъ южныхъ провинцій. Я чувствовалъ себя представителемъ арміи, которая умирала такъ безропотно, такъ задаромъ, и въ ушахъ у меня звучало:

— Пришлите намъ снарядовъ.

* * *

Какъ это сдѣлать?

Мнѣ казалось яснымъ одно: нужно прежде всего и во что бы то ни стало сохранить патріотическое настроеніе интеллигенціи. Нужно сохранить „волю къ побѣдѣ“, готовность къ дальнѣйшимъ жертвамъ. Если интеллигенція подъ вліяніемъ неудачъ обратится на путь 1905 года, то-есть вновь усвоитъ психологію пораженчества, — дѣло пропало... Мы не только не подадимъ снарядовъ, но будетъ кое-что похуже: будетъ революція.

И я, едва пріѣхавъ, позвонилъ къ Милюкову.

* * *

Милюковъ меня сразу не узналъ: я былъ въ военной формѣ. Впрочемъ, и вправду я сталъ какой-то другой. Война вѣдь все переворачиваетъ.

Съ Милюковымъ мы были ни въ какихъ личныхъ отношеніяхъ. Между нами лежала долголѣтняя политическая вражда. Но вѣдь 26 іюля какъ бы все стерло... „Все для войны!“...

Но все же онъ былъ нѣсколько ошеломленъ моей фразой:

— Павелъ Николаевичъ... Я пришелъ васъ спросить напрямикъ: мы — друзья?

Онъ отвѣтилъ не сразу, но все же отвѣтилъ:

— Да... кажется... Я думаю... что мы — друзья...

* * *

Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что кадеты не собираются мѣнять курса, что они попрежнему будутъ стоять за войну „до побѣднаго конца“, но...

— Но подъемъ прошелъ... неудачи сдѣлали свое дѣло... Въ особенности повліяла причина отступленія... И противъ власти... неумѣлой... не поднявшейся на высоту задачи... сильнѣйшее раздраженіе...

— Вы считаете дѣло серіознымъ?

— Считаю положеніе серіознымъ... И прежде всего надо дать выходъ этому раздраженію... Отъ Думы ждутъ, что она заклеймитъ виновниковъ національной катастрофы... И если не открыть этого клапана въ Государственной Думѣ, раздраженіе вырвется другими путями... Дума должна рѣзко оцѣнить тѣ ошибки, а можетъ быть преступленія, благодаря которымъ мы отдали не только завоеванную потоками крови Галицію, но и кто знаетъ, что еще отдадимъ... Польшу.

— Я еще не говорилъ со своими... Но весьма возможно, что въ этомъ вопросѣ мы будемъ единомышленниками... Мы, пріѣхавшіе съ фронта, не намѣрены щадить правительство... слишкомъ много ужасовъ мы видѣли... Но это одна сторона, — такъ сказать, необходимъ „суровый окрикъ“... но вѣдь нельзя угашать духа, надо дать нѣчто положительное... Какъ то оживить мечту первыхъ дней...

— Да... чтобы оживить мечту, чтобы поднять духъ, надо дать увѣренность, что всѣ эти жертвы, уже принесенныя, и всѣ будущія не пропадутъ даромъ... Это надо сдѣлать двумя путями.

— Именно?

— Съ одной стороны надо, чтобы тѣ люди, которыхъ страна считаетъ виновниками, ушли... Надо, чтобы они были замѣнены другими достойными, способными, — людьми, которые пользуются общественнымъ вѣсомъ, пользуются, какъ это сказать, ну, общественнымъ довѣріемъ — что ли...

— Вы хотите отвѣтственнаго министерства?

— Нѣтъ... Я бы затруднился формулировать эти требованія выраженіемъ „отвѣтственное министерство“... Пожалуй для этого мы еще не готовы... Но нѣчто въ родѣ этого... Не можетъ же въ самомъ дѣлѣ совершенно рамольный Горемыкинъ быть главою правительства во время міровой войны... Не можетъ, потому что онъ органически, и по старости своей, и по закорузлости не можетъ стать въ уровень съ необходимыми требованіями... Западныя демократіи выдвинули цвѣтъ націи на министерскіе посты!...

— А второе?

— Второе вотъ что. Чтобы поднять духъ, какъ вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать... Я хочу сказать, что въ исходѣ войны, въ случаѣ нашей побѣды, мечтаютъ о перемѣнѣ курса... ждутъ другой политики... Ждутъ свободы...

— Въ награду за жертвы?

— Не въ награду, а какъ естественное слѣдствіе побѣды. Если Россія побѣдитъ, то очевидно побѣдитъ не правительство. Побѣдитъ вся нація. А если нація умѣетъ побѣждать, то какъ можно отказать ей въ правѣ свободно дышать... свободно думать, свободно управляться... Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь къ націи за жертвами, въ свою очередь готова жерт-

вовать частью своей власти... и своихъ предразсудковъ!

— Какія же доказательства?

— Доказательства должны заключаться въ извѣстныхъ шагахъ... Конечно война не время для коренныхъ реформъ... Но кое-что можно сдѣлать и теперь... Должно быть какъ бы вступленіе на путь свободы... Будемъ ли мы и въ этомъ согласны?...

Теперь уже я отвѣтилъ не сразу. Но все же отвѣтилъ:

— Лично я думаю, какъ Алексѣй Толстой: „Есть мужикъ и мужикъ. Коль мужикъ не пропьетъ урожаю, я того мужика уважаю“.

— Что это значитъ?

— Это значитъ: насколько народъ 1905 года, усвоившій пораженческую психологію, съ моей точки зрѣнія, ни заслуживалъ ничего, кромѣ репрессій, настолько Россія 1915 года, о которой можно сказать словами того же Толстого — „иже кровь въ непрестанныхъ бояхъ за тя, аки воду, ліяхъ и ліяхъ“, — заслуживаетъ вступленія на путь свободы.

* * *

Этотъ разговоръ могъ бы служить прологомъ къ тому, что впослѣдствіи получило названіе „Прогрессивный Блокъ“, который его враги прозвали „Желтый блокъ“...

* * *

Шесть фракцій (кадеты, прогрессисты, лѣвые октябристы, октябристы-земцы, центръ и націоналисты-прогрессисты) Государственной Думы и часть Государственнаго Совѣта объединились на весьма

скромныхъ „реформахъ“, которыя могли-бы разсматриваться, какъ „вступленіе на путь“...

Этими словами и былъ выраженъ въ „Великой Хартіи Блока“ (письменное соглашеніе фракцій) абзацъ, имѣвшій серьезное политическое значеніе:

„Вступленіе на путь отмѣны ограничительныхъ въ отношеніи евреевъ законовъ“...

* * *

Однако этотъ пунктъ даже въ такомъ видѣ былъ тяжелъ для праваго крыла блока. И сколько разъ эти бѣлыя колонны видѣли наши лица, сугубо озабоченныя изъ-за „еврейскаго вопроса“...

Мы понимали, что кадеты не могутъ не сказать что-нибудь на эту тему. Мы даже цѣнили это „вступленіе на путь“, которое звучало такъ мягко... Съ другой стороны и по существу нельзя было не видѣть разницу въ теперешнемъ поведеніи руководящаго еврейства сравнительно съ 1905 годомъ.

Тогда они поставили свою ставку на пораженчество и революцію... и проиграли. Результатомъ этой политики были погромы и обновленная суровость административной практики. Теперь-же руководящее еврейство поставило ставку на „патріотизмъ“... Вся русская печать (а вѣдь она на три четверти была еврейская) требовала войны „до побѣднаго конца“... Этого нельзя было не замѣтить, и на это слѣдовало отвѣтить обнадеживающимъ жестомъ.

Но, Боже мой, какъ это было трудно! На фронтѣ развивалась сумасшедшая „шпіономанія“, отъ которой мутились головы и въ Государственной Думѣ. Люди не понимали, что „фронтовые жиды“ не перестанутъ шпіонить, если крѣпче по-

прижать „тыловыхъ“. Не понимали и того, что эти тыловые держатъ въ своихъ рукахъ грозное оружіе — прессу, которой въ моментъ напряженія всѣхъ силъ государства меньше всего можно пренебрегать.

* * *

Остальное въ Великой Хартіи Блока было просто безобиднымъ. „Уравненіе крестьянъ въ правахъ“—вопросъ предрѣшенный еще Столыпинымъ; „пересмотръ земскаго положенія“,—тоже давно назрѣвшій за „оскудѣніемъ“ дворянства“; вполнѣ вегетеріанское „волостное земство“; прекращеніе репрессій противъ „малороссійской печати“, которую никто и не преслѣдовалъ; „автономія Польши“,—нѣчто совершенно уже академическое въ то время въ виду того, что Польшу заняла Германія...

Вотъ и все.

Но было еще нѣчто, изъ за чего все и пошло...

* * *

Это нѣчто заключалось въ требованіи, чтобы къ власти были призваны люди „облеченные общественнымъ довѣріемъ“. На этомъ все и разыгралось... Всѣ „реформы“ прогрессивнаго блока въ сущности—для мирнаго времени... Кого интересуетъ сейчасъ „волостное земство“?... Все это пустяки. Единственное что важно: кто будетъ правительствомъ?

* * *

Вскорѣ послѣ образованія прогрессивнаго блока была попытка сговориться.

Въ одинъ неудачный вечеръ мы, блокисты, сидѣли за однимъ столомъ съ правительствомъ...

Ничего не вышло. Правда нѣсколько министровъ явственно были съ нами: они склонны были уступить.

Что собственно уступить?

Дѣло ясно: надо позвать кадетъ и предоставить имъ сформировать кабинетъ. Собствснно говоря, почему этого не сдѣлать? Въ 1905 году кадеты были пораженцы и шли по одной дорогѣ съ террористами,—тогда ихъ позвать нельзя было. Но разъ они теперь—патріоты, то пусть бы составили кабинетъ. Боятся, что они будутъ слишкомъ либеральны? Пустяки: on a vu des radicaux ministres, on n'a jamais vu des ministres radicaux...

Сего не поняли, кадетовъ отвергли, и вотъ уже больше года тянется „это"... И Богъ одинъ знаетъ, къ чему приведетъ...

* * *

Да,—годъ съ лишнимъ...

Что сдѣлано за это время?

Присылали-ли мы имъ снарядовъ по крайней мѣрѣ?...

* * *

Зала въ Маріинскомъ Дворцѣ. Она вся темнокрасная. До полу бархатомъ укрыты столы, — красиво выгнутые подковой... Красный бархатъ—и на удобныхъ креслахъ... мягкіе ковры, совершенно глушащіе шаги, тоже красные.

Посрединѣ стола сидитъ военный Министръ. Онъ выдѣляется серсбромъ погонъ среди черныхъ „сюртучныхъ" крыльевъ. Справа отъ него сѣдой и желтый предсѣдатель Государственнаго Совѣта, слѣва—предсѣдатель Государственной Думы — огромный Родзянко. Рядомъ съ предсѣдателемъ Го-

сударственнаго Совѣта члены этого-же Совѣта, числомъ девять: Тимашевъ, Стишинскій, Стаховичъ, Шебеко, Гурко, графъ Толь, Ивановъ, еще кто-то. Рядомъ съ предсѣдателемъ Государственной Думы члены этой же Думы также числомъ девять: Дмитрюковъ, Марковъ 2-й, Шингаревъ, Милюковъ, Чихачевъ, Львовъ, Крупенскій, я, еще кто-то...

Противъ предсѣдателя—представители всевозможныхъ вѣдомствъ. Среди нихъ нѣсколько генераловъ и самый замѣчательный — Маниковскій, начальникъ главнаго артиллерійскаго управленія.

Засѣданія сильно дисциплинированы, почти торжественны. Говорятъ негромко и обыкновенно немного. Иногда бываетъ такъ тихо, что слышно, какъ великолѣпная хрустальная люстра чуть звенитъ своими искрящимися привѣсками. Идеальной важности лакеи разносятъ кофе въ пріятныхъ чашкахъ.

Что это такое?

Это Особое Совѣщаніе по государственной оборонѣ. Въ 1915 году, подъ давленіемъ Государственной Думы, были образованы эти, такъ называемыя, Особыя Совѣщанія. Ихъ было четыре: „Особое Совѣщаніе по государственной оборонѣ", (предсѣдатель—военный министръ); „Особое Совѣщаніе по транспорту" (предсѣдатель—министръ путей сообщенія); „Особое Совѣщаніе по топливу" (предсѣдатель—министръ Торговли и Промышленности); „Особое Совѣщаніе по продовольствію" (предсѣдатель—министръ Земледѣлія).

Эти Особыя Совѣщанія сдѣланы, если такъ можно выразиться, вродѣ какъ кузня... Кузнецъ — министръ съ его министерствомъ. А роль тѣхъ, кто

работаетъ мѣхомъ, т. е. роль „раздувальщиковъ", исполняемъ мы — члены законодательныхъ палатъ...

Военный Министръ докладываетъ:

— Въ послѣднее время въ Ставкѣ шли подсчеты количества снарядовъ, необходимаго для всего фронта. Въ настоящее время эти подсчеты закончены. Письмомъ на мое имя начальникъ штаба Ставки проситъ Особое Совѣщаніе по Государственной Оборонѣ довести производство снарядовъ до пятидесяти „парковъ" въ мѣсяцъ.

Среди членовъ совѣщенія происходитъ движеніе. Это вѣдь самый важный вопросъ. Сейчасъ рѣшится масштабъ дѣла, а, слѣдовательно, и масштабъ войны. Пятьдесятъ „парковъ", если считать на „полевые" парки, которые заключаютъ въ себѣ тридцать тысячъ снарядовъ, — это выходитъ полтора милліона въ мѣсяцъ. Это много. Но достаточно ли?...

Курчавая голова „мѣднаго всадника" (такъ въ насмѣшку называютъ Маркова 2-го за его сходство съ Петромъ Великимъ) приходитъ въ движеніе. Онъ проситъ слова.

— Относясь со всѣмъ уваженіемъ къ произведеннымъ въ Ставкѣ Верховнаго Главнокомандующаго подсчетамъ, я, тѣмъ не менѣе, долженъ заявить, — не въ обиду будь имъ сказано — что настоящая война совершенно доказала нижеслѣдующее. Со всякими вообще „подсчетами спеціалистовъ" нужно поступать такъ, какъ поступилъ восточный мудрецъ со своей женой: нужно выслушать эти подсчеты... и поступить „наоборотъ". Я убѣжденъ, что къ тому времени, когда мы сможемъ довести наше производство до пятидесяти парковъ, мы получимъ новое заявленіе, въ кото-

ромъ будетъ сказано, что „въ силу измѣнившихся условій техники“ всѣ прежніе подсчеты оказались недостаточными и требуется увеличить норму—вдвое. Я предлагаю не дожидаться этого неизбѣжнаго заявленія, а сразу, теперь же увеличить расчетъ Ставки вдвое и поручить Главному Артиллерійскому Управленію довести производство снарядовъ не до пятидесяти парковъ, а до ста парковъ въ мѣсяцъ.

Это заявленіе вызвало продолжительный обмѣнъ мнѣній. Часть членовъ Государственнаго Совѣта, привыкшихъ къ старой бюрократической дисциплинѣ, находили совершенно невозможнымъ въ чемъ либо измѣнять предложеніе Ставки Верховнаго Главнокомандующаго. Но на сторону Маркова весьма энергично сталъ монументальный Михаилъ Владимировичъ Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушенія министерскихъ джунглей. Родзянко несетъ свой авторитетъ предсѣдателя Государственной Думы съ неподражаемымъ вѣсомъ. Это его достоинство и недостатокъ. „Цукать“ министровъ съ нѣкотораго времени сдѣлалось его потребностью. Впрочемъ, правду сказать, и было за что разносить, принимая во вниманіе, сколько народу уложили и сколько губерній отдали. Маркова поддержалъ и пламенный Шингаревъ, который и на этотъ разъ тронулъ всѣхъ почти до слезъ. Шингаревъ очень перемѣнился за время войны. Я помню, какъ раньше, когда онъ говорилъ съ кафедры, у него иногда бывали такіе злые глаза... Теперь эти „злые глаза“ такъ часто подергиваются подозрительной влагой... И становятся удивительными, когда онъ говоритъ о Россіи... Остальные члены Го-

сударственной Думы, и Николай Николаевичъ Львовъ съ безконечно-доброй улыбкой и глазами фанатика, и Милюковъ, истинно-русскій кадетъ, по какой-то игрѣ природы нмѣющій нѣкоторое обличье нѣмецкаго генерала, и Дмитрій Николаевичъ Чихачевъ, такой высокомѣрный на видъ, что про него его друзья говорили, будто у него не хватаетъ одного шейнаго позвонка, а на самомъ дѣлѣ только обостренно-порядочный человѣкъ, и другіе — всѣ поддержали „сто парковъ". Къ намъ присоединились и нѣкоторые члены Государственнаго Совѣта... великолѣпный Михаилъ Стаховичъ, изящный Шебеко, умный и злой Гурко, Александръ Семеновичъ Стишинскій, несмотря на многодесятилѣтнюю добросовѣстную службу бюрократическому режиму, болѣе другихъ проявлявшій пониманіе новыхъ условій, въ которыя бросила Россію міровая война, и другіе...

Наконецъ предсѣдатель артиллерійской комиссіи, бывшій министръ Торговли и Промышленности, Тимашевъ сказалъ:

— Все это очень хорошо... Но мало желать, и мало постановлять. Надо, чтобы это постановленіе вообще могло быть выполнено... Я просилъ бы, чтобы начальникъ главнаго артиллерійскаго управленія, котораго это ближе всѣхъ касается, высказалъ, наконецъ, свое мнѣніе: возможно ли довести производство снарядовъ до ста парковъ въ мѣсяцъ?

Генералъ Алексѣй Алексѣевичъ Маниковскій былъ талантливый человѣкъ. Что онъ дѣлалъ со своимъ „Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ", я хорошенько не знаю, но въ его рукахъ казенные заводы, да и частные, (напримѣръ мы отобрали у владѣльцевъ огромный Путиловскій заводъ и отда-

ли его въ ленъ Маниковскому) — дѣлаютъ чудеса. У него запорожская голова, соединеніе смѣлости и хитрости. Говоритъ громкимъ, но чуть хриплымъ голосомъ, говоритъ великолѣпно, хотя представляется, что онъ солдатъ и говорить не умѣетъ. Онъ всталъ и попросилъ Военнаго Министра:

— Разрѣшите доложить.

Генералъ Поливановъ, военный министръ, человѣкъ умный, задумчивый и большой дипломатъ. Когда онъ говоритъ, онъ всегда ежится плечами и нервно поводитъ головой, — это „тики", вѣрный признакъ угасанія индивидуума или рода.

Онъ разрѣшилъ Маниковскому говорить.

— Господа члены Особаго Совѣщанія... Я — солдатъ, — много говорить не умѣю. Вы ужъ меня простите... Дѣло обстоитъ такъ... Невозможнаго на свѣтѣ нѣтъ... Вы хотите сто парковъ въ мѣсяцъ?... Трудно... очень трудно... Но на то и война, чтобы преодолѣвать трудности. Ваше дѣло приказывать... Мое дѣло исполнить... Прикажите сто парковъ, — будетъ сто парковъ!...

* * *

Мы „приказали"...

* * *

Однако Марковъ ошибся... но только въ другую сторону. Когда мы довели производство до ста парковъ — вмѣсто потребованныхъ ставкой пятидесяти, — тогда получилось новое предписаніе: довести производство не до ста, а до ста пятидесяти парковъ! Конечно, „l'appetit vient en mangeant"...

Но мы доведемъ и до ста пятидесяти и почти уже довели, но только потому, что тогда имѣли

смѣлость „свое сужденіе имѣть“. Имѣли же мы эту смѣлость потому, что Особое Совѣщаніе состояло изъ генераловъ, окруженныхъ самыми вліятельными членами законодательныхъ палатъ, для которыхъ, какъ извѣстно, законъ не писанъ...

Вообще размахъ у насъ есть. Напримѣръ, мы дали заказъ на 40.000.000 сапоговъ. Еше „немножко“, и мы осуществимъ соціалистическій идеалъ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи ногъ: вся нація будетъ одѣваться, обуваться государствомъ... по заказамъ Особаго Совѣщанія по государственной оборонѣ.

* * *

Съ этой стороны наша совѣсть чиста. Мы сдѣлали все, что возможно. Свою обязанность „раздувальщиковъ священнаго огня“ военнаго творчества исполняли не за страхъ, а за совѣсть.

Но вотъ другая сторона... Бываютъ минуты, когда я начинаю сомнѣваться... Въ другомъ отно шеніи, гдѣ мы условились быть не раздувальщиками огня, а какъ разъ наоборотъ, гасителями пожара, — исполняемъ-ли мы свое намѣреніе? Тушимъ-ли мы революцію?

* * *

Правда, больше года уже прошло. Революція до сихъ поръ еще не разыгралась. Раздраженіе Россіи, вызванное страшнымъ отступленіемъ 1915 года, дѣйствительно удалось направить въ отдушину, именуемую Государственной Думой. Удалось перевести накипавшую революціонную энергію въ слова, въ пламенныя рѣчи и въ искусные звонкозвенящіе „переходы къ очереднымъ дѣламъ“... Удалось подмѣнить „революцію“, то-есть кровь и

разрушеніе, „резолюціей“, т.-е., словеснымъ выговоромъ правительству...

Удавалось и другое: удавалось на базѣ этихъ публичныхъ „строгихъ выговоровъ“ сохранять единство съ нимъ, съ правительствомъ, въ самомъ важномъ — въ отношеніи войны. Удавалось все время твердо держать надъ куполомъ Таврическаго дворца яркій плакатъ „Все для войны“... Сколько бы „мѣдный всадникъ“ не называлъ прогрессивный блокъ — „желтымъ блокомъ“, — это неправда, потому что блокъ трехцвѣтный: онъ бѣло-сине-красный, онъ національный, онъ русскій!

Но...

Но не начинаетъ ли красная полоса этой трехцвѣтной эмблемы расширяться „не по чину“ и заливать остальные цвѣта?

Въ минуты сомнѣній мнѣ иногда начинаетъ казаться, что изъ пожарныхъ, задавшихся цѣлью тушить революцію, мы невольно становимся ея поджигателями.

Мы слишкомъ краснорѣчивы... мы слишкомъ талантливы въ нашихъ словесныхъ упражненіяхъ. Намъ слишкомъ вѣрятъ, что правительство никуда не годно...

* * *

Ахъ, Боже мой... Да вѣдь весь ужасъ и состоитъ въ томъ, что это дѣйствительно такъ: оно дѣйствительно никуда не годно.

Въ техническомъ отношеніи еще куда ни шло. Конечно, намъ далеко до Англіи и Франціи. Благодаря нашей отсталости, огромная русская армія держитъ противъ себя гораздо меньше силъ про-

тивника, чѣмъ это полагалось бы ей по численной разверсткѣ. Намъ недавно докладывали въ Особомъ Совѣщаніи, что во Франціи на двухъ бойцовъ приходится одинъ солдатъ въ тылу. А у насъ наоборотъ: на одного бойца приходится два солдата въ тылу, то есть вчетверо болѣе. Благодаря этому, число бойцовъ, выставленныхъ Россіей съ населеніемъ въ 170.000.000, немногимъ превышаетъ число бойцовъ Франціи, съ 40.000.000 населенія. Это не мѣшаетъ намъ нести жесточайшія потери. По исчисленію нѣмцевъ Россія по сегодняшній день потеряла восемь милліоновъ убитыми, ранеными и плѣнными. Этой цѣной мы вывели изъ строя четыре милліона противниковъ.

Этотъ ужасный счетъ, по которому каждый выведенный изъ строя противникъ обходится въ два русскихъ, показываетъ, какъ щедро расходуется русское пушечное мясо. Одинъ этотъ счетъ — приговоръ правительству. Приговоръ въ настоящемъ и прошломъ. Приговоръ намъ всѣмъ... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенціи, которая жила безпечно, не обращая вниманія на то, какъ безнадежно въ смыслѣ матеріальной культуры Россія отстаетъ отъ сосѣдей...

То, что мы умѣли только „пѣть, танцевать, писать стихи и бросать бомбы“, теперь окупается милліонами русскихъ жизней — лишнихъ русскихъ жизней...

Мы не хотѣли и не могли быть „Эдиссонами“. Мы презирали матеріальную культуру. Гораздо веселѣй было создавать „міровую“ литературу, трансцедентальный балетъ и анархическія теоріи... Но зато теперь пришла расплата.

Ты все пѣла...

Такъ пойди-же попляши...

И вотъ мы пляшемъ... „послѣднее танго"... на гребнѣ окоповъ, забитыхъ трупами...

* * *

По счастію „страна" не знаетъ этого ужаснаго баланса смерти: два русскихъ за одного нѣмца. И поэтому эта, самая тяжкая вина, исторической Россіи пока не ставится правительству на видъ... Тѣ, кто знаютъ балансъ — молчатъ. Ибо здѣсь пришлось бы коснуться и арміи. А армія пока забронирована отъ нападковъ. Объ ошибкахъ ставки и бездарности иныхъ генераловъ „политическіе вожди" молчатъ.

* * *

Но, можетъ быть, такъ слѣдовало поступить и относительно правительства? Закрыть глаза на все — лишь бы оно довело войну до конца...

Если такъ и слѣдовало поступить, то это было невозможно. Когда мы съѣхались въ 1915 году въ Петроградъ, выбора не было. Всѣ были такъ накалены, что „заклеймить виновниковъ національной катастрофы" было необходимо Государственной Думѣ, если она желала, чтобы ея призывъ — новыхъ жертвъ и новаго подъема, былъ воспринятъ арміей и страной. Между думой и арміей кахъ бы сдѣлалось нѣмое соглашеніе:

Дума. Мы „ихъ" ругаемъ, а вы не ругайтесь, а деритесь съ нѣмцами...

Армія. Мы и будемъ драться, если вы „ихъ, какъ слѣдуетъ „нацукаете"...

* * *

И вотъ мы „цукаемъ.“

Не довольно ли?

Бѣда въ томъ, что никакъ остановиться нельзя.

Военныя неудачи, напряженіе, которое становится не подъ силу, утомленіе массъ, явственно переходящее въ отказъ воевать, все это требуетъ особо искусной внутренней политики.

А внутренняя политика...

Зачѣмъ это дѣлается — одному Богу извѣстно... Нельзя же въ самомъ дѣлѣ требовать отъ страны безконечныхъ жертвъ и въ то же время ни на грошъ съ ней не считаться!... Можно не считаться, когда побѣждаешь: побѣдителей не судятъ... Но „побѣждаемыхъ“ судятъ и судятъ не только строго, а въ высшей степени несправедливо, ибо сказано „vae victis“... Надо признать этотъ несправедливый законъ — „горе побѣжденнымъ“, надо признать неизбѣжность этой несправедливости и сообразно съ этой неизбѣжностью поступать. Надо поступать такъ, чтобы откупиться не только отъ суда праведнаго, но и отъ суда несправедливаго. Надо дать взятку тѣмъ, кто обличаетъ... Ибо они имѣютъ власть обличать, такъ какъ на каждаго обличающаго — милліоны жадно слушающихъ, милліоны думающихъ такъ же, нѣтъ не такъ же, а гораздо хуже... Да, ихъ милліоны, потому-что военныя неудачи принадлежатъ къ тѣмъ фактамъ, которые не нуждаются въ пропагандѣ... „Добрая слава за печкой лежитъ, а худая по міру бѣжитъ“... За пораженія н а д о п л а т и т ь.

Чѣмъ?...

Той валютой, которая принимается въ уплату:

надо расплачиваться уступкой власти... хотя бы кажущейся, хотя бы временной...

* * *

Интеллигенція кричитъ устами Думы:

— Вы насъ губите... Вы проигрываете войну... Ваши минстры или бездарность или измѣнники... Страна вамъ не вѣритъ... Армія вамъ не вѣритъ... Пустите насъ... Мы попробуемъ!...

Допустимъ, что это все неправда, за исключеніемъ одного: Нѣмцы насъ бьютъ — этого вѣдь нельзя отрицать... А если такъ, то этого совершенно достаточно, чтобы дать Россіи вразумительный отвѣтъ...

* * *

Можно поступить разно:

1) Позвать прогрессивный блокъ, т. е. другими словами кадетъ, и предоставить имъ составить кабинетъ: пробуйте — управляйте...

Что изъ этого вышло-бы — Господь его знаетъ. Разумѣется кадеты чуда-бы не сдѣлали, но, вѣроятно, они все же выиграли-бы время... Пока разобрались-бы въ томъ, что кадеты не чудотворцы, прошло-бы нѣсколько мѣсяцевъ, — а тамъ весна и наступленіе, которое все равно рѣшитъ дѣло: при удачѣ выплывемъ, при неудачѣ, все равно, потонемъ.

2) Если же не уступить власти, то надо найти Столыпина второго... Надо найти человѣка, который блеснулъ бы передъ страной умомъ и волей... Надо сказать второе „не запугаете“, эффектно разогнать Думу и править самимъ, — не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ — самодержавно...

3) Если кадетъ не призывать, Столыпина второго не находить, остается одно: кончать войну:

Внѣ этихъ трехъ комбинацій нѣтъ пути, т. е. разумнаго пути.

Что же дѣлаютъ вмѣсто этого?

Кадетъ не зовутъ, Думу не гонятъ, Столыпина не ищутъ, мира не заключаютъ, а дѣлаютъ — что?...

Назначаютъ „за мѣсто Столыпина“ — Штюрмера, о которомъ Петербургъ выражается такъ:

— Абсолютно безпринципный человѣкъ и полное ничтожество... За внѣшность его называютъ „святочнымъ дѣдомъ“... Но этотъ „дѣдъ“ не только не „принесетъ“ порядка Россіи, а „унесетъ“ послѣдній престижъ власти...

Къ тому же это „святочный дѣдъ“ съ нѣмецкой фамиліей...

* * *

Разумѣется, шпіономанія — это отвратительная и неимовѣрно глупая зараза. Я лично не вѣрю ни въ какія „измѣны“, а „борьбу съ нѣмецкимъ засиліемъ“ считаю дурацко-опаснымъ занятіемъ. Я пробовалъ бороться съ этимъ и даже въ печати указалъ, что „поджигая бикфордовъ шнуръ, надо помнить, что у тебя на другомъ концѣ“... Я хотѣлъ этимъ сказать, что нельзя всякаго нѣмца въ Россіи считать шпіономъ только потому, что онъ нѣмецъ, памятуя о принцессѣ Алисѣ Гессенской, которая у насъ Государыней... Меня прекрасно поняли и тѣмъ не менѣе изругали съ „Новымъ Временемъ“ во главѣ.

Все это такъ, но все же нельзя съ этимъ не

считаться, когда всѣ помѣшались на этомъ и когда послѣднія неудачи на фронтѣ приписываютъ тому, что нѣкоторые генералы носятъ нѣмецкія фамиліи. Это нестерпимо глупо, но вѣдь всѣ революціи во всѣ вѣка двигались какими нибдуь кругло-идіотскими соображеніями.

* * *

Измѣна...

Это ужасное слово бродитъ въ арміи и въ тылу... Началось это еще съ Мясоѣдова въ 1914 году, а теперь кого только не обвиняютъ. Вплоть до самыхъ верховъ бѣжитъ это слово, и рыщутъ даже вокругъ Двора добровольныя ищейки. Какъ будто не достаточно зла причинено Россіи безсознательно, чтобы обвинять еще кого-то въ измѣнѣ...

И это положительно, какъ зараза. Люди, которые, казалось, могли-бы соображать, и тѣ шалѣютъ... На этой почвѣ едва не треснулъ блокъ... Во всякомъ случаѣ издалъ непріятный скрипъ...

* * *

Это было нѣсколько дней тому назадъ... Мы готовили „переходъ къ очереднымъ дѣламъ“ по случаю новаго созыва Государственной Думы. Это вошло уже въ обычай. Въ обычай вошло и то, что переходы эти заключаютъ три части: привѣтъ союзникамъ, призывъ къ арміи — твердо продолжать войну, рѣзкая, критика правительства...

Какъ всегда, мы собрались въ комнатѣ № 11. Пасмурное петербургское утро съ электричествомъ. Надъ бархатными зелеными столами уютно горятъ лампы подъ темными абажурами...

Милюковъ, Шингаревъ, Шидловскій, Капнистъ 2-й, Скоропадскій, Львовъ 2-й, Половцевъ 2-й, я.

Предсѣдательствовалъ Шидловскій.

Былъ прочитанъ „проэктъ перехода". Въ немъ было роковое слово: правительство обвинялось „въ измѣнѣ"...

Рѣзко обозначилось два мнѣнія.

Мнѣніе № 1. Обращаю вниманіе на слово измѣна... Это страшное оружіе. Включеніемъ его въ резолюцію Дума нанесетъ смертельный ударъ правительству. Конечно, если измѣна дѣйствительно есть, нѣтъ такой рѣзкой резолюціи, которая моглабы достаточно выразить наше къ такому факту отношеніе. Но для этого нужно быть убѣжденнымъ въ наличности измѣны. Все то, что болтаютъ по этому поводу, въ концѣ концовъ только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу ихъ огласить. На такія обвиненія итти съ закрытыми глазами мы не можемъ.

Мнѣніе № 2. Надо ясно дать себѣ отчетъ, что мы вступаемъ въ новую полосу... Власть не послушалась нашихъ предостереженій. Она продолжаетъ вести свою безумную политику... политику раздраженія всей страны... страны, отъ которой продолжаютъ требовать неслыханныхъ жертвъ... Мало того: назначеніемъ Штюрмера власть бросила новый вызовъ Россіи... Эта политика въ связи съ неудачами на фронтѣ заставляетъ предполагать самое худшее... Если это не предательство, то что же это такое? Какъ назвать это сведеніе на нѣтъ всѣхъ усилій арміи путемъ систематическаго разрушенія того, что важнѣе пушекъ и снарядовъ—разрушенія духа, разрушенія воли къ побѣдѣ... Если это не предательство, то это во всякомъ случаѣ цѣпь такихъ дѣйствій, что истинные предатели не

выдумали бы ничего лучше, чтобы помочь нѣмцамъ...

Мнѣніе № 1. Все это такъ, но все же это не измѣна. Если этими соображеніями исчерпываются доводы въ пользу включенія этого слова въ нашу резолюцію, то для меня ясно: измѣны нѣтъ, а, слѣдовательно, нужно тщательно избѣгать этого слова.

Мнѣніе № 2. Это слово повторяетъ вся страна... Если мы откажемся отъ него, мы не скажемъ того, что нужно, того, что отъ насъ ждутъ... Но это будетъ политикой страуса... Если этого слова не скажетъ Государственная Дума, то оно все же не перестанетъ повторяться всюду и вездѣ, въ арміи и въ тылу... Но если въ чрезмѣрной добросовѣстности мы спрячемъ голову подъ крыло и промолчимъ, то прибавится еще другое: скажутъ— Дума испугалась, Дума не посмѣла сказать правду, Дума покрыла измѣну, Дума сама измѣнила!.. Мы ничего не перемѣнимъ въ настроеніи массъ, но только, въ добавокъ къ разрушенію всѣхъ скрѣпъ Государства, похоронимъ еще и себя... Рухнетъ послѣдній авторитетъ, которому еще вѣрятъ... Рухнетъ довѣріе къ Государственной Думѣ. Когда это случится, а это непремѣнно случится, если мы хотя бы въ смягченномъ видѣ не выскажемъ того, чѣмъ кипитъ вся Россія,—тогда это настроеніе и разсужденіе найдутъ себѣ другой выходъ... Тогда оно выйдетъ на улицу, на площадь... Мы должны это сказать, если бы и не хотѣли... Мы должны понимать, что мы сейчасъ въ положеніи человѣческой цѣпочки, которая сдерживаетъ толпу... Да, — мы сдерживаемъ ее, но все имѣетъ свой предѣлъ... Не

наша вина, что это невыносимое положеніе продолжается такъ долго. Толпа насъ толкаетъ въ спину... Насъ толкаютъ, и мы должны двигаться, хотя и упираясь, сколько хватаетъ нашихъ силъ, но все же должны двигаться... Если мы перестанемъ двигаться, насъ сомнутъ, прорвутъ, и толпа ринется на тотъ предметъ, который мы все же охраняемъ,—охраняемъ, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняемъ... Этотъ предметъ,—власть... Не носители власти, а сама власть... Пока мы говоримъ, ее ненавидятъ, но не трогаютъ... Когда мы замолчимъ, на нее бросятся.

Мнѣніе № 1. Наше мнѣніе совершенно опредѣленное: нельзя обвинять кого-бы то ни было въ измѣнѣ, не имѣя на это фактовъ. Никакія убѣжденія, хотя-бы самыя краснорѣчивыя, насъ съ этого не собьютъ. Къ тому же на всѣ эти доводы можно привести контръ-доводы не менѣе убѣдительные. Напримѣръ, что касается авторитета Государственной Думы, то мы потеряемъ его именно тогда, когда позволимъ себѣ обвинять людей въ предательствѣ, не имѣя на это данныхъ. Авторитетъ, основанный на лжи, на обманѣ, или даже на легкомысленной терминологіи, не долго продержится. Мы на это не пойдемъ. Играть въ эту игру мы согласны только при одномъ условіи—карты на столъ! Сообщите намъ „факты измѣны“ или вычеркните это слово.

Мнѣніе № 2. Въ нашемъ распоряженіи факты есть. Но мы не можемъ сейчасъ ими подѣлиться по слишкомъ вѣскимъ соображеніямъ.

Мнѣніе № 1. Въ такомъ случаѣ мы остаемся при своемъ убѣжденіи.

* * *

Мы разошлись завтракать при зловѣщемъ скрипѣ Блока.

Но за завтракомъ разговоръ продолжался.

Мнѣніе № 1. Если вы хотите повторить пріемы 1905 года, то мы на это не пойдемъ.

Мнѣніе № 2. Что вы называете пріемами 1905 года?

Мнѣніе № 1. А когда вы приписывали правительству устройство еврейскихъ погромовъ, хотя вы отлично знали, что погромы—стихійны и существуютъ столько же времени, сколько существуютъ евреи, и что никогда русское правительство еврейскихъ погромовъ не устраивало.

Мнѣніе № 2. Во первыхъ Плеве устроилъ Кишиневскій погромъ, а во вторыхъ въ чемъ вы видите аналогію?

Мнѣніе № 1. Въ томъ, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести ударъ правительству побольнѣй и обвинить его въ измѣнѣ, не имѣя на то доказательствъ.

Мнѣніе № 2. Доказательства есть.

Мнѣніе № 1. Такъ предъявите ихъ.

Мнѣніе № 2. Мы и предъявимъ ихъ въ нашихъ рѣчахъ съ кафедры Думы.

* * *

Въ концѣ концовъ побѣдило компромиссное рѣшеніе. Въ резолюцію все же было включено слово „измѣна“, но безъ приписыванія измѣны правительству со стороны Думы. Было сказано, что дѣйствія правительства, нецѣлесообразныя и нелѣпыя и какія то еще, привели, наконецъ, къ тому, что

„роковое слово измѣна ходитъ изъ устъ въ уста“...

Это правда... дѣйствительно ходитъ...

* * *

Позавчера, 1-го ноября Милюковъ сказалъ свою рѣчь, которая уже стала знаменитой... и сама по себѣ и въ особенности потому, что она запрещена цензурой.

Онъ прдъявилъ „факты измѣны“.

Факты были не очень убѣдительные. Чувствуется, что Штюрмеръ окруженъ какими-то подозрительными личностями, но не болѣе. Но развѣ дѣло въ этомъ? Дѣло въ томъ, что Штюрмеръ маленькій, ничтожный человѣкъ, а Россія ведетъ міровую войну. Дѣло въ томъ, что всѣ державы мобилизовали свои лучшія силы, а у насъ „святочный дѣдъ“ премьеромъ. Вотъ гдѣ ужасъ... И вотъ отчего страна въ бѣшенствѣ.

И кому охота, кому это нужно доводить людей до изступленія?! Что это нарочно, наконецъ, дѣлается!...

* * *

Есть такой генералъ Шуваевъ — военный министръ. Старикъ безусловно хорошій и честный... На мѣстѣ главнаго интенданта онъ былъ бы безусловно „на мѣстѣ“, но какъ военный министръ... словомъ, съ нимъ будто бы произошло вотъ что. Какъ то онъ узналъ, что и его тоже кто то считаетъ измѣнникомъ (хотя на самомъ дѣлѣ никто этого никогда не думалъ). Старикъ страшно обидѣлся и, какъ говорятъ, все ходилъ и повторялъ:

— Я, можетъ быть, — дуракъ, но я не измѣнникъ!...

Милюковъ взялъ эту фразу главной осью своей рѣчи. Приводя разные примѣры той или другой нелѣпости онъ каждый разъ спрашивалъ: „А это что же — измѣна или глупость?“. И каждый разъ этотъ злой вопросъ покрывался громомъ аплодисментовъ...

Рѣчь Милюкова была грубовата, но сильная. А главное, она совершенно соотвѣтствуетъ настроенію Россіи. Если бы какимъ нибудь чудомъ можно было-бы вмѣстить всю страну въ этотъ бѣлый залъ Таврическаго Дворца, и Милюковъ повторилъ бы передъ этимъ многомилліоннымъ моремъ свою рѣчь, — то рукоплесканья, которыми его привѣтствовали-бы, заглушили бы ураганный огонь „ста пятидесяти парковъ снарядовъ“, изготовленныхъ генераломъ Маниковскимъ по „приказу“ Особаго Совѣщанія.

Министерскія скамьи пустовали...

* * *

Онѣ были пусты и сегодня, когда мнѣ пришлось итти — „на голгофу“.

Зато вся Дума переполнена... Всѣ фрацкіи — въ необычайномъ сборѣ, хоры—въ густой бахромѣ людей.

Я посмотрѣлъ на пустыя скамьи министровъ:

— Господа Члены Государственной Думы. Вы были свидѣтелями, какъ въ теченіе многихъ часовъ съ этой кафедры раздавались тяжелыя обвиненія противъ Правительства, — такія тяжелыя, что можно было-бы ужаснуться, слушая ихъ... И все же ужасъ — не въ обвиненіяхъ... Обвиненія бывали и раньше... Ужасъ въ томъ, что эти скамьи пусты...

Ужасъ въ томъ, что это Правительство даже не пришло въ эту залу... гдѣ открыто, передъ лицомъ всей Россіи, его обвиняютъ въ измѣнѣ... Ужасъ въ томъ, что на такія обвиненія, — такой отвѣтъ...

Я показалъ на скамьи министровъ...

* * *

Развѣ это не правда? Латинская юридическая поговорка говоритъ: „кто молчитъ — еще не соглашается; но если кто молчитъ, когда онъ обязанъ говоритъ, — тогда онъ соглашается“...

Здѣсь именно этотъ случай. Правительство обязано говорить, разъ дѣло зашло такъ далеко. И даже не говорить, а о т в ѣ т и т ь. Отвѣтъ же въ данномъ случаѣ не можетъ быть словеснымъ. Есть обвиненія, на которыя отвѣчаютъ только дѣйствіемъ...

И дѣйствіе это должно быть: либо уходъ правительства, либо разгонъ Думы.

* * *

Но разъ Думы не разгоняютъ, и въ то же время обезчещенное правительсто съ пятномъ измѣны на щекѣ продолжаетъ оставаться у власти, то намъ остается только жечь его словами, пока оно не уйдетъ. Потому что, если мы замолчимъ, заговоритъ улица.

Такъ я и сказалъ...

— И мы будемъ бороться съ этимъ правительствомъ, пока оно не уйдетъ. Мы будемъ говорить все „здѣсь“ до конца, чтобы страна „тамъ“ молчала... Мы будемъ говорить для того, чтобы рабочіе у станковъ могли спокойно работать... Пусть льютъ фронту снаряды, не оборачиваясь назадъ,—зная, что Государственная Дума скажетъ за нихъ все, что на-

до. Мы будемъ говоритъ для того, чтобы армія въ окопахъ могла стоять на фронтѣ лицомъ къ врагу... Не озираясь на тылъ... Въ тылу — Государственная Дума... Она видитъ, слышитъ, знаетъ и, когда нужно, скажетъ свое слово...

* * *

Да, и вотъ... И вотъ мою рѣчь будутъ стучать безчисленныя барышни, какъ „запрещенную литературу"... Государственная Дума сдѣлала то, что отъ нея ждали... Она грозно накричала на правительство, требуя, чтобы оно ушло.

„Расписаны были кулисы пестро...
Я такъ декламировалъ страстно..."

* * *

Господи, неужели же никто не въ силахъ вразумить!... Вѣдь нельзя же такъ... Нельзя же раздражать людей, страну, народъ, льющій свою кровь безъ края, безъ счета. Неужели эта кровь не имѣетъ своихъ правъ? Неужели эти безгласныя жертвы не даютъ никакого голоса...

Не все ли равно — измѣнникъ ли Штюрмеръ или нѣтъ? Допустимъ, что онъ самый честный изъ честныхъ. Но, если, правильно или нѣтъ, страна помѣшалась на „людяхъ заслуживающихъ довѣрія", почему ихъ не попробовать?... Отчего ихъ не назначить? Допустимъ, что эти люди довѣрія плохи... Но вѣдь „Столыпина" нѣтъ же сейчасъ на горизонтѣ. Допустимъ Милюковъ — ничтожество... Но вѣдь не ничтожнѣе же онъ Штюрмера... Откуда такое упрямство? Какое разумное основаніе здѣсь, — какое?!...

* * *

Въ томъ то и дѣло, что совершается что то трансцедентально-ирраціональное...

* * *

А кромѣ того есть Нѣчто, передъ чѣмъ безсильно опускаются руки...

Кто хочетъ себя погубить, тотъ погубитъ...

Есть страшный червь, который точитъ, словно шашель, стволъ Россіи. Уже всю сердцевину изъѣлъ, быть можетъ уже и нѣтъ ствола, а только одна трехсотлѣтняя кора еще держится...

И тутъ лѣкарства нѣтъ...

Здѣсь нельзя бороться... это то, что убиваетъ...

Имя этому Смертельному: Распутинъ...

Предпослѣдніе дни „конституціи".

Годъ—1916. Мѣсяцы—ноябрь, декабрь.

Петроградъ жужжитъ все о томъ же. Чтобы понять о чемъ, надо прочесть ce qui suit *).

* * *

Мѣсто дѣйствія — „у камина". Пьютъ кофе — чистое „Мокко". Дѣствующія лица: „она" и „онъ". Она — немолодая дама, онъ — пожилой господинъ. Оба въ высшей степени порядочные люди въ ковычкахъ и безъ нихъ. Такъ какъ они порядочные люди и безъ ковычекъ, то образъ ихъ мысли возвышается надъ вульгарной Россіей; такъ какъ они порядочные люди и въ ковычкахъ, то они говорятъ только о томъ, о чемъ сейчасъ въ Петроградѣ говорить „принято".

Она. Я знаю это отъ... (тутъ слѣдуетъ длинная Аріаднина нить изъ кузинъ и belles-soeurs). И вотъ, что я вамъ скажу: Она очень умна... Она гораздо выше всего окружающаго... Всѣ, кто пробовалъ съ ней говорить, были поражены...

Онъ. Чѣмъ?

Она. Да вотъ Ея умомъ, умѣніемъ спорить... Она всѣхъ разбиваетъ... Ей ничего нельзя доказать... Въ особенности Она съ пренебреженіемъ относит-

---

*) Въ настоящей главѣ пришлось коснуться вопросовъ очень болѣзненныхъ. Но было высказано уже столько злобной клеветы, что слова огорченной правды врядъ-ли прибавятъ боли. Между тѣмъ объяснить и понять, какъ произошла революція, не обрисовавъ настроенія тѣхъ дней, — невозможно. Авторъ.

ся именно къ намъ... ну, словомъ, къ Петербургу... Какъ то съ Ней заговорили на эти темы... попробовали высказать взгляды... Я тамъ не знаю, о русскомъ народѣ, словомъ... Она иронически спросила: „Вы что же это во время бридж'а узнали? Вамъ сказалъ вашъ cousin? Или ваша belle-soeur?“ Она презираетъ мнѣнiе Петербургскихъ дамъ, считаетъ, что онѣ русскаго народа совершенно не знаютъ...

Онъ. А Императрица знаетъ?

Она. Да, Она считаетъ, что знаетъ...

Онъ. Черезъ Распутина?

Она. Да, черезъ Распутина... но и кромѣ того... Она вѣдь ведетъ обширнѣйшую переписку съ разными лицами. Получаетъ массу писемъ отъ, такъ сказать, самыхъ простыхъ людей... И по этимъ письмамъ судитъ о народѣ... Она увѣрена, что простой народъ Ее обожаетъ... А то, что иногда рѣшаются докладывать Государю, — это все ложь по Ея мнѣнiю... Вы знаете, конечно, про княгиню В.

Онъ. В. написала письмо Государынѣ? Очень откровенное?... И ей приказано выѣхать изъ Петрограда? Это вѣрно?

Она. Да, — ей и ему... Онъ? Вы его знаете, — это бывшiй министръ земледѣлiя. Но В. написала это не отъ себя... Она тамъ въ письмѣ говоритъ, что это мнѣнiе цѣлаго ряда русскихъ женщинъ... Словомъ, это, такъ сказать, протестъ...

Онъ. Въ письмѣ говорится про Распутина?

Она. Да, — конечно... Между прочимъ я хотѣла васъ спросить: что вы думаете... объ этомъ... словомъ о Распутинѣ?...

Онъ. Что я думаю?... Во-первыхъ я долженъ

сказать, что я не вѣрю въ то, что говорятъ, и что повторять непріятно.

Она. Не вѣрите? У васъ есть данныя?

Онъ. Данныя? Какъ вамъ сказать... Это вопервыхъ до такой степени чудовищно, что именно тѣ, кто въ это вѣрятъ, должны бы были имѣть данныя.

Она. Но репутація Распутина?

Онъ. Ну что-жъ репутація... Все это не мѣшаетъ ему быть мужикомъ умнымъ и хитрымъ... Онъ держитъ себя въ границахъ тамъ, гдѣ нужно... Кромѣ того, если бы это было... Вѣдь Императрицу такъ много людей ненавидитъ... Неужели бы не нашлось лицъ, которыя бы не раскрыли глаза Государю...

Она. Но если Государь знаетъ, но не хочетъ?...

Онъ. Если Государь „знаетъ — но не хочетъ“, — то революціи не миновать... Такого безволія монархамъ не прощаютъ... Но я не вѣрю — нѣтъ, я не вѣрю! Не знаю, быть можетъ это покажется вамъ слишкомъ самоувѣреннымъ — судить на основаніи такого непродолжительнаго впечатлѣнія, но у меня составилось личное мнѣніе о Ней самой, которое совершенно не вмѣщается — нѣтъ, не вмѣщается.

Она. Вы говорили съ ней?

Онъ. Да, одинъ разъ.

Она. Что Она вамъ сказала?

Онъ. Меня кто-то представилъ, объяснивъ, что я отъ такой-то губерніи. Она протянула мнѣ руку... Затѣмъ я увидѣлъ довольно безпомощныя глаза и улыбку — принужденную улыбку, отъ которой, если позволено мнѣ будетъ такъ выразиться,

Ея англійское лицо вдругъ стало нѣмецкимъ... Затѣмъ Она сказала какъ-бы съ нѣкоторымъ отчаяніемъ.

Она. По русски?

Онъ. По русски, но съ акцентомъ... Она спросила: „Какая она ваша губернія“?... Этотъ вопросъ засталъ меня врасплохъ, я меньше всего его ожидалъ...

Она. Что же вы отвѣтили?

Онъ. Что я отвѣтилъ? Банальность... Вѣдь трудно же такъ охарактеризовать губернію безъ подготовки... Я отвѣтилъ: „Ваше Величество, наша губернія отличается мягкостью. Мягкій климатъ, мягкая природа... Можетъ быть поэтому и населеніе отличается мягкимъ характеромъ... У насъ народъ сравнительно мирный“... Тутъ я замолчалъ... Но по выраженію Ея лица понялъ, что еще надо что-то сказать... Тогда я сдѣлалъ то, чего ни въ коемъ случаѣ нельзя было дѣлать... ибо вѣдь нельзя задавать вопросовъ... а само собой разумѣется нельзя задавать глупыхъ вопросовъ... а я именно такой и задалъ...

Она. Ну что Вы?!

Онъ. Да, потому что я спросилъ: „Ваше Величество не изволили быть въ нашей губерніи“?... Казалось бы я долженъ былъ знать, была-ли Государыня въ нашей губерніи или нѣтъ.

Она. Что жъ Она сказала?

Онъ. Отвѣтъ получился довольно неожиданный... У Нея какъ-бы вырвалось: „Да нѣтъ, я нигдѣ не была! Я десять лѣтъ тутъ въ Царскомъ, какъ въ тюрьмѣ“!

Она. Даже такъ! А вы?

Онъ. Послѣ этого мнѣ осталось только ска-

зать: „Мы всѣ надѣемся, что когда-нибудь Ваше Величество удостоитъ насъ Своимъ посѣщеніемъ“... Она отвѣтила: „Я пріѣду непремѣнно“...

Она. И пріѣхала?

Онъ. Не доѣхала... Она должна была пріѣхать изъ Кіева... но убили Столыпина, и это отпало... О чемъ мы говорили?...

Она. Вы говорили, что у васъ личное впечатлѣніе...

Онъ. Да... Вотъ личное впечатлѣніе, что Она и англичанка и нѣмка, вмѣстѣ взятыя... Она и Распутинъ — нѣтъ, это невозможно!... Что угодно, но не это...

Она. Но что же? Я тоже не вѣрю, — но что въ такомъ случаѣ? Мистицизмъ?

Онъ. Конечно... У сестры Ея, Елисаветы Феодоровны, то же самое мистическое настроеніе, которое не пріобрѣло такихъ ужасныхъ для Россіи формъ только потому, что у Елисаветы Феодоровны другой характеръ, менѣе властный и настойчивый...

Она. Какъ такъ? Почему?

Онъ. Потому что, если бы Императрица была бы мягкая и покорная...

Она. Какъ полагается быть женщинамъ, не правда-ли?...

Онъ. Во всякомъ случаѣ Государынѣ...

Она. Государынѣ меньше чѣмъ другимъ...

Онъ. Нѣтъ, въ сто тысячъ разъ больше!...

Она. Почему?

Онъ. Потому что изъ всѣхъ мужчинъ на свѣтѣ самый несчастный Государь. Ни у кого нѣтъ столько заботъ и такой отвѣтственности... Такихъ тяжелыхъ переживаній... Его душевный покой дол-

женъ оберегаться, какъ святыня... Потому что отъ Его спокойствія зависитъ судьба Россіи... Поэтому Государыня должна быть кротчайшая изъ кротчайшихъ — женщина безъ шиповъ...

Она. Къ сожалѣнію этого нельзя сказать про Александру Феодоровну... Она прежде всего большая насмѣшница...

Онъ. Да, говорятъ...

Она. Она очень хорошо рисуетъ карикатуры... И вы знаете, какая любимая тема?...

Онъ. Нѣтъ.

Она. Она рисуетъ Государя въ видѣ „baby“ на рукахъ у матери... Это обозначаетъ, что Государь — маленькій мальчикъ, которымъ руководитъ maman...

Онъ. Ахъ, это нехорошо...

Она. Ея любимое выраженіе: „Ахъ, если бы я была мужчиной“! По англійски это звучитъ нѣсколько иначе... Это Она говоритъ каждый разъ, когда не дѣлаютъ того или другого, что по Ея мнѣнію слѣдовало бы сдѣлать... Она упрекаетъ Царя за Его слабость...

Онъ. Да, я это знаю... Объ этомъ говорилось еще во времена Столыпина... Говорятъ въ это время въ ходу была фраза: „Etes Vous Souverain, enfin“. Изъ этой эпохи мнѣ вспомнился эпизодъ. Будто бы Ольга Борисовна Столыпина устраивала у себя обѣды такъ сказать „не по чину“... То-есть у нея обѣдали „въ лентахъ“, а военные не снимали шашекъ... Это будто-бы полагается только за царскимъ столомъ... Объ этомъ немедленно донесли Государынѣ, а Государыня сказала Государю, прибавивъ: „Ну что жъ, было двѣ Императрицы, теперь будетъ три“...

Она. Это зло...

Онъ. Да, къ сожалѣнію это зло... это хуже, чѣмъ зло... это остроумно...

Она. ?

Онъ. Да, потому что изъ остроумія королевъ всегда вытекаетъ какая-нибудь бѣда для королевства...

Она. Но королевамъ разрѣшается быть просто умными, надѣюсь?...

Онъ. Только тѣмъ женскимъ умомъ, который, впрочемъ, самый высшій, который угадываетъ во всякомъ положеніи, какъ облегчить суровый трудъ мужа... Облегчить,—это вовсе не значитъ—вмѣшиваться въ дѣла управленія. Наоборотъ изъ этого „вмѣшиванія" рождаются только новыя затрудненія. Облегчить, это значитъ устранить тѣ заботы, которыя устранить можно... И первый долгъ Царицы — это абсолютное повиновеніе Царю... Ибо, хотя Она и Царица, но все же только первая изъ подданныхъ Государя...

Она. Кажется вы по Домострою?...

Онъ. Весьма возможно... Но подумайте сами... Вотъ говорятъ наша Императрица большая „абсолютистка"... очень стоитъ за самодержавіе... Но кто же больше, чѣмъ Она, это самодержавіе подрываетъ? Кто оказываетъ Царю явное неповиновеніе передъ лицомъ всей страны? По крайней мѣрѣ такъ твердятъ всѣ... Кто не знаетъ этой фразы: „Лучше одинъ Распутинъ, чѣмъ десять истерикъ въ день!" Не знаю, была ли произнесена эта фраза въ дѣйствительности, но въ концѣ концовъ это безразлично, потому что ее произноситъ вся Россія...

Она. Ну и что же?... Выводъ!

Онъ. Выводъ: дѣло не въ мистицизмѣ, а въ характерѣ Императрицы. Мистицизмъ самъ по себѣ былъ бы не опасенъ. Если бы Императрица была „женщина безъ шиповъ“, Она пожертвовала бы Распутинымъ, хотя бы и считала его святымъ старцемъ. Поплакала бы и расталась бы сейчасъ же, въ тотъ же день, когда „подозрѣніе коснулось жены Цезаря“. А если бы не въ первый, такъ во второй день, когда бы увидѣла хотя тѣнь неудовольствія на лицѣ Государя, ибо Его душевный покой — самое важное, — въ немъ судьба Россіи... Вмѣсто этого — „десять истерикъ въ день“. Явное неповиновеніе, открытый бунтъ противъ Самодержца... и страшный соблазнъ для всѣхъ... „Какой же онъ Самодержецъ?“.., И невольно въ самыя преданныя... самыя вѣрноподданныя сердца, у которыхъ почитаніе престола шестое чувство, невольно и неизбѣжно... проникаетъ отрава... Вытравляется монархическое чувство, остается только монархизмъ по убѣжденію... холодный, разсудочный... Но это хорошо для натуръ совершенно исключительныхъ... Всѣ остальные люди живутъ гораздо больше сердцемъ, чѣмъ умомъ...

Она. Да, еще бы...

Онъ. Это ужасно... это просто ужасно...

Она. Но если Она дѣйствительно подчинилась вліянію Распутина. Вѣдь утверждаютъ же, что онъ сильнѣйшій гипнотизеръ. Если Она вѣритъ въ то, что онъ спасаетъ и Наслѣдника, и Государя, и Россію, наконецъ,..

Онъ. Въ старину было хорошее для этихъ случаевъ слово. Сказали бы, что Гришка „околдовалъ“ Царицу. А колдовство изгоняется молитвой. А молиться лучше всего въ монастырѣ...

Она. Монастырь? Да, такіе проекты есть... Но если... самъ Государь... имъ околдованъ...

Онъ: Если такъ, то нечего дѣлать: мы погибли... Но я не вѣрю въ это... У меня нѣтъ этого ощущенія... Нѣтъ, Государь не околдованъ. Всѣ эти разсказы про „тибетскія настойки" — вздоръ!... Онъ, если околдованъ, то изъ себя самого, извнутри...

Она. Какъ?

Онъ. Онъ не можетъ не знать, что дѣлается... Ему все сказано... Его глаза раскрыты... Но Онъ околдованъ какимъ то внутреннимъ безсиліемъ. Вѣдь подумайте, что Ему стоило-бы только одинъ разъ разсердиться... и отъ этого Распутина ничего бы не осталось!.. Государыня бы билась въ истерикѣ?... Хуже будетъ, когда въ истерикѣ забьется Россія... И тогда будетъ поздно... А теперь... Ахъ, если бы Онъ разсердился!.. Если бы Онъ одинъ разъ ударилъ кулакомъ по столу... Чтобы задрожало все кругомъ, и главное, чтобы задрожала Царица!..

Она. Нѣтъ,—вы положительно неравнодушны къ Домострою.

Онъ. Положительно. И я убѣжденъ, что сама Царица этого жаждетъ въ глубинѣ души.

Она. Почему вы такъ думаете?

Онъ. Потому, что всѣ женщины жаждутъ самодержца... Я знаю, вы скажете, что это „пошлость"... Но заповѣди „не убій" и „не укради" — тоже „пошлость"... Однако пошлости этого рода обладаютъ такимъ свойствомъ, что, стоитъ только отъ нихъ уклониться и начать „оригинальничать", какъ міръ летитъ вверхъ тормашками. И Россія

скоро полетитъ!.. Потому что подумайте только объ этомъ ужасѣ! Какая страшная драма происходитъ на этой почвѣ... Вѣдь ради слабости „одного мужа по отношенію къ одной женѣ“, ежедневно, ежечасно Государь оскорбляетъ свой народъ, а народъ оскорбляетъ своего Государя...

Она. Какъ?

Онъ. Да такъ... Развѣ это не оскорбленіе всѣхъ насъ, не величайшее пренебреженіе ко всей, націи, и въ особенности къ намъ, монархистамъ, — это „пріятіе Распутина? Я вѣрю совершенно, какъ это сказать... ну, словомъ, что Императрица совершенно чиста... Но вѣдь тѣмъ не менѣе Распутинъ грязный развратникъ!.. И какъ же его пускать во дворецъ, когда это безпокоитъ, волнуетъ всю страну, когда это даетъ возможность забрасывать грязью династію ея врагамъ, а намъ, ея защитникамъ, не даетъ возможности отбивать эти нападенія... Неужели нельзя принять во вниманіе, такъ сказать „уважить“ лучшія чувства своихъ вѣрноподданныхъ. Неужели необходимо топтать ихъ въ грязь, неужели нужно заставлять насъ краснѣть за своего Государя... И передъ врагами внутренними... и передъ врагами внѣшними... а главное...—передъ солдатами! Это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россія, это, когда отъ психологіи этихъ солдатъ зависитъ все... И подумайте какое безсиліе наше въ этомъ вопросѣ! Вѣдь заговорить объ этомъ нельзя... Вѣдь офицеръ не можетъ позвать свою роту и начать такъ: „Вотъ говорятъ то — другое про Распутина, — такъ это вздоръ“... Не можетъ, потому что уже заговорить объ этомъ — величайшее оскорбленіе. Ну, сло-

вомъ, это невозможно... И тѣмъ болѣе невозможно, что можетъ оказаться такой наивный, или представляющійся наивнымъ солдатъ, который скажетъ: „разрѣшите спросить, ваше благородіе, а что говорятъ про Распутина? Такъ что это намъ неизвѣстно". Офицеру прійдется разсказывать, — что ли?!.. Ужасъ, ужасъ,—безвыходное положеніе. А сколько офицеровъ сами вѣрятъ въ это...

Она. Да что офицеры!... Весь Петербургъ въ это вѣритъ... Люди, которые объясняютъ это вотъ такъ, какъ мы съ вами, ихъ очень немного... Большинство принимаетъ самое простое, самое грязное объясненіе...

Онъ. Да, я знаю... И вотъ это и есть другая сторона драмы... Это ежедневное, ежеминутное оскорбленіе Государя Его народомъ... Ибо эти чудовищные разсказы,—то, что народъ повѣрилъ въ эти гадости,—это тяжкое и длящееся оскорбленіе всѣми нами Государя... Оскорбленіе тоже безвыходное, безысходное... Онъ не можетъ объяснить, что ничего подобнаго нѣтъ, потому что Онъ не можетъ объ этомъ заговорить... Онъ не можетъ вызвать на дуэль, потому что Цари не дерутся на дуэли... Да и кого бы Онъ вызвалъ?.. Всю страну?.. Удивительно, конечно, что никто никогда не заступился за честь Государыни... Но это происходитъ вѣроятно потому, что всякій сознаетъ, что она сама создаетъ обстановку, рождающую эти слухи... И вотъ этотъ страшный узелъ... Государь оскорбляетъ страну тѣмъ, что пускаетъ во Дворецъ, куда доступъ такъ труденъ и самымъ лучшимъ, — уличеннаго развратника. А страна оскорбляетъ Государя ужасными подозрѣніями... И рушат-

ся столѣтнія связи, которыми держалась Россія... И все изъ за чего?... Изъ за слабости одного мужа къ одной женѣ... Ахъ, Боже мой!...

Она. Что!... Ну что!!...

Онъ. Вотъ что... Какъ ужасно самодержавіе безъ Самодержца...

* * *

Вотъ о чемъ денно и нощно жужжитъ Петроградъ. Однако, несмотря на эту безпрерывную болтовню, въ сущности мы очень мало знаемъ достовѣрнаго объ этомъ человѣкѣ, который несетъ намъ смерть.

Нѣмцы въ нашемъ положеніи основали бы безчисленное число обществъ, Verein'овъ, посвященныхъ изученію Распутина. У насъ нѣтъ не только ученыхъ обществъ, занимающихся „распутиновѣдѣніемъ", у насъ попросту ничего хорошенько о немъ не знаютъ...

* * *

Къ тому же считается въ высшей степени неприличнымъ имѣть съ нимъ какія бы то ни было сношенія. Поэтому, напримѣръ я, въ глаза его никогда не видѣлъ. Личнаго впечатлѣнія не имѣю.

Между тѣмъ было бы полезно его имѣть. Потому что въ этомъ человѣкѣ несомнѣнно есть двѣ стороны.

Вотъ, впрочемъ, то немногое, что я о немъ знаю.

* * *

Вотъ разсказъ нѣкого Р., кіевлянина, котораго Кіевъ хорошо знаетъ. Такъ какъ онъ былъ руково-

дителемъ одной демократически-монархической организаціи, то о немъ говорятъ всякія гадости, но по моему онъ старикъ честный, неглупый, хотя и не очень интеллигентный. Вотъ что онъ разсказывалъ:

— Передъ тѣмъ, какъ Государь Императоръ и Государыня Императрица, и Петръ Аркадьевичъ Столыпинъ, должны были пріѣхать въ Кіевъ, за нѣсколько дней получаю я телеграмму: „Григорій Ефимовичъ у васъ будетъ жить на квартирѣ"... Я съ Распутинымъ до этого времени не былъ знакомъ. И не очень былъ радъ, скажу вамъ по правдѣ. Во первыхъ и такъ много лишняго безпокойства, а у меня заботъ, вы сами знаете, было много... Потому что я, какъ предсѣдатель, при проѣздѣ Государя, долженъ былъ со своими молодцами распоряжаться, чтобы все было, какъ надо... А тутъ еще Распутинъ... А кромѣ того, сами вы изволите знать, что про него разсказываютъ, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, дѣлать нечего: нельзя не принять... Пріѣхалъ... Ничего... хорошо себя держитъ, прилично. Простой человѣкъ, всѣхъ на „ты" называетъ... Я его принялъ, какъ могъ, онъ мнѣ сейчасъ говоритъ: „Ты, милый человѣкъ, мнѣ сейчасъ хлопочи самое какъ есть первое мѣсто, чтобы при проѣздѣ Государя быть"... Я сейчасъ побѣжалъ къ господину Курлову... Такъ да такъ, вотъ Распутинъ изволитъ требовать... Дали мнѣ билетъ для него, только сказали, чтобы я смотрѣлъ, — чего-бъ не было...

Ну, вотъ... поставили насъ, меня съ моими молодцами на Александровской, около музея въ первомъ ряду... Среди нихъ я Григорія Ефимовича

поставилъ. И молодцамъ моимъ сказалъ, чтобы смотрѣть за нимъ, какъ есть... А я хорошо зналъ, что ужъ кого-кого, — а насъ Государь замѣтитъ. Потому мои молодцы такъ ужъ были выучены, какъ крикнутъ „ура“, такъ уже невозможно не оглянуться... Отъ сердца кричали — и всѣ разомъ... Такъ оно и было. Вотъ ѣдетъ коляска и какъ мои молодцы гаркнули, Государь и Государыня оба обернулись... И тутъ Государыня Григорія Ефимовича узнала: поклонилась... А онъ, Григорій Ефимовичъ, какъ только царскій экипажъ сталъ подъѣзжать, такъ сталъ въ воздухѣ руками водить...

— Благословлять?...

— Да, въ родѣ какъ благословлять... Стоитъ во весь ростъ, въ первомъ ряду, руками водитъ... Но ничего, проѣхали... Въ тотъ же день, явился ко мнѣ на квартиру какой-то офицеръ отъ Государыни къ Григорію Ефимовичу: просятъ молъ Ихъ Величество, Григорія Ефимовича пожаловать. А онъ спрашиваетъ: „А дежурный кто?“. Тотъ сказалъ. Тогда Григорій Ефимовичъ разсердился: „Скажи Матушкѣ - Царицѣ — не пойду сегодня... Этотъ дежурный—собака. А завтра прійду—скажи“... Ну вотъ, ничего больше вамъ разсказать не могу... Жилъ у меня прилично... потомъ какъ все кончилось, очень поблагодарилъ и поѣхалъ себѣ... Простой человѣкъ и ничего въ немъ замѣчательнаго не нахожу...

* * *

А вотъ разсказъ о томъ же событіи, но совсѣмъ въ другихъ тонахъ.

Осенью 1913 года ко мнѣ въ Кіевѣ пришелъ

одинъ человѣкъ, котораго я совершенно не зналъ. Онъ назвалъ себя почтово-телеграфнымъ чиновникомъ. Бывало у меня въ то время очень много народа. Я пригласилъ его сѣсть и уставилъ на него довольно утомленный взглядъ. Онъ былъ чиновникъ, какъ чиновникъ, только въ глазахъ у него было что-то непріятное. Онъ началъ такъ:

— Все это я читаю, читаю газеты, и часто о васъ думаю... Тяжело вамъ должно быть?

Мнѣ дѣйствительно было несладко въ это время, но все же я не понялъ, о чемъ онъ собственно говоритъ, и ждалъ, что будетъ дальше.

— Вотъ ваши друзья на васъ пошли... Господинъ Меншиковъ въ „Новомъ Времени" очень нападаетъ... Да и другіе... Это самое трудное, когда друзья... И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете... Черезъ это они всѣ нападаютъ на васъ... А если бы могли бы „доказать", то ничего этого бы не было, всѣхъ этихъ непріятностей...

Я теперь догадался, въ чемъ дѣло. Онъ говорилъ о той травлѣ, которая поднялась противъ меня въ правой печати по поводу того, что „Кіевлянинъ" не одобрилъ затѣи Замысловскаго и Чаплинскаго заставить русскій судебный аппаратъ служить политической игрѣ въ еврейскомъ вопросѣ. Словомъ о той компаніи, которую мои единомышленники по многимъ другимъ вопросамъ повели противъ меня по поводу знаменитаго дѣла Бейлиса. Онъ продолжалъ:

— Надо вамъ „доказать" правду... Я тоже знаю, что не Бейлисъ убилъ... Но кто?... Надо вамъ узнать, кто же убилъ Андрюшу Ющинскаго...

Онъ смотрѣлъ на меня, и я чувствовалъ, что

его взглядъ тяжелъ и настойчивъ. Но онъ былъ правъ. Я отвѣтилъ:

— Разумѣется, для меня, и да развѣ только для меня, было бы важно узнать, кто убилъ Ющинскаго... Но какъ это сдѣлать?

Онъ отвѣтилъ не сразу. Онъ смотрѣлъ на меня, точно стараясь проникнуть мнѣ въ мозгъ. Я подумалъ:

„Экій непріятный взглядъ"...

А онъ сказалъ.

— Есть... такой человѣкъ...

— Какой человѣкъ?...

— Такой человѣкъ, что все знаетъ... И это знаетъ...

Я подумалъ, что онъ назоветъ мнѣ какую-нибудь гадалку-хиромантку. Но онъ сказалъ.

— Григорій Ефимовичъ...

Сказалъ таинственно, понизивъ голосъ, я его сразу не понялъ. Потомъ вдругъ понялъ и у меня вырвалось:

— Распутинъ?!..

Онъ сдѣлалъ лицо снисходительнаго сожалѣнія.

— И вотъ и вы, какъ и всѣ... Испугались!... Распутинъ!... А вѣдь онъ все знаетъ. Я знаю— вы не вѣрите... А вотъ вы послушайте... Вотъ я разъ съ нимъ шелъ тутъ въ Кіевѣ, когда онъ былъ, по улицѣ, на Печерскѣ... Идетъ баба пьяная-распьяная... А онъ ей пять рублей далъ. Я ему:

— Григорій Ефимовичъ! За что?

А онъ мнѣ:

— Она бѣдная, бѣдная... Она не знаетъ... не знаетъ... У нея сейчасъ ребенокъ умеръ... Прійдетъ

домой — узнаетъ... Она — бѣдная... бѣдная, — говорю...

— Что-жъ, дѣйствительно умеръ ребенокъ?...

— Умеръ... Я провѣрялъ... Нарочно провѣрилъ, спросилъ ея адресъ... А вотъ, когда Государь Императоръ былъ въ Кіевѣ, по Александровской улицѣ ѣхали... Я тогда вмѣстѣ съ нимъ стоялъ...

— Гдѣ?

— На тротуарѣ... Въ первомъ ряду... Все мнѣ было видно, очень хорошо... Вотъ, значитъ, коляска Государя ѣхала... Государыня Григорія Ефимовича узнала, кивнула ему... А онъ Ее перекрестилъ... А второй экипажъ — Петръ Аркадьевичъ Столыпинъ ѣхали... Такъ онъ, Григорій Ефимовичъ, вдругъ затрясся весь... „Смерть за нимъ!... Смерть за нимъ ѣдетъ... За Петромъ... за нимъ"... Вы мнѣ не вѣрите?..

Его взглялъ былъ тяжелъ... Онъ давилъ мнѣ на вѣки. Я не могу сказать, чтобы мнѣ казалось, что онъ лжетъ. Я сказалъ:

— Я не имѣю права вамъ не вѣрить:.. я васъ не знаю...

— Вѣрьте мнѣ, вѣрьте!... А всю ночь, я вмѣстѣ съ нимъ ночевалъ, это значитъ передъ театромъ... Онъ въ сосѣдней комнатѣ черезъ тоненькую стѣночку спалъ... Такъ всю ночь заснуть мнѣ не далъ... кряхтѣлъ, ворочался, стоналъ... „Охъ бѣда будетъ, охъ бѣда!" Я его спрашиваю: „Что такое съ вами, Григорій Ефимовичъ?" А онъ все свое: „Охъ бѣда — смерть идетъ!" И такъ до самаго свѣта... А на слѣдующій день, — сами знаете... въ театрѣ... Убили Петра Аркадьевича!... Онъ все знаетъ, все...

Его взглядъ сталъ такъ тяжело давить мнѣ на вѣки, что мнѣ захотѣлось спать... Онъ продолжалъ...

— Къ нему вамъ надо!... къ Григорію Ефимочу... Онъ все знаетъ. Онъ вамъ скажетъ... Кто убилъ Ющинскаго, — скажетъ... Повѣрьте мнѣ... вамъ же польза будетъ... Пойдите къ Григорію Ефимовичу, — поѣзжайте къ нему...

Нѣтъ, — что это со мной такое!... Взглядъ его глазъ „точно свинцомъ" давитъ мнѣ на вѣки... Хочется спать. И вдругъ мысль какъ то ослѣпительно сверкнула во мнѣ: ужъ не гипнотизируетъ ли онъ меня?...

Я сдѣлалъ усиліе, встрепенулся и сбросилъ съ себя что то. Въ то же мгновенье онъ схватилъ меня за руку...

— Ну и нервный же вы человѣкъ, Василій Витальевичъ!....

Я всталъ.

— Да, я нервный человѣкъ... И потому мнѣ лучше не видаться съ Григоріемъ Ефимовичемъ, который такой же нервный, должно быть, какъ и я и какъ вы... До свиданія...

Онъ ушелъ и больше ко мнѣ не являлся. Но у меня надолго осталось какое то странное чувство: точно ко мнѣ прикоснулся фрагментъ чего то таинственнаго, что я бы могъ узнать больше, если бы захотѣлъ...

Но можно ли свести разсказъ этого человѣка съ разсказомъ Р.? Можно: этотъ чиновникъ могъ быть однимъ изъ „молодцевъ" Р., могъ жить у него на квартирѣ эти дни, — могъ стоять за Распутинымъ во время проѣзда Государя...

* * *

Вотъ еще одинъ разсказъ. Разсказъ нѣкого Г., петербуржца, не имѣвшаго, повидимому, никакихъ причинъ пропагандировать Распутина. Онъ разсказалъ мнѣ нижеслѣдующее.

— Мы потеряли двухъ дѣтей почти одновременно. Старшей дѣвочкѣ было шестнадцать, младшей четырнадцать. Моя жена была въ ужасномъ состоянiи. Ея отчаянiе граничило съ сумашествiемъ. Ей ничѣмъ нельзя было помочь. Она совершенно не спала. Доктора ничего не могли сдѣлать. Я страшно за нее боялся. Кто то мнѣ посовѣтовалъ позвать Распутина. Я позвалъ. И можете себѣ представить: онъ поговорилъ съ ней полчаса, и она совершенно успокоилась. Просвѣтлѣла и вернулась къ жизни. Пусть говорятъ все, что угодно, — все это можетъ быть правда, но и это правда, то, что я вамъ разсказываю: онъ спасъ мою жену.

Такихъ разсказовъ я слышалъ нѣсколько. Къ сожалѣнiю, имена мною забыты, почему я ихъ и не привожу, за исключенiемъ разсказа Г., который помню точно.

* * *

Вотъ еще разсказъ, въ которомъ замѣтно нѣчто мистическое.

У баронессы на Кирочной, гдѣ вообще полагалось бывать всему „замѣчательному“, сидѣлъ Гришка. Это было за чайнымъ столомъ. Сидѣлъ и разговоры разговаривалъ. Вдругъ чего то заволновался...

— Не могу, мать моя, не могу...

— Что съ вами, Григорiй Ефимовичъ?...

Онъ заерзалъ, привсталъ, хотѣлъ уйти.

— Куда вы?

— Уйти надо намъ... Врагъ идетъ... сюда идетъ... Сейчасъ здѣсь будетъ...

Позвонили. И въ комнату вошла Машенька Х.

Она сама мнѣ это разсказывала со словъ баронессы и прибавила:

— Я Гришку дѣйствительно ненавижу...

* * *

— Скажите, что правда во всемъ этомъ... о Распутинѣ? Что, онъ дѣйствительно имѣетъ вліяніе?... Неужели это вѣрно, онъ пишетъ „каракули" и эти „каракули" имѣютъ силу наравнѣ... съ Высочайшимъ рескриптомъ?

У В. изящно-грубоватая рѣчь, мало подходящая къ посту товарища министра Внутреннихъ Дѣлъ.

— Правда вотъ въ чемъ... Распутинъ прохвостъ, и „каракули" пишетъ прохвостамъ... Есть всякая сволочь, которая его „каракули" принимаетъ въ серіозъ... Онъ тѣмъ и пишетъ... Онъ прекрасно знаетъ, кому можно написать. Отчего онъ мнѣ не пишетъ? Оттого, что онъ отлично знаетъ, что я его послѣдними словами изругаю. И съ лѣстницы онъ у меня заиграетъ, если прійдетъ. Нѣтъ Распутина, а есть распутство. Дрянь — мы, вотъ и все. А на порядочныхъ людей никакого вліянія не имѣетъ. Все же, что говорятъ, будто онъ вліяетъ на назначенія министровъ, — вздоръ: дѣло совѣмъ не въ этомъ... Дѣло въ томъ, что наслѣдникъ смертельно боленъ... Вѣчная боязнь и заставляетъ Императрицу бросаться къ этому человѣку. Она вѣритъ, что Наслѣдникъ только имъ живетъ... А во-

кругъ этого и разыгрывается весь этотъ кабакъ... Я вамъ говорю, Шульгинъ, сволочь — мы!.. И лѣвые и правые. Лѣвые потому, что они пользуются Распутинымъ, чтобы клеветать, правые, то есть прохвосты изъ правыхъ потому, что они, надѣясь, что онъ что то можетъ сдѣлать, принимаютъ его „каракули“... А въ общемъ плохо!.. Нельзя такъ!.. Хоть Наслѣдникъ и боленъ, а всетаки этого господина нельзя во дворецъ пускать. Но это безнадежно!.. Говорили сто разъ... Ничего не помогаетъ...

* * *

Вотъ разсказъ въ другомъ стилѣ.

— Я вчера познакомился съ Распутинымъ... сказалъ мнѣ одинъ мой молодой другъ, журналистъ.

— Какъ это было?

— Да вотъ какъ... Онъ на меня посмотрѣлъ, разсмѣялся и хлопнулъ по плечу. И сказалъ: „Жуликъ ты, братъ!..“

Надо сказать, что мой молодой другъ, конечно, не жуликъ. Но ловкій парень изъ донскихъ казаковъ съ университетскимъ образованіемъ.

— А вы что?

— А я ему говорю: „Всѣ мы жулики! И вы, Григорій Ефимовичъ — жуликъ“... А онъ разсмѣялся и говоритъ: „Ну, пойдемъ водку пить“!

— И пили?

— Пили... Онъ не дуракъ выпить...

— Что же это за человѣкъ?

— Да знаете, просто хитрый, умный мужикъ, и больше ничего... Пилъ, смѣялся...

— Кто жъ тамъ былъ?

— Да масса народа... Говорили рѣчи. Всѣ, конечно, въ честь его. Онъ ничего, слушалъ... Только разъ, когда мой патронъ, вы его знаете, началъ говорить, что вотъ земля русская была темна и безпросвѣтна, а наконецъ взошло солнце, — Григорій Ефимовичъ, — онъ его вдругъ остановилъ: „Ври, братъ, — ври, — да не слишкомъ"...

* * *

Членъ Государственной Думы К., очевидно, не страдаетъ, тѣми предразсудками, которыми опутаны мы всѣ. Вчера онъ пьянствовалъ съ Гришкой.

То, что онъ разсказываетъ, — опредѣленно: водка и бабы...

Кто жъ эти „бабы"?..

Увы, — это не демимонденки.

Распутинъ есть функція распутности нѣкоторыхъ дамъ, ищущихъ... „ощущеній". Ощущеній, утраченныхъ вмѣстѣ съ вырожденіемъ.

* * *

Вырождающіяся женщины часто страдаютъ отъ того, что онѣ ничего не чувствуютъ. Нерѣдко онѣ объясняютъ это тѣмъ, что мужъ — „обыкновенный, сѣрый человѣкъ". Иногда это дѣйствительно такъ. У нѣкоторыхъ женщинъ чувственность просыпается только тогда, когда къ ней прикоснется „герой". Герой нашего времени — разумѣется. Ибо для каждой эпохи — свои герои. Это вѣроятно тѣ, кто даютъ для данной эпохи наиболѣе нужное потомство. Въ этихъ случаяхъ инстинктъ женщины иногда на правильномъ пути. Она безсознательно стремится спасти вырождающуюся расу.

Героя не всегда бываетъ легко найти. Любов-

ники, которые на первыхъ порахъ берутся изъ своего круга, нерѣдко оказываются такими же сѣрыми людьми, какъ и собственный мужъ... Тогда начинаютъ искать въ другихъ слояхъ... выше или ниже себя... Тѣ, что пониже, могутъ искать выше и ожидать своего „принца“. Но тѣ, кто окружены принцами, должны искать ниже, потому что люди своего круга уже испытаны,—они оказались слишкомъ сѣрыми, вѣрнѣе слишкомъ блестящими, т. е. вылощеньнми.

Во всякомъ случаѣ въ поискахъ „за истиннымъ счастьемъ“, о которомъ женщины слышатъ отъ своихъ болѣе удачливыхъ подругъ, — „мятежныя души“ мятутся въ стилѣ Вербицкой. Каждый новый „интересный“ даетъ надежду, что это быть можетъ „онъ“... Его берутъ, но увы, — опять ошибка... Ключи счастья не найдены... Мятежныя души мятутся дальше и становятся все смѣлѣе. Онѣ начинаютъ презирать условности, классовую рознь, наслѣдственные предразсудки, и даже требованія эстетики и чистоплотности...

И доходятъ до Распутина.

Разумѣется, къ этому времени онѣ уже глубоко развращены, пройдя длинный путь великосвѣтской проституціи...

* * *

— Была мама — очень красивая... Наташа — прелесть хорошенькая, я... конечно, не хорошенькая...

— Прикажете противорѣчить?...

— Не надо... Словомъ, насъ было трое и Гришка...

— Гдѣ же это было?

— Это было у отца Протоіерея... Онъ очень хорошо служилъ, вродѣ какъ отецъ Кронштадскій... Нервно такъ, искренно... И вообще онъ былъ очень хорошій человѣкъ... Ему часто говорили: „Отчего вы не позовете къ себѣ Григорія Ефимовича?" А онъ все не хотѣлъ и говорилъ, что имъ не о чемъ разговаривать... Наконецъ позвалъ... И вотъ мы тогда тоже были!..

— И вы его видѣли?..

— Ну да, какъ же... За однимъ столомъ сидѣла...

— Какой же онъ?

— Онъ такой широкоплечій, рыжій, волосы жирные... лицо тоже широкое... Но глаза!.. они маленькіе, маленькіе но какіе!..

— Непріятные?

— Ужасно непріятные... Неизвѣстно какіе, не то коричневые, не то зеленые, но когда посмотришь, — такъ непріятно, что даже сказать нельзя! И Наташа то же самое говорила... Она его еще разъ видѣла въ Александро-Невской Лаврѣ, онъ на нее какъ посмотрѣлъ, такъ она во второй разъ побѣжала прикладываться... чтобы „очиститься!"... А одѣтъ онъ шикарно, шелковая рубашка и все такое... На немъ вродѣ какъ поддевка и все особенное...

— Что же онъ себя прилично держалъ?

— Вполнѣ прилично! Онъ все разговаривалъ съ батюшкой, все какіе-то духовные разговоры... Но я вамъ вотъ что разскажу... Есть такая М-анна...

— Русская?

— Ну да, русская...

— Почему же она М-анна?..

— Потому что она просто Марія... это она сама себя такъ назвала .. Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П?..

— Знаю...

— Ну такъ вотъ... Эта М-анна носила красную юбку, — вотъ до сихъ поръ, задирала ноги выше головы, короткіе волоса — цвѣта перекись, лицо не безъ косметики, и вообще была совершенно, совершенно неприличная женщина... Была она, какъ это говорится, „развратная до мозга костей“, и въ лицѣ это у нея даже было... И подумайте, она бывала при Дворѣ и все такое... Сходилась, расходилась, то съ тѣмъ, то съ другимъ; въ концѣ концовъ добралась до Распутина... И другая есть — Г., — она дочь сенатора... Эта немножко лучше, но тоже очень низко опускалась... Всетаки съ ней можно было разговаривать... И вотъ она мнѣ разсказывала про Распутина, что онъ совершенно особенный человѣкъ, что онъ даетъ ей такія ощущенія...

— Что же, она... была съ нимъ... какъ это сказать... въ распутинскихъ отношеніяхъ?..

— Ну да, конечно!.. И вотъ она говорила, что всѣ наши мужчины ничего не стоютъ...

— А она что-же всѣхъ „нашихъ мужчинъ“... испытала?

— О, почти что!... И она говорила, что Распутинъ это нѣчто такое несравнимое... Я ее тогда спросила: „Значитъ вы его очень любите, Григорія Ефимовича? Какъ же вы его тогда не ревнуете? Онъ вѣдь и съ М-анной, и съ другими, и со всѣми?“. . Конечно, я была дура... Она ужасно много смѣя-

лась надо мной, говорила мнѣ, что я совсѣмъ глупенькая и „восторженная“... И говорила, что много такихъ есть, которыя совершенно погрузились въ мистицизмъ и ничего не понимаютъ и не подозрѣваютъ даже, что такое на самомъ дѣлѣ Распутинъ..

* * *

Итакъ — вотъ...

Хороводъ „мятежныхъ душъ“, неудовлетворенныхъ жизнью, любовью. Въ поискахъ за „ключами счастья“ однѣ изъ нихъ ударяются въ мистицизмъ, другія въ развратъ... Нѣкоторыя и въ то и другое... Увы, онѣ танцуютъ на вершинахъ націи... свой ужасный „danse macabre“... Этотъ своеобразный „журавель“ начала вѣка—„grand rond или лучше сказать cercle vicieux, вьется круговымъ рейсомъ черезъ столицу: отъ дворцовъ къ соборамъ, отъ соборовъ къ притонамъ и обратно. Этотъ столичный хороводъ естественно притягиваетъ къ себѣ изъ глубины Россіи, — съ низовъ, родственныя души... Тамъ, на низахъ, издревле, съ незапамятныхъ временъ, ведутся эти дьявольскія игрища, гдѣ мистика переплетается съ похотью, лживая вѣра съ истиннымъ развратомъ... Что же удивительнаго, что Санктъ-Петербургская гирлянда — мистически-распутная, притянула къ себѣ Гришку Распутина, типичнаго русскаго „хлыста“!.. Вотъ на какой почвѣ произошло давно жданное сліяніе интеллигенціи съ народомъ!.. Гришка включился въ цѣпь и, держа въ одной рукѣ истеричку-мистичку, а въ другой — истеричку-нимфоманку, украсилъ балетъ Петрограда своей двуликой фасой — кудесника и сатира...

Ужасъ въ томъ, что хороводъ этотъ пляшетъ

слишкомъ близко къ престолу... можно сказать у подножія трона... Благодаря этому Гришка получилъ возможность оказать свое странное вліяніе на нѣкоторыхъ Великихъ Княгинь... Эти послѣднія ввели его къ Императрицѣ...

Хлыстъ не обязанъ быть идіотомъ... Хлыстъ можетъ быть и хитрымъ мужикомъ... Гришка прекрасно зналъ, гдѣ какимъ фасомъ своего духовнаго обличья поворачиваться...

Во дворцѣ его принимали, какъ святого старца, чудодѣйственнаго человѣка, предсказателя...

„Скажи мнѣ, кудесникъ, любимецъ Боговъ"...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала надъ жизнью единственнаго сына.

Кудесникъ очень хорошо все понялъ и отвѣтилъ:

— Отрокъ Алексѣй живъ моей грѣшной молитвой... Я, смиренный Гришка, посланъ Богомъ охранять Его и всю Царскую Семью: доколѣ я съ Вами, не будетъ Вамъ ничего худого...

„Грядущіе годы таятся во мглѣ —
Но вижу твой жребій на свѣтломъ челѣ"...

И никто не понялъ, когда этотъ человѣкъ переступилъ порогъ Царскаго дворца, что это пришелъ тотъ, кто убиваетъ...

Онъ убиваетъ потому, что онъ двуликій...

Царской Семьѣ онъ обернулъ свое лицо старца", глядя въ которое Царицѣ кажется, что Духъ Божій почиваетъ на святомъ человѣкѣ... А Россіи онъ повернулъ свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лѣшаго-сатира изъ Тобольской тайги... И изъ этого — все..

Ропотъ идетъ по всей странѣ, негодующій на то, что Распутинъ въ покояхъ Царицы...

А въ покояхъ Царя и Царицы — недоумѣніе и горькая обида... Чего эти люди бѣснуются?.. Что этотъ святой человѣкъ молится о несчастномъ Наслѣдникѣ?.. О тяжело-больномъ ребенкѣ, которому каждое неосторожное движеніе грозитъ смертью— это ихъ возмущаетъ?! За что! .. Почему?!...

Такъ этотъ посланецъ смерти сталъ между трономъ и Россіей... Онъ убиваетъ, потому что онъ двуликій... Изъ-за двуличья его обѣ стороны не могутъ понять другъ друга... Царь и Россія съ каждымъ часомъ наростающей обиды въ сердцѣ ведутъ другъ друга за руку въ пропасть...

* * *

Это было во дворцѣ Великаго Князя Николая Михаиловича на набережной... Большая, свѣтлая комната, не имѣвшая опредѣленнаго назначенія, служившая одновременно и кабинетомъ и пріемной... Иногда тутъ даже завтракали совершенно интимно— за круглымъ столикомъ...

Такъ было и на этотъ разъ. За кофе Великій Князь заговорилъ о томъ, для чего онъ насъ собственно позвалъ, — Н. Н. Львова и меня.

— Дѣло обстоитъ такъ.. Я только что былъ въ Кіевѣ... И говорилъ съ Вдовствующей Императрицей.. Она ужасно обезпокоена... Она знаетъ все, что происходитъ, и отчасти послѣ разговора съ Ней я рѣшился.. Я рѣшился написать письмо Государю.. Но совершенно откровенно... до конца... Всетаки я значительно старше, кромѣ того мнѣ ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же

я равнодушно смотрѣть... какъ мы сами себя губимъ!... Мы вѣдь идемъ къ гибели... Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія... Я написалъ все это... Но письма не пришлось послать... Я поѣхалъ въ Ставку и говорилъ съ Нимъ лично. Но такъ сказать, чтобы это было болѣе опредѣленно... къ тому же я лучше пишу, чѣмъ говорю... я просилъ разрѣшенія прочесть это письмо вслухъ... И я прочелъ... Это было перваго ноября...

Великій Князь сталъ читать намъ это письмо.

Что было въ этомъ письмѣ?.. Оно было написано въ сердечныхъ родственныхъ тонахъ, — на „ты"... Въ немъ излагалось общее положеніе и серіезная опасность, угрожающая Трону и Россіи. Много мѣста было удѣлено Императрицѣ. Была такая фраза: „Конечно, Она не виновна во всемъ томъ въ чемъ Ее обвиняютъ, и, конечно, Она Тебя любитъ"... Но... но страна Ее не понимаетъ, не любитъ, приписываетъ Ей вліяніе на дѣла, словомъ, видитъ въ Ней источникъ всѣхъ бѣдъ...

Государь выслушалъ все до конца. И сказалъ:

— Странно... Я только что вернулся изъ Кіева... Никогда, кажется, меня не принимали, какъ въ этотъ разъ...

На это Великій Князь отвѣтилъ:

— Это, быть можетъ, было потому, что Вы были Одни съ Наслѣдникомъ... Императрицы не было...

Великій Князь сталъ разсказывать еще. Много ушло изъ памяти — боюсь быть не точнымъ.

Въ концѣ концовъ Львовъ спросилъ:

— Какъ Вы думаете, Ваше Высочество, — произвели впечатлѣніе Ваши слова?

Великій Князь сдѣлалъ характерное для него движеніе.

— Не знаю... можетъ быть... боюсь, что нѣтъ... Но все равно... Я сдѣлалъ... я долженъ былъ это сдѣлать...

* * *

— Вы уѣзжаете?

Я уѣзжалъ въ Кіевъ. Пуришкевичъ остановилъ меня въ Екатериненскомъ залѣ Таврическаго Дворца. Я отвѣтилъ:

— Уѣзжаю.

— Ну, всего хорошаго...

Мы разошлись, но вдругъ онъ остановилъ меня снова.

— Послушайте, Шульгинъ. Вы уѣзжаете — но я хочу, чтобы вы знали... Запомните: 16 декабря...

Я посмотрѣлъ на него. У него было такое лицо, какое у него уже разъ было, когда онъ мнѣ сказалъ одну тайну.

— Запомните 16 декабря...

— Зачѣмъ?

— Увидите... Прощайте...

Но онъ вернулся еще разъ.

— Я вамъ скажу... Вамъ можно... 16-го мы его убьемъ...

— Кого?

— Гришку!

Онъ заторопился и сталъ мнѣ объяснять, какъ это будетъ. Затѣмъ:

Какъ вы на это смотрите?

Я зналъ, что онъ меня не послушаетъ: Но все же сказалъ:

— Не дѣлайте...

— Какъ!? Почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы бѣлоручка, Шульгинъ!

— Можетъ быть... Но можетъ быть и другое... Я не вѣрю во вліяніе Распутина.

— Какъ?

Да такъ... Все это вздоръ. Онъ просто молится за Наслѣдника. На назначенія министровъ онъ не вліяетъ. Онъ хитрый мужикъ...

— Такъ по вашему Распутинъ не причиняетъ зла монархіи?

— Не только причиняетъ, а онъ ее убиваетъ.

— Тогда я васъ не понимаю...

— Но вѣдь это ясно. Убивъ его, вы ничему не поможете... Тутъ двѣ стороны. Первая — это то, что вы сами назвали „чехардой министровъ". Чехарда происходитъ или потому, что некого назначать, или кого не назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помѣшалась на людяхъ „общественнаго довѣрія", а Государь какъ разъ къ нимъ довѣрія не имѣетъ... Распутинъ тутъ не при чемъ... Убьете его, — ничто не измѣнится...

— Какъ не измѣнится?

— Да такъ... Будетъ все по старому... Та же „чехарда министровъ". А другая сторона — это то, чѣмъ Распутинъ убиваетъ: этого вы не можете убить, убивъ его... Поздно ..

— Какъ не могу? Извините пожалуйства!.. А что же, вотъ такъ сидѣть?!... Терпѣть этотъ позоръ?! Вѣдь вы же понимаете, что это значить! Не мнѣ говорить,—не вамъ слушать! Монархія гибнетъ!... Вы знаете, я не изъ трусливыхъ... Меня не запу-

гаешь... Помните Вторую Государственную Думу?... Какъ тогда не было скверно, а я зналъ, что мы выплывемъ!... Но теперь... теперь я вамъ говорю, что монархія гибнетъ, а съ ней мы всѣ, а съ нами— Россія!... Вы знаете, что происходитъ?! Въ кинематографахъ запретили давать фильму, гдѣ показывалось, какъ Государь возлагаетъ на себя Георгіевскій Крестъ. Почему?... Потому, что какъ только начнуть показывать — изъ темноты голосъ: „Царь-Батюшка съ Егоріемъ, а Царица-Матушка—съ Григоріемъ“!...

Я хотѣлъ что то сказать. Онъ не далъ:

— Подождите! Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда, про Царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю!!! Неправда, неправда, неправда!!! Но не все ли равно, я васъ спрашиваю?! Пойдите — доказывайте!... Кто вамъ повѣритъ? Вы знаете: Кай Юлій былъ не дуракъ: „ и подозрѣніе не должно касаться жены Цезаря“... А тутъ не подозрѣніе... тутъ...

Онъ вскочилъ:

— Такъ сидѣть нельзя! Мы идемъ къ концу! Хуже не будетъ. Убью его, какъ собаку... Прощайте!...

⁂

Когда наступило 16-ое декабря, они его дѣйствительно убили...

Это была попытка спасти монархію старо-русскимъ способомъ: тайнымъ насиліемъ...

Весь XVIII вѣкъ и начало XIX-го прошли подъ знакомъ дворцовыхъ переворотовъ. Когда „случайности рожденія“ (выраженіе Ключевскаго) подвергали опасности „самую совершенную форму прав-

ленія — единодержавіе“, какіе то люди, окружавшіе престолъ, исправляли „случайности рожденія“ тайнымъ, насильственнымъ способомъ... При этомъ иногда обходилось безъ убійствъ, иногда нѣтъ...

Въ началѣ XX вѣка эти люди стали мельче... На дворцовый переворотъ ихъ не хватило... вмѣсто этого они убили Распутина...

Цѣли это, конечно, не достигло. Монархію это не могло спасти потому, что Распутинскій ядъ уже дѣлалъ свое дѣло... Что толку убивать змѣю, когда она уже ужалила...

Но при всей его безцѣльности убійство Распутина было актомъ глубоко-монархическимъ.

Такъ его и поняли...

Когда извѣстіе о происшедшемъ дошло до Москвы (это было вечеромъ) и проникло въ театры, публика потребовала исполненіе гимна.

И раздалось, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ Москвѣ:

— Боже Царя Храни...

Никогда эта молитва не имѣла такого глубокаго смысла...

Предпослѣдніе дни „конституціи".

Годъ — 1917. Мѣсяцы Январь-Февраль.
Чиселъ не помню.

Я получилъ въ Кіевѣ тревожную телеграмму Шингарева: онъ просилъ меня немедленно вернуться въ Петроградъ.

Кажется я пріѣхалъ 8 января. Въ этотъ же день вечеромъ Шингаревъ пришелъ ко мнѣ.

— Въ чемь дѣло, Андрей Ивановичъ?

— Да вотъ! плохо! Положеніе ухудшается съ каждымъ днемъ... Мы идемъ къ пропасти... Революція — это гибель, а мы идемъ къ революціи... Да и безъ революціи все расклеивается съ чрезвычайной быстротой... Съ желѣзными дорогами опять катастрофически плохо... Онѣ еще кое какъ держались, но съ этими морозами... Морозы всегда понижаютъ движеніе, — а тутъ какъ на грѣхъ — хватило!... Графикъ падаетъ. Въ Петроградѣ уже серіозныя заминки съ продовольствіемъ... Не сегодня-завтра не станетъ хлѣба совсѣмъ... Въ войскахъ недовольство. Петроградскій гарнизонъ ненадеженъ. Межъ тѣмъ, какъ вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло, какъ никогда... Наше весеннее наступленіе будетъ поддержано невиданнымъ количествомъ снарядовъ... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянемъ...

— Надо дотянуть...

— Но какъ? Зашло такъ далеко, пропущены

всѣ сроки, я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдетъ на уступки, если даже будетъ составлено правительство изъ этихъ самыхъ людей довѣрія, то это не удовлетворитъ... Настроніее уже перемахнуло черезъ нашу голову, оно уже лѣвѣй прогрессивнаго блока... Придется считаться съ этимъ... Мы уже не удовлетворимъ... Уже не сможемъ удержать... Страна уже слушаетъ тѣхъ, кто лѣвѣй, а не насъ... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгонъ... Знаете, на яхтѣ... когда идешь, скажемъ, лѣвымъ галсомъ передъ поворотомъ на правый галсъ надо взять еще лѣвѣй, чтобы забрать ходъ... Если наступленіе будетъ удачно, мы сдѣлаемъ поворотъ и пойдемъ правымъ галсомъ... Чтобы имѣть возможность сдѣлать этотъ поворотъ, надо забрать ходъ. Для этого, если власть на насъ свалится, прійдется искать поддержки расширеніемъ Прогрессивнаго Блока налѣво...

— Какъ вы себѣ это представляете?

— Я бы позвалъ Керенскаго.

— Керенскаго? Въ качествѣ чего?

— Въ качествѣ Министра Юстиціи, допустимъ... Сейчасъ постъ этотъ не имѣетъ никакого значенія, но надо вырвать у революціи ея главарей... Изъ нихъ Керенскій — все же единственный... Гораздо выгоднѣе его имѣть съ собой, чѣмъ противъ себя... Но вѣдь это только гаданіе на кофейной гущѣ... Реально вѣдь никакихъ нѣтъ признаковъ, что Правительство собирается, говоря попросту, позвать насъ?

— Реально — никакихъ... Но напуганы всѣ

сильно... Тамъ большое смятеніе... Надо быть ко всему готовымъ.

* * *

Ко мнѣ пришелъ одинъ офицеръ.

— Зная васъ, я хочу васъ предупредить.

— О чемъ?

— О настроеніи Петроградскаго гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улицѣ они „печатаютъ" на снѣгу... Съ этой стороны за нихъ взялись... Но этимъ ихъ не передѣлаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки!... Это все тѣ, кто безконечно „уклонялись" подъ всякими предлогами и всякими средствами... Имъ все равно, лишь бы не итти на войну... Поэтому вести среди нихъ революціонную пропаганду — одно удовольствіе... Они готовы къ воспріятію всякой идеи, если за ней стоитъ миръ. А кромѣ того и объективныя причины есть для неудовольствія. Люди страшно скучены. Койки помѣщаются въ три ряда, одна надъ другой, какъ въ вагонѣ третьяго класса. А вѣдь всѣ они имѣютъ удобныя квартиры здѣсь. И вотъ бѣснуются. Пойдетъ къ себѣ домой и приходитъ совершенно красный. Для чего ихъ тутъ держатъ? Это самый опасный элементъ. Чуть что — они взбунтуются. Вотъ помяните мое слово. Гнать ихъ надо отсюда, какъ можно скорѣй.

Былъ морозный, ясный день. Ѣдучи въ Думу, я дѣйствительно чуть ли не на каждой улицѣ видѣлъ эти печатающія шеренги. Подъ руководствомъ унтеръ-офицеровъ они маршировали взадъ и впередъ, приладонивая снѣгъ деревянными, автоматическими движеніями.

Теперь я смотрѣлъ на нихъ съ инымъ чувствомъ.

И вспомнилось мнѣ, какъ еще въ 1915 году жаловались мнѣ на одну дивизію, набранную въ Петроградѣ. Ее иначе не называли какъ „С.-Петербургское бѣговое общество". Куда ни пошлютъ ее въ бой, она непремѣнно убѣжитъ.

* * *

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется въ концѣ января. Гдѣ? Тоже не помню... Гдѣ то на Пескахъ. Это была большая комната. Тутъ были всѣ. Во первыхъ члены Бюро Прогрессивнаго Блока и другіе видные члены Думы: Милюковъ, Шингаревъ, Ефремовъ, кажется Львовъ, Шидловскій, кажется Некрасовъ... Кромѣ того были дѣятели Земгора. Былъ и Гучковъ, кажется князь Львовъ, Д. Щепкинъ и еще разные, которыхъ я зналъ и не зналъ.

Сначала разговаривали — „такъ", потомъ сѣли за столъ... Чувствовалось, что-то необычайное, что то таинственное и важное. Разговоръ начался на ту тему, что положеніе ухудшается съ каждымъ днемъ и что такъ дальше нельзя... Что что-то надо сдѣлать... Необходимо сейчасъ же... Необходимо имѣть смѣлость... чтобы принять большія рѣшенія... серіозные шаги...

Но гора родила мышь... Такъ никто не рѣшился сказать... Что они хотѣли? Что думали предложить?

Я не понялъ въ точности... Но можно было догадываться... Можетъ быть иниціаторы хотѣли говорить о переворотѣ сверху, чтобы не было переворота снизу. А можетъ быть что-нибудь совсѣмъ другое.

Во всякомъ случаѣ — не рѣшились... И поговоривъ, разъѣхались... У меня было смутное ощущеніе, что грозное — близко... А эти попытки отбить это огромное — были жалки... Безсиліе людей, меня окружавшихъ, и свое собственное въ первый разъ заглянуло мнѣ въ глаза. И былъ этотъ взглядъ презрителенъ и страшенъ...

* * *

Н. сказалъ мнѣ, что онъ хотѣлъ бы поговорить со мной наединѣ, довѣрительно... Я пригласилъ его къ себѣ.

Онъ пришелъ. У него на моложавомъ лицѣ всегда были большія розовыя пятна, — не знаю — отъ чахотки или отъ здоровья.

Онъ началъ издалека и, такъ сказать, á mots couverts... Но я его понялъ. Онъ зондировалъ меня насчетъ того, о чемъ воробьи чирикали за кофе въ каждой гостиной, то есть о дворцовомъ переворотѣ... Я зналъ, что безформенный планъ существуетъ, но не зналъ ни участниковъ, ни подробностей Впрочемъ слышалъ я о такъ называемомъ „морскомъ“ планѣ. Планъ этотъ состоялъ въ томъ, чтобы пригласить Государыню на броненосецъ подъ какимъ нибудь предлогомъ и увезти ее въ Англію, какъ будто по ея собственному желанію. По другой версіи уѣхать долженъ былъ и Государь, а Наслѣдникъ долженъ былъ быть объявленъ Императоромъ. Я считалъ всѣ эти разговоры болтовней.

Н. говорилъ о томъ, что государственный корабль въ опасности и, можно сказать, гибнетъ, и что поэтому требуются особыя, исключительныя мѣры, для спасенія экипажа и драгоцѣннаго груза.

— Если бы вамъ были предложены такія ис-

ключительныя, изъ ряда вонъ выходящія мѣры для спасенія экипажа и груза, а вѣдь вмѣстѣ они составляютъ русскій народъ, — пошли ли бы вы на эти совершенно невмѣщающіяся въ обыденныя рамки, совершенно экстренныя мѣры, пошли ли бы вы на нихъ для спасенія родины?

Я отвѣтилъ не сразу, потому что понялъ сразу. Мнѣ вдругъ вспомнилось, какъ однажды Столыпинъ произнесъ свою знаменитую фразу: „Никто не можетъ отнять у Русскаго Государя священное право и обязанность спасать въ дни тяжелыхъ испытаній Богомъ врученную ему Державу...“ Я вспомнилъ, какъ бѣшенно обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту „неконституціонную“ фразу. Теперь они же, кадеты, или одинъ изъ нихъ, предлагаютъ для спасенія этой же державы мѣры настолько менѣе конституціонныя сравнительно съ третьимъ іюня, насколько шлюпка меньше броненосца

Наконецъ я отвѣтилъ вопросомъ:

— Вы читали Жюль-Верна?

— Читалъ, конечно, но что именно?...

— Это неважно, потому что я не увѣренъ, что это изъ Жюль-Верна... Во всякомъ случаѣ это теорія моряковъ.

— Какая теорія?

— Двѣ теоріи... Или вѣрнѣе двѣ школы. Одна школа — это „суденщики“, а другая „шлюпочники“...

— Объясните...

— Это касается морскихъ бѣдствій... кораблекрушеній... „Шлюпочники“ утверждаютъ, что когда корабль терпитъ такъ называемое „кораблекрушеніе“, то надо пересаживаться на шлюпки и этимъ путемъ искать спасенія.

— Это понятно... А „суденщики"?...

— А „суденщики" говорятъ, что надо оставаться на суднѣ...

— Да вѣдь оно гибнетъ!...

— Все равно... Они говорятъ, что изъ десяти случаевъ въ девяти шлюпки гибнутъ въ морѣ...

— Но одинъ шансъ все же остается.

— Они говорятъ, что одинъ шансъ остается и у гибнущаго корабля, потому не стоитъ безпокоиться...

— А выводъ?

— Выводъ тотъ, что я принадлежу къ школѣ „суденщиковъ", а потому останусь на суднѣ и въ шлюпки пересаживаться не хочу...

Онъ помолчалъ.

— Въ такомъ случаѣ забудемъ этотъ разговоръ.

Забудемъ...

* * *

Однажды, это было кажется въ февралѣ, рано утромъ ко мнѣ пришли неожиданные посѣтители: одинъ былъ бывшій министръ, другой товарищъ министра.

П. Н. былъ единственнымъ изъ министровъ, который одинаково былъ любезенъ и „Двору", и „общественности". Онъ былъ уменъ, ловокъ, очень тактиченъ, по убѣжденіямъ — консерваторъ, но понималъ мудрость латинской поговорки „bis dat qui cito dat". Сдѣлавъ въ сущности пустяковыя уступки по своему министерству, онъ сталъ весьма популяренъ и могъ претендовать на то, что пользуется „общественнымъ довѣріемъ"... Если бы его нѣ-

сколько мѣсяцевъ тому назадъ назначили премьеромъ, быть можетъ, ему удалось бы поладить съ Государственной Думой.

— Вы знаете, — началъ онъ, — мои воззрѣнія: конечно, я не либералъ... Тѣ, что такъ думаютъ, очень ошибаются. Но есть вещи и вещи... Есть положенія, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной Думы, т. е. прогрессивнаго блока, вѣдь она въ сущности очень пріемлема...

— Вздоръ! Пустяки! — сказалъ товарищъ министра. Все это, конечно, можно дать безъ всякаго колебанія государства Россійскаго...

— За исключеніемъ одного пункта, — сказалъ министръ. Это о власти. Вы понимаете, — тутъ заупрямились... Я сказалъ Государю все... Я объяснилъ, что мы всѣ, наша семья, традиціонно преданы престолу. Но что мы всегда были — Земщина. Что я отнюдь не либералъ, но считаю, что съ Земщиной" нужно считаться. Въ особенности теперь во время войны. И что Дума, олицетворяющая „земщиму", стоитъ на строго патріотической позиціи. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — „Война до побѣднаго конца"... И что правительству надо итти съ Думой и что поэтому я прошу отставки... Словомъ все, что можно было сказать... Со мной лично были въ высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно... то есть, безнадежно — насчетъ власти...

— Поймите, Шульгинъ, что въ этомъ все, — сказалъ товарищъ министра. Все въ этомъ пунктѣ, все въ томъ, что вы хотите, чтобы правительство было изъ лицъ общественнаго довѣрія, другими словами отъ „блока". Здѣсь вся загвоздка! А что

касается остальной вашей программы, такъ только проведите ее черезъ Думу, все будетъ принято правительствомъ...

— Въ той же части вашей программы, — сказалъ министръ, — которая можетъ быть проведена правительствомъ собственной властью, то она, напримѣръ по вѣдомству народнаго просвѣщенія, уже осуществлена. Впрочемъ вы очень деликатно выразились объ этомъ вопросѣ...

— „Вступленіе на путь постепеннаго ослабленія". Кто это выдумалъ? Это почти геніально, — сказалъ товарищъ министра.

— Но что касается вопроса о власти, — сказалъ министръ, — увы! — здѣсь стѣнка!.. И вотъ, смыслъ нашего посѣщенія нижеслѣдующій... Мы, В. М. и я, достаточно васъ знаемъ... Если Милюковъ и другіе могутъ имѣть какіе то мотивы, старые навыки борьбы съ властью quand meme, то вы, конечно, преслѣдуете одну цѣль — благо родины... А это значитъ въ данную минуту, какъ нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе Россіи — конецъ! — сказалъ товарищъ министра.

— И вотъ, если дѣло не выходитъ, — продолжалъ министръ, — если стѣнка, — какъ быть? Мы хотѣли вамъ сказать: не обостряйте отношеній... Вѣдь все равно въ лобъ не возьмете...

— Шульгинъ, вы знаете, — какъ дѣти, когда „играютъ". Вдругъ заупрямятся всѣ... и вотъ зашли въ тупикъ: ни тотъ, ни другой не уступаютъ. Вдругъ одинъ кричитъ: „Я умнѣе!" и уступаетъ... И разрѣшенъ тупикъ, и продолжается игра... Крикните — „Я умнѣе" и уступите... Вѣрнѣе — отступи-

те... на время, хотя бы... Вы правы, вы совсѣмъ правы... Мы съ вами согласны во всемъ... Но если нельзя...

Они сидѣли противъ меня честные и встревоженные... сильно встревоженные.

— Положеніе плохое, — сказалъ министръ... До чего мы дойдемъ?

— Доиграемся! — сказалъ товарищъ министра.

Я отвѣчалъ.

— Вы знаете, я состою въ „совѣщаніи по государственной оборонѣ“. У насъ сейчасъ столько снарядовъ, сколько никогда не было. Маниковскій недавно объяснилъ: если взять расчетъ по Вердену (ту норму, сколько въ теченіе пяти мѣсяцевъ Верденское орудіе выпускало снарядовъ въ сутки) и начать наступленіе по всему фронту, т. е. отъ Балтійскаго моря до Персіи, то мы можемъ по всему фронту изъ всѣхъ нашихъ орудій поддерживать верденскій огонь въ теченіе мѣсяца... У насъ сейчасъ на складахъ тридцать милліоновъ полевыхъ...

— Великолѣпно, — сказалъ товарищъ министра.

— Весной повидимому, начнется всеобщее наступленіе... Есть всѣ шансы, что оно будетъ удачно... Если это будетъ такъ, то тогда вообще все спасено, — можно хоть прогнать Государственную Думу...

— И прогонять не придется, потому что на радостяхъ все забудется.

— Значитъ весь вопросъ — продержаться дватри мѣсяца... Не допустить взрыва... Потому что если наступленіе будетъ неудачное, взрывъ все равно будетъ.

— Будетъ — сказалъ товарищъ министра.

— Весьма возможно... — сказалъ министръ.

— Непремѣнно будетъ. Я недавно изъ Кіева... Люди съ ума сошли. Вы знаете, Кіевъ достаточно черносотенный... И вотъ меня ловили люди самые благонамѣренные: „когда же, наконецъ, вы ихъ прогоните!“. Это они про правительство... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дѣло вовсе не въ Распутинѣ. Его убили, а ничего не измѣнилось. И теперь всѣ стрѣлы летятъ прямо, не застрѣвая въ Распутинѣ... Итакъ надо выиграть время... Два три мѣсяца...

— Это такъ, — сказалъ министръ, но какъ же это сдѣлать.

— Вотъ тутъ то и начинается вопросъ. Было два пути... Первый путь — это Думу свести на нѣтъ. Правительство могло это сдѣлать, не созывая ее. Можетъ быть и сама Дума могла это сдѣлать, такъ сказать, отступивъ; предоставивъ правительству самому стать лицемъ къ лицу съ наростающимъ неудовольствіемъ Россіи.

— Нѣтъ, — сказалъ товарищъ министра, — этого Дума не могла сдѣлать. Если большинство такъ-бы и сдѣлало, лѣвые и кадеты подняли-бы крикъ, только въ гораздо болѣе рѣзкой формѣ.

— Вотъ въ томъ то и дѣло... Въ 1915 году во время великаго отступленія, когда созвали Думу, для насъ, праваго крыла, сталъ вопросъ: или стать на сторону правительства, конечно, виноватаго въ непредусмотрительности и въ бездарности, или же, признавъ справедливымъ наростающее неудовольствіе, попытаться ввести его въ наименѣе рѣзкія, въ самыя пріемлемыя формы... Другими словами

недовольство массъ, которое легко могло бы перейти въ революцію, подмѣнить недовольствомъ Думы... Наша цѣль была, чтобы массы оставались покойными, такъ какъ за нихъ говоритъ Дума... Такимъ образомъ и создался прогрессивный блокъ. Этимъ шагомъ мы приковали кадетъ къ минимальной программѣ... Такъ сказать оторвали ихъ отъ революціонной идеологіи, свели дѣло къ пустякамъ. Но кадеты, съ другой стороны, вовлекли насъ въ борьбу за власть... Мы хотѣли стать между улицей, и я бы сказалъ — между арміей, въ которой сильнѣйшее недовольство на „тылъ", то-есть на правительство, — и властью... Мы хотѣли успокоить армію, что ее никто не предастъ, и что о ней позаботятся — такъ какъ на стражѣ ея интересовъ стоитъ Дума. Когда я уѣзжалъ съ фронта въ 1915 году это былъ всеобщій голосъ: „Поѣзжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоѣдовыхъ и Сухомлиновыхъ, а были снаряды... Мы не хотимъ умирать съ палками въ рукахъ". Все это я говорю къ тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этотъ путь... Путь такъ сказать „суда" вмѣсто „самосуда". Путь парламентской борьбы вмѣсто баррикадъ...

— А вы не думаете, что такъ вы скорѣе дойдете до баррикадъ?

— Вотъ въ этомъ то и вопросъ. Что мы — сдерживаемъ или разжигаемъ?... Мнѣ всегда казалось, что сдерживаемъ. Мнѣ казалось, что мы такая цѣпь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, насъ толкаютъ въ спину и заставляютъ двигаться впередъ. Но мы упираемся. Держимъ другъ друга за руки и не позволяемъ толпѣ прорваться... Такъ мы идемъ, упираясь, а насъ давятъ

въ спину, уже полтора года... Богъ его знаетъ, если бы мы не сдѣлали этой цѣпи, можетъ быть уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цѣпь все время кричитъ: „Все для войны"... И этотъ нашъ вопль обращенъ одинаково къ обѣимъ сторонамъ: Отъ арміи мы требуемъ „всѣхъ жертвъ", а отъ правительсва „хоть немного жертвы"... Успокаиваетъ-ли это или разжигаетъ? Кто знаетъ. Мнѣ кажется, — все-таки успокаиваетъ. Вѣдь смотрите: ...до сихъ поръ ни одного покушенія. А помните 1905 годъ? Тогда дождило бомбами!.. Теперь ни одного бунта, — пока... А помните, тогда?... Теперь наиболѣе] бунтарскимъ образомъ повели себя тѣ, кто убили Распутина: они совершили первый и единственный пока актъ террора. Значитъ можно предполагать, что буйный элементъ до извѣстной степени считается и не дѣлаетъ, пока она говоритъ. Додержимся-ли? Будемъ надѣяться, что додержимся. А если не додержимся?... А если не додержимся, тогда...

— Тогда — конецъ! А потому, даже принимая вашу схему, — не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтобы и въ планы кадетъ входило бы обострять. Вѣдь они знаютъ: головы жирондистовъ оказались въ одной корзинѣ съ монархистами.

— Они даютъ себѣ отчетъ въ этомъ?

— Вполнѣ... Они боятся революціи. Вѣдь они три года кричали: „Все для войны". А слѣдовательно въ случаѣ революціи это имъ припомнится. Жребій былъ брошенъ въ 1915 году. А теперь, что Богъ дастъ. Впрочемъ, разумѣется, я буду, насколько могу, умѣрять блокъ, но если вы можете — дѣйствуйте тамъ...

* * *

Я не могу сказать, чтобы это было засѣданіе, хотя позвали меня собственно на засѣданіе. Я не могу также вспомнить, гдѣ это было. Но было это въ какомъ то безпорядочномъ учрежденіи, которое не могло не имѣть отношенія къ Земгору, ибо здѣсь были на лицо всѣ Земгорскіе элементы: горы ящиковъ, горы барышень, стучащихъ на машинкахъ, и какіе то господа въ очкахъ, представлявшіе доклады, пересыпанные цифрами, черезъ которыя все же ясно чувствовалось, что докладчики проводятъ одну заранѣе и сверху приказанную тенденцію, ничего съ цифрами общаго не имѣющую...

Дѣло шло о цѣнахъ на хлѣбъ. Тутъ были кадетствующіе элементы, которые питали ко мнѣ нѣкоторое довѣріе; поэтому то меня и позвали. Господинъ въ очкахъ, человѣкъ третьяго элемента, лѣвѣе кадетъ, бормоталъ свой докладъ, который былъ только предлогомъ, чтобы начать обмѣнъ мнѣній. И обмѣнивались. Все больше насчетъ того, что хлѣбъ крестьяне не везутъ потому въ достаточномъ количествѣ, что при „этомъ режимѣ" вообще ничего не можетъ быть.

Я живо представлялъ себѣ своихъ волынскихъ Бизюковъ и Сопрунцовъ. Они не везутъ хлѣбъ изъза того, что предсѣдатель Совѣта Министровъ — князь Голицынъ, а не Милюковъ? Я понималъ, что это чепуха. Заминка съ хлѣбомъ происходила по моему мнѣнію потому, что не повышали цѣну въ то время, когда уже пришелъ срокъ ее повысить. Это я высказалъ.

Кто то изъ господъ лѣвѣе кадетовъ не преминулъ мнѣ возразить. Я не слушалъ его словъ, потому что по его глазамъ я прекрасно видѣлъ въ

чемъ дѣло. У этихъ высосанныхъ злостью людей — „лѣвѣй кадетовъ“, неистребимая ненависть, безсмысленная и жгучая... къ помѣщикамъ. И такъ какъ отъ повышенія цѣнъ на хлѣбъ могли бы въ нѣкоторой мѣрѣ выиграть и помѣщики (хотя подавляющее большинство хлѣба — крестьянское), то эти озлобленныя существа готовы были на что угодно, но только не на повышеніе цѣнъ. И мои возраженія эти узенькіе, конечно, разсматривали, только какъ мнѣніе „аграрія“. Впрочемъ это общеизвѣстно...

Но меня поразилъ Шингаревъ.

Онъ всталъ и съ влажными отъ вдохновенія глазами произнесъ великолѣпную рѣчь, горячую, прочувственную, которую право, не стоило метать передъ 9 и такъ уже убѣжденными и десятымъ, мною, неубѣдимымъ никакимъ краснорѣчіемъ... Но онъ говорилъ, и голосъ его то мягкій, задушевный, то раскатистый, звенѣлъ о томъ, что неужели я не чувствую, что нужно одно: нуженъ порывъ, нуженъ подьемъ, подъемъ, который будетъ, когда сбудется мечта, когда наконецъ у власти появятся другіе, свѣтлые люди, разумные, любящіе свою родину, уважающіе свободу великаго народа, и что тогда, въ этотъ день, хлѣбъ неудержимыми рѣками потечетъ туда, куда ему слѣдуетъ. А иначе, т.-е. „рублемъ“, ничего не сдѣлаешь!...

Шингаревъ былъ очень хорошъ въ этомъ своемъ „контррублевомъ“ вдохновеніи, онъ былъ подкупающе мягокъ и увлекательно темпераментенъ.

По окончаніи его удивительной рѣчи я сказалъ коротко:

— Я остаюсь при своемъ мнѣніи. Надо назначить три рубля за пудъ хлѣба вмѣсто двухъ пятидесяти...

Увы, прошло всего нѣсколько дней, совершилась революція... и Шингаревъ, ставшій министромъ, назначилъ три рубля за пудъ хлѣба вмѣсто двухъ пятидесяти... Ибо, несмотря на „сбывшуюся мечту“, хлѣбъ не двинулся.

* * *

Государственная Дума должна была возобновить свою сессію въ началѣ февраля. Ко дню ея открытія ожидали выступленій. Главнымъ образомъ опасались рабочихъ. Кажется, 10 февраля — появилось открытое письмо П. Н. Милюкова къ рабочимъ Петрограда. Въ этотъ день, а можетъ быть, днемъ раньше или позже появился „приказъ“ генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Страннымъ образомъ оба эти документа оказались не такъ далеко одинъ отъ другого. Аргументація мѣстами совпадала („во имя Родины“) и оба они, лидеръ оппозиціи и градоначальникъ, требовали отъ рабочихъ сохраненія спокойствія.

Но повидимому тутъ было нѣчто болѣе глубокое, чѣмъ то, что могло зависѣть отъ коллективной воли рабочихъ или даже индивидуальныхъ замысловъ ихъ вожаковъ. Что-то подточенное падало и то, что падало, чувствовало сильнѣе подточенность и неизбѣжность паденія — чѣмъ тѣ рабочіе, которые должны были быть послѣднимъ порывомъ вѣтра, свалившимъ трехсотлѣтнее дерево Милюковъ и Хабаловъ махали на нихъ руками, приказывая — Noli Tangere — очевидно чувствуя, что они могутъ свалить власть, хотя, повидимому, сами рабочіе были менѣе увѣрены въ своихъ силахъ.

Къ этому времени относится совѣщаніе, о ко-

торомъ повѣдалъ впослѣдствiи Н. Д. Соколовъ — человѣкъ не то меньшевикъ, не то большевикъ, — но повѣдалъ при такой обстановкѣ, что ему не имѣло смысла искажать истину. Слышалъ я это лично. Соколовъ сказалъ слѣдующее:

— Передъ тѣмъ, какъ должна была собраться Государственная Дума — произошло совѣщанiе революцiонныхъ организацiй Петрограда, какъ рабочихъ — такъ и солдатскихъ. Представители рабочихъ предложили организовать уличныя демонстрацiи. Солдатскiе же представители отвѣтили: „Для чего вы насъ зовете? Если для революцiи, то мы выйдемъ на улицу, — но если для манифестацiи, — то не выйдемъ. Потому что вы, рабочiе, послѣ уличныхъ манифестацiй можете вернуться къ себѣ на фабрики, а мы, солдаты, не можемъ — насъ будутъ разстрѣливать.“ Представители рабочихъ признали эти соображенiя правильными и заявили, что для революцiи они не готовы...

Они — революцiонеры, не были готовы, но она — революцiя, была готова. Ибо революцiя только наполовину создается изъ революцiоннаго напора революцiонеровъ. Другая ея половина, а можетъ быть три четверти — состоитъ въ ощущенiи властью своего собственнаго безсилiя.

У насъ, у многихъ, это ощущенiе было вполнѣ. Ибо все въ Россiи дѣлалось „по приказу Его Императорскаго Величества.“ Это былъ электрическiй токъ, приводившiй въ жизнь всѣ провода. И именно этотъ токъ обезсиливался и замиралъ, уничтоженный безволiемъ. На почвѣ этого послѣдняго выросло три грозныхъ болѣзни: Распутинъ,

Штюрмеръ и Милюковъ. Послѣдній могъ организовать оппозицію Государственной Думы, Думы 4 созыва, законопослушной и монархической, только благодаря concours bienveillant двухъ первыхъ. Государственная Дума считала своимъ долгомъ для спасенія арміи и Россіи — явно бороться со Штюрмеромъ и тайно съ Распутинымъ.

Результатъ: Штюрмеръ ушелъ, Распутинъ убитъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ разрушенъ основной нервъ Россіи: сознаніе необходимости повиноваться „указу Его Императорскаго Величества."

* * *

Это ощущеніе близости революціи было такъ страшно, что кадеты въ послѣднюю минуту стали какъ-то мягче.

Передъ открытіемъ Думы по обыкновенію составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мнѣ. Я иаписалъ сразу, такъ сказать, не исправляя, и было это не только формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовалъ. Это было стенаніе на тему „до чего мы дошли"... И помню была такая фраза: „въ то время какъ акты террора совершаются принцами Императорской крови"... Заключеніе было, что требуются героическія усилія, чтобы спасти страну.

Формула показалась всѣмъ слишкомъ рѣзкой. Милюковъ сказалъ, что она написана прекрасно, но призналъ, наравнѣ съ другими, что въ настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумѣется, не настаивалъ. Приняли формулу Милюкова, болѣе скромиую...

* * *

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромномъ внутреннемъ самочувствіи всѣхъ.

Затѣмъ центръ тяжести перешелъ въ бюджетную комииссію.

Тамъ шелъ вопросъ о хлѣбѣ. Я не помню хорошенько въ чемъ было дѣло, но помню, что сильно насиловали наши убѣжденія. Если не ошибаюсь вопросъ шелъ о „твердыхъ цѣнахъ“. Мы считали твердыя цѣны источникомъ разстройства Государства. Это вообще была кіевская точка зрѣнія, которую съ особеннымъ упорствомъ отстаивалъ А. И. Савенко. О томъ, какъ Кіевъ боролся споконъ вѣковъ съ соціалистическими замашками, будетъ когда-нибудь, надѣюсь, отмѣчено. Но въ данномъ случаѣ мы въ концѣ концовъ должны были уступить, чтобы не разстраивать блока и не уменьшать поступательной силы рѣшенія, которое было-бы все равно принято. Я помню, употребилъ тогда такое сравненіе:

— Если человѣкъ хочетъ прыгнуть въ пропасть — надо всѣми силами удержать его. Но если ясно, что онъ все равно прыгнетъ — надо подтолкнуть его, потому что, можетъ быть, въ этомъ случаѣ онъ допрыгнетъ до другого края.

* * *

Это было, кажется, послѣднее засѣданіе Государственной Думы. Шелъ все тотъ же вопросъ о хлѣбѣ. На этомъ дѣлѣ Блокъ раскололся. Правая сторона поддерживала Правительство, считая его планъ разверстки правильнымъ. Лѣвое крыло, очевидно, полагая, что не можетъ быть „ничего добра-

го изъ Назарета", отвергало предложенiе Правительства. Милюковъ сказалъ рѣчь — противъ, Шульгинъ — за. Товарищъ министра А. А. Риттихъ говорилъ убѣдительно, горячо, только очень нервно, слишкомъ нервно. Онъ умолялъ не губить дѣла.

Съ внѣшней стороны было все, какъ всегда. Но на самомъ дѣлѣ было иначе.

Тревога и грусть были разлиты въ воздухѣ. Во время рѣчи Милюкова, возраженiя Шульгина и убѣжденiй Риттиха, и во время другихъ рѣчей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, не важно...

Изъ за бѣлыхъ колоннъ зала выглядывала Безнадежность... Она шептала:

Къ чему? Зачѣмъ? Не все ли равно?

Въ кулуарахъ думы говорили въ этотъ день, что А. А. Риттихъ послѣ рѣчи, придя къ себѣ, въ „павильонъ министровъ", — разрыдался...

* * *

26 февраля.

Въ этотъ день, утромъ, неожиданно, ко мнѣ пришелъ Петръ Бернгардовичъ Струве. Онъ былъ взволнованъ и полубольной, но предложилъ мнѣ двигаться къ Маклакову.

— У Василiя Алексѣевича мы узнаемъ. И Дума рядомъ...

Въ воздухѣ уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидѣть дома: надо было быть тамъ. Это я чувствовалъ и раньше и, въ особенности, почувствовалъ, когда пришелъ Петръ Бернгардовичъ.

Мы пошли. Былъ морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного из-

возчика. Намъ надо было итти пѣшкомъ къ Таврическому Дворцу — это верстъ пять. Петръ Бернгардовичъ еле шелъ, я велъ его подъ руку.

На улицахъ было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствіе непріятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нѣтъ извозчиковъ. Вотъ уже три дня въ Петроградѣ не стало хлѣба. И этотъ свѣтлый день былъ „затишьемъ передъ бурей“, которая гдѣ-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами-таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невскомъ, невидимомъ отсюда, не то вонъ тамъ, на Выборгской сторонѣ, около Финляндскаго вокзала...

Нева была особенно красива въ этотъ день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапетъ Троицкаго моста... Расцвѣченная солнцемъ перспектива набережныхъ говорила о томъ, „что сдѣлано“, но отъ этого становилось только жутче, потому что законченная въ своей красотѣ она ничего не могла отвѣтить на вопросъ: „что сдѣлается?“...

* * *

Василій Алексѣевичъ спѣшилъ: его вызывали къ Покровскому. Н. И. Покровскій, министръ иностранныхъ дѣлъ, разумный и честный, былъ человѣкъ наиболѣе пріемлемый „для думскихъ сферъ“ Маклаковъ же былъ самый умѣренный изъ кадетъ и самый умный. Онъ былъ наиболѣе пріемлемъ для правительственныхъ сферъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не былъ „патріотомъ прогрессивнаго блока“, вслѣдствіе своей всегдашней оппозиціи Милюкову. Маклаковъ былъ тотъ человѣкъ, который могъ стать связующимъ звеномъ между Думой и Прави-

тельствомъ. Его приглашеніе къ Покровскому могло обозначать многое. Въ ожиданіи его возвращенія мы пошли въ Таврическій Дворецъ.

* * *

Въ комнатѣ № 11, какъ всегда, засѣдалъ блокъ, вѣрнѣе бюро прогрессивнаго блока. Предсѣдателемъ былъ Шидловскій — Сергѣй Иліодоровичъ. Отъ кадетъ — Милюковъ и Шингаревъ, прогрессисты въ это время уже вышли изъ Блока, отъ лѣвыхъ октябристовъ — Шидловскій, отъ октябристовъ-земцевъ, — графъ Капнистъ (маленькій, т.-е. Димитрій Павловичъ), а отъ центра, кажется, Владиміръ Львовъ, отъ націоналистовъ - прогрессистовъ — Половцевъ 2-ой и я.

За столомъ, крытымъ зеленымъ бархатомъ, мы сидѣли при свѣтѣ настольныхъ лампъ, съ темными абажурами. Сколько разъ уже такъ сидѣли.

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовалъ, что дѣлается что-то не то... Я много разъ уже это чувствовалъ.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будемъ отвѣчать, если насъ спросятъ: „Ну, хорошо, la critique ést aisée — довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итакъ, что надо дѣлать?“... Мы имѣли „великую Хартію Блока“, въ которой значилось, что необходимо произвести нѣкоторыя реформы, но все это совершенно не затрагивало центральнаго вопроса: „Что надо сдѣлать, чтобы лучше вести войну“?

Я неоднократно съ самаго основанія блока добивался ясной практической программы. Самъ я ее придумать не могъ, а потому пыталъ своихъ „дру-

зей слѣва“, но они отдѣлывались отъ меня разными способами, а когда я бывалъ слишкомъ настойчивъ, отвѣчали, что практическая программа состоитъ въ томъ. чтобы добиться „власти, облеченной народнымъ довѣріемъ“. Ибо эти люди будутъ толковыми и знающими и поведутъ дѣло. Дать же какой-нибудь рецептъ для практическаго управленія невозможно — „залогъ хорошаго управленія — достойные министры“, — это и на Западѣ такъ дѣлается.

Тогда я сталъ добиваться, кто эти достойные министры. Мнѣ отвѣчали, что пока объ этомъ неудобно говорить, что выйдутъ всякія интриги и сплетни, и что это надо рѣшать тогда, когда вопросъ станетъ, такъ сказать, вплотную.

Но сегодня мнѣ казалось, что вопросъ уже сталъ „вплотную“. Явственно чувствовалась растерянность правительства. Насъ еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могутъ спросить. Между тѣмъ, были-ли мы готовы? Знали-ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малѣйшимъ образомъ.

Поэтому я сдѣлалъ слѣдующее предложеніе, приблизительно въ такихъ словахъ:

— Хотя это можетъ показаться неловкимъ, неудобнымъ и такъ далѣе, но наступило время, когда съ этимъ нельзя считаться. На насъ лежитъ слишкомъ большая отвѣтственность. Мы вотъ уже полтора года твердимъ, что правительство никуда не годно. А что если „станется по слову нашему“. Если съ нами наконецъ согласятся и скажутъ: „Давайте вашихъ людей“. Развѣ мы готовы? Развѣ мы можемъ назвать, не отдѣлываясь общей формулой, „людей, довѣріемъ общества облеченныхъ“, кон-

кретныхъ, живыхъ людей... Я полагаю, что намъ необходимо теперь уже, что это своевременно сейчасъ, — составить для себя, для Бюро Блока, списокъ именъ, т.-е. людей, которые могли бы быть правительствомъ.

Послѣдовала нѣкоторая пауза. Я видѣлъ, что всѣ почувствовали себя неудобно. Слово попросилъ Шингаревъ и выразилъ, очевидно, мнѣніе всѣхъ, что пока это еще невозможно. Я настаивалъ, утверждая, что время уже пришло, но ничего не вышло, никто меня не поддержалъ и списка не составили. Всѣмъ было — „неловко"... И мнѣ тоже...

Таковы — мы... русскіе политики. Переворачивая власть, мы не имѣли смѣлости, или вѣрнѣе, спасительной трусости подумать о зіяющей пустотѣ... Безсиліе свое и чужое, снова взглянуло мнѣ въ глаза насмѣшливо и жутко!...

* *
*

По окончаніи засѣданія мы вышли въ Екатерининскій залъ. Въ дверяхъ я столкнулся съ Маклаковымъ. Мы шли вмѣстѣ, разговаривая о томъ, что съ Покровскимъ ничего особеннаго не вышло.

Въ это время въ другомъ концѣ зала показался Керенскій. Онъ по обыкновенію куда то мчался, наклонивъ голову и неистово размахивая руками. За нимъ, догоняя, старался Скобелевъ.

Керенскій вдругъ увидѣлъ насъ и, круто измѣнивъ направленіе, пошелъ къ намъ, протянувъ впередъ худую руку... для выразительности.

— Ну что-же, господа-Блокъ? Надо что то дѣлать! Вѣдь положеніе то... плохо. Вы собираетесь что нибудь сдѣлать?

Онъ говорилъ громко, подходя. Мы сошлись на серединѣ зала.

Кажется, до этого дня я не былъ оффиціально знакомъ съ Керенскимъ. По крайней мѣрѣ я никогда съ нимъ не разговаривалъ. Мы все же были въ слишкомъ далекихъ и враждебныхъ лагеряхъ. Поэтому для меня этотъ его „налетъ“ былъ неожиданнымъ. Но я рѣшилъ имъ воспользоваться.

— Ну, если вы такъ спрашиваете, то позвольте въ свою очередь спросить васъ: по вашему то мнѣнію что нужно? Что васъ удовлетворило-бы?

На изборожденномъ лицѣ Керенскаго промелькнуло вдругъ веселое, почти мальчишеское выраженіе.

— Что?... Да въ сущности немного!... Важно одно: чтобы власть перешла въ другія руки.

— Чьи? — спросилъ Маклаковъ.

— Это безразлично. Только не бюрократическія!

— Почему не бюрократическія — возразилъ Маклаковъ. Я именно думаю, что бюрократическія... только въ другія, толковѣе и чище... Словомъ, хорошихъ бюрократовъ. А эти „облеченные довѣріемъ“ — ничего не сдѣлаютъ!

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаемъ въ этомъ дѣлѣ. Техники не знаемъ. А учиться теперь некогда...

— Пустяки! Вамъ дадутъ аппаратъ. Для чего же существуютъ всѣ эти bureau и sous sécrétaires?!...

— Какъ вы не понимаете, — вмѣшался Скобелевъ, обращаясь преимущественно ко мнѣ, — что вы имѣете д...д...д...довѣріе н...н...н...народа...

Онъ немножко заикался.

— Ну, а что еще надо?—спросилъ я Керенскаго.

— Ну, еще тамъ — онъ мальчишески, легкомысленно и весело, махнулъ рукой, — свободъ немножко. Ну тамъ — печати, собраній и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спѣшите... спѣшите...

Онъ помчался, за нимъ — Скобелевъ...

* * *

Куда спѣшить?

Я чувствовалъ ихъ, моихъ товарищей по Блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы подъ крылышкомъ Власти хвалить ее или порицать... Мы способны были въ крайнемъ случаѣ безболѣзнено пересѣсть съ депутатскихъ креселъ на министерскія скамьи... Подъ условіемъ, чтобы императорскій караулъ охранялъ насъ...

Но передъ возможнымъ паденіемъ Власти, передъ бездонной пропастью этого обвала, — у насъ кружилась голова и нѣмѣло сердце...

Безсиліе смотрѣло на меня изъ за бѣлыхъ колоннъ Таврическаго дворца. И былъ этотъ взглядъ презрителенъ до ужаса...

Послѣдніе дни „конституціи".

27-ое февраля 1917 года.

Я шелъ одинъ гдѣ-то у насъ на Волыни... Подходилъ къ какому то селу. Было ни день, ни ночь— свѣтлые ровные сумерки, но все было какъ бы безъ красокъ... И дорога, и село были какія то самыя обычныя... Вотъ первая хата... Она немножко поодаль отъ другихъ. Когда я поровнялся съ нею, вдругъ изъ деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя... Я хотѣлъ броситься въ хату — предупредить... Но не успѣлъ: вся соломенная крыша вспыхнула разомъ... Вся загорѣлась до послѣдней соломенки... Громаднымъ ярко-красно-желтымъ пламенемъ зарокотало, загудѣло... Я закричалъ отъ ужаса... Изъ хаты, не торопясь, вышла женщина...

Я бросился къ ней...

— Дітокъ, дітокъ! ратуй! (Спасай дѣтей) — закричалъ я ей по хохлацки.

Она ничего не отвѣтила, но смотрѣла на меня сурово. Я понялъ, что она мать и хозяйка... Но отчего она такъ разодѣта?... Какъ въ церковь... Важная, красивая и такая суровая...

— Дітокъ! — закричалъ я еще разъ...

Она только сдвинула брови... Я бросился въ хату.

Но въ это мгновеніе, разомъ вся, рухнула крыша... Хаты не стало... Бѣшенно пылалъ и ревѣлъ огромный пожаръ... Этотъ звукъ дѣлался все сильнѣе и переходилъ въ настойчивый рѣзкій звонъ...

Я проснулся...

* * *

Было девять часовъ утра... Неистово звонилъ телефонъ...

— Allo!

— Вы, Василій Витальевичъ?... Говоритъ Шингаревъ... Надо ѣхать въ Думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Полученъ указъ о роспускѣ Думы... Въ городѣ волненіе... Надо спѣшить... Занимаютъ мосты... Мы можемъ не добраться... Мнѣ прислали автомобиль. Приходите сейчасъ ко мнѣ... Поѣдемъ вмѣстѣ...

— Иду...

* * *

Это было 27-го февраля 1917 года. Уже нѣсколько дней мы жили на вулканѣ... Въ Петроградѣ не стало хлѣба — транспортъ сильно разладился изъ-за необычайныхъ снѣговъ, морозовъ и главное, конечно, изъ-за напряженія войны... Произошли уличные безпорядки... Но дѣло было, конечно, не въ хлѣбѣ... Это была послѣдняя капля... Дѣло было въ томъ, что во всемъ этомъ огромномъ городѣ нельзя было найти нѣсколько сотенъ людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не въ этомъ... Дѣло было въ томъ, что власть сама себѣ не сочувствовала...

Не было въ сущности ни одного министра, который вѣрилъ бы въ себя и въ то, что онъ дѣлаетъ...

Классъ былыхъ властителей сходилъ на нѣтъ... Никто изъ нихъ не способенъ былъ стукнуть ку-

лакомъ по столу... Куда ушло знаменитое Столыпинское „не запугаете"?.... Послѣднее время министры совершенно перестали даже приходить въ Думу.. Только А. А. Риттихъ самоотверженно отстаивалъ свою „хлѣбную разверстку".

Но, придя въ павильонъ министровъ послѣ своей послѣдней рѣчи, онъ разрыдался.

* * *

Мы жили съ А. И. Шингаревымъ въ одномъ домѣ на Большой Монетной № 22, на Петроградской сторонѣ... Это далеко отъ Таврическаго Дворца... Надо переѣхать Неву... Послѣднее время жизнь уже такъ расхлябалась въ Петроградѣ, что вопросъ о сообщеніяхъ сталъ серьезнымъ для тѣхъ, кто, какъ Шингаревъ и я, не имѣли своей машины...

* * *

Мы поѣхали... Шингаревъ говорилъ...

— Вотъ отвѣтъ!... До послѣдней минуты я все-таки надѣялся — ну вдругъ просвѣтитъ Господь Богъ — уступятъ... Такъ нѣтъ... Не осѣнило — распустили Думу... А вѣдь это былъ послѣдній срокъ... И согласіе съ Думой, какая она ни на есть — последняя возможность... избѣжать революціи...

— Вы думаете, началась революція?

— Похоже на то...

— Такъ вѣдь это — конецъ!

— Можетъ быть, и конецъ... а, можетъ быть, и начало...

— Нѣтъ, вотъ въ это я не вѣрю. Если началась революція, — это конецъ.

— Можетъ быть... Если не вѣрить въ чудо... А вдругъ будетъ чудо!... Во всякомъ случаѣ Дума

стояла между властью и революціей... Если насъ по шапкѣ, то придется стать лицомъ къ лицу съ улицей... А вѣдь... А вѣдь въ сущности надо было продержаться еще два мѣсяца...

— До наступленія?

— Конечно. Если бы наступленіе было неудачно, — все равно революціи не избѣжать... Но при удачѣ...

— Да, при удачѣ — все бы забылось.

* * *

Мы выѣхали на Каменноостровскій... Несмотря на ранній для Петрограда часъ, на улицахъ было масса народу... Откуда онъ взялся? Это производило такое впечатлѣніе, что фабрики забастовали... А можетъ быть и гимназіи... а можетъ быть и университеты...

Толпа усиливалась по мѣрѣ приближенія къ Невѣ... За памятникомъ „Стерегущему", не помѣщаясь на широкихъ тротуарахъ, она движущимся мѣсивомъ запрудила проспектъ...

Автомобиль сталъ...

Какіе то мальчишки — рабочіе, должно быть, подъ предводительствомъ студентовъ — распоряжались...

— Назадъ, моторъ! Проходу нѣтъ!

Шингаревъ высунулся въ окошко.

— Послушайте. Мы члены Государственной Думы. Пропустите насъ — намъ необходимо въ Думу.

Студентъ подбѣжалъ къ окошку.

— Вы, кажется, господинъ Шингаревъ?

— Да, да, я — Шингаревъ... пропустите насъ.

— Сейчасъ.

Онъ вскочилъ на подножку.

— Товарищи, — пропустить! Это члены Государственной Думы, — товарищъ Шингаревъ.

Бурлящее мѣсиво раздвинулось — мы поѣхали... Со студентомъ на подножкѣ. Онъ кричалъ, что это ѣдетъ „товарищъ Шингаревъ“, и насъ пропускали. Иногда отвѣчали:

— Ура, товарищу Шингареву!

Впрочемъ, ѣхать студенту было не долго. Автомобиль опять сталъ. Мы были уже у Троицкаго моста. Поперекъ его стояла рота солдатъ.

— Вы имъ скажите, что вы въ Думу — сказалъ студентъ. И исчезъ... Вмѣсто него около автомобиля появился офицеръ. Узнавъ, кто мы, онъ очень вѣжливо извинился, что задержалъ.

— Пропустить. Это члены Государственной Думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингаревъ сказалъ...

— Дума еще стоитъ между „народомъ“ и „властью“... Ее признаютъ оба... берега... пока...

На томъ берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это давно знакомое казалось жуткимъ... Что будетъ?

На Шпалерной мы встрѣтились съ похоронной процессіей... Хоронили члена Государственной Думы М. М. Алексѣенко... Жалѣть-ли или завидовать?...

* * *

Выраженіе „лица Думы“, этого знакомаго фасада съ колоннами, было странное... Такой она была въ 1907 году, когда я въ первый разъ увидалъ ее.. Въ ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздѣли насъ, какъ всегда... Залы были темноваты. Паркеты поблескивали, чуть отражая бѣлыя колонны...

* * *

Стали съѣзжаться... Дѣлились вѣстями — что происходитъ... Рабочіе собрались на Выборгской сторонѣ... Ихъ штабъ — вокзалъ, повидимому... Кажется, тамъ идутъ какіе-то выборы, летучіе выборы, поднятіемъ рукъ... Взбунтовался полкъ какой-то... Кажется, Волынскій... Убили командира... Казаки отказались стрѣлять... братаются съ народомъ... на Невскомъ баррикады...

О министрахъ ничего неизвѣстно... Говорятъ, что убиваютъ городовыхъ... Ихъ почему-то называютъ „фараонами"...

* * *

Стало извѣстно, что огромная толпа народу — рабочихъ, солдатъ и „всякихъ" идетъ въ Государственную Думу... Ихъ тысячь тридцать.

* * *

С. И. Шидловскій собралъ Бюро Прогрессивнаго Блока... И вотъ мы опять собрались въ той самой комнатѣ № 11, гдѣ собирались всегда, гдѣ принимались рѣшенія.. Рѣшенія, которыя привели къ этому концу, вѣрнѣе, не сумѣли предупредить этого конца.

Шидловскій, Шингаревъ, Милюковъ, Капнистъ II-ой, Львовъ В. Н., Половцевъ, я... еще нѣкоторые... Ефремовъ, Ржевскій, еще кто-то... Всѣ тѣ, кто вели Думу послѣдніе годы... И довели...

Засѣданіе открылось... Открылось подъ зна-

комъ того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что дѣлать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложилъ ничего заслуживающаго вниманія... Да и могли-ли предложить? Развѣ эти люди способны были управлять революціонной толпою, овладѣть ею? Мы могли подъ защитой ея же штыковъ говорить власти всякія горькія и дерзкія слова, и, ведя „констуціонную", т. е. словесную борьбу, удерживать массу отъ борьбы дѣйствіемъ...

— Мы будемъ бороться съ властью, чтобы армія, зная, что Государственная Дума на стражѣ,— могла спокойно дѣлать свое дѣло на фронтѣ, а рабочіе у станковъ могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будемъ говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я самъ изложилъ смыслъ борьбы въ своей рѣчи 3-го ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела къ цѣли.. Она не предотвратила революціи... А, можетъ быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопросъ повисъ надъ всѣми нами, собравшимися въ комнатѣ № 11... Но не всѣ его ощущали... Не всѣ понимали свое безсиліе... Нѣкоторые думали, что и теперь еще мы можемъ что- то сдѣлать, когда масса перешла къ „дѣйствіямъ"... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными крытыми зеленымъ бархатомъ столами, они думали, что „бюро прогрессивнаго блока" также можетъ управлять взбунтовавшейся Россіей, какъ оно управляло фракціями Государственной Думы.

Впрочемъ, я сказалъ, когда до меня дошла очередь...

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смыслъ прогрессивнаго блока былъ предупредить революцію и тѣмъ дать власти возможность довести войну до конца... Но разъ цѣль не удалась... А она не удалась — потому что эта тридцатитысячная толпа — это революція... Намъ остается одно... Думать о томъ, какъ кончить съ честью...

Мы, конечно, ничего не рѣшили въ комнатѣ № 11...

* * *

Потомъ было засѣданіе въ кабинетѣ предсѣдателя Думы... Это было засѣданіе старѣйшинъ... Тутъ были представители всѣхъ фракцій, а не только фракцій прогрессивнаго блока...

Предсѣдательствовалъ Родзянко...

Шелъ вопросъ, какъ быть... Съ одной стороны Императорскій Указъ о роспускѣ (прекращеніе сессіи), а съ другой надвигающаяся стихія...

Въ огромное, во всю стѣну кабинета, зеркало отражался этотъ взволнованный столъ... Мощный затылокъ Родзянки и всѣ остальные... Чхеидзе, Керенскій, Милюковъ, Шингаревъ, Некрасовъ, Ржевскій, Ефремовъ, Шидловскій, Капнистъ, Львовъ, князь Шаховской... Еще другіе...

Вопросъ стоялъ такъ: не подчиниться Указу Государя Императора, т. е. продолжать засѣданія Думы, — значитъ стать на революціонный путь... Оказавъ неповиновеніе Монарху, Государственная Дума тѣмъ самымъ подняла-бы знамя возстанія и должна была бы стать во главѣ этого возстанія со всѣми его послѣдствіями...

* * *

На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство изъ насъ, вплоть до кадетъ, были совершенно неспособны... Мы были прежде всего лойяльнымъ элементомъ... Въ насъ уваженіе къ Престолу переплелось съ протестомъ противъ того пути, которымъ шелъ Государь, ибо мы знали, что это путь къ пропасти... Поэтому, вся работа Думы прошла подъ этимъ знакомъ... При докладахъ Царю всѣ, кто зависѣли или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же: этотъ путь ведетъ династію къ гибели... Открыто-же въ своихъ рѣчахъ въ Думѣ — мы бранили министровъ... При этой травлѣ, однако, не переходили конституціонной грани и не затрагивали Монарха... Это было основное требованіе Родзянки и большинства Думы, которому должны были подчиниться всѣ... Только разъ Милюковъ прочелъ какую-то цитату изъ газеты по нѣмецки, въ которой говорилось о „кружкѣ молодой Государыни“.. Но это былъ выплескъ, отклоненіе отъ основного пути...

* * *

Я не помню, что говорилось. Но помню рѣшеніе: „Императорскому Указу о роспускѣ подчиниться — считать Государственную Думу не функціонирующей, но членамъ Думы не разъѣзжаться и немедленно собраться на „частное совѣщаніе“.

Чтобы подчеркнуть, что это частное совѣщаніе членовъ Думы, а не засѣданіе Государственной Думы, какъ таковой, рѣшено было собраться не въ большомъ Бѣломъ Залѣ, а въ „Полуциркульномъ“...

* * *

Онъ едва вмѣстилъ насъ: вся Дума была налицо. За столомъ были Родзянко и старѣйшины. Кругомъ сидѣли и стояли, столпившись, стѣснившись остальные... Встревоженные, взволнованные, какъ-то душевно прижавшіеся другъ къ другу... Даже люди, много лѣтъ враждовавшіе, почувствовали вдругъ, что есть нѣчто, что всѣмъ одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нѣчто — была улица... уличная толпа... Ея приближавшееся дыханіе уже чувствовалось... Съ улицей шествовала Та, о которой очень немногіе подумали тогда, но очень многіе, навѣрное, ощутили ее безсознательно. Потому-что они были блѣдны съ тайно сжимающимися сердцами. . По улицѣ, окруженная многотысячной толпой, шла Смерть...

* * *

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старѣйшинъ человѣческой гущѣ, втиснутой въ „полуциркульную" рамку зала, Родзянко доложилъ, что произошло... И поставилъ вопросъ: „что дѣлать?"

Въ отвѣтъ на это, то тамъ, то здѣсь, то справа, то слѣва просили слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?...

Я не знаю. Не помню. „Что-то"... Кажется, кто-то предложилъ Государственной Думѣ объявить себя Властью... Объявить, что она не разойдется, не подчиниться Указу... Объявить себя Учредительнымъ Собраніемъ... Это не встрѣтило, не могло встрѣтить поддержки... Кажется, отвѣчалъ Милюковъ... Во всякомъ случаѣ Милюковъ говорилъ, рекомендуя осторожность, рекомендуя не прини-

мать слишкомъ поспѣшныхъ рѣшеній, въ особенности, когда мы еще не знаемъ, что происходитъ и такъ ли это, какъ говорятъ, старая Власть пала, что ея больше нѣтъ, когда мы вообще еще не разобрались въ обстановкѣ и не знаемъ, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движеніе. .

Кто-то говорилъ и требовалъ, чтобы Дума сказала, съ кѣмъ она: со старою Властью или съ народомъ? Съ тѣмъ народомъ, который идетъ сюда, который сейчасъ будетъ здѣсь и которому надо дать отвѣтъ.

Въ эту минуту около дверей заволновались. затолпились, раздался какой то повышенный разговоръ, потомъ разступились, и въ залъ вбѣжалъ офицеръ...

Онъ перебилъ засѣданіе громкимъ заскакивающимъ голосомъ:

— Господа члены Думы, — я прошу защиты!... Я — начальникъ караула, вашего караула, охранявшаго Государственную Думу... Ворвались какіе-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотѣли убить меня... Я едва спасся... Что же это такое? Помогите...

Это бросило въ взволнованную человѣческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко отвѣтилъ ему, что онъ въ безопасности — можетъ успокоиться...

Въ эту минуту заговорилъ Керенскій.

— Происшедшее подтверждаетъ, что медлить нельзя!...

Я постоянно получаю свѣдѣнія, что войска волнуются... Они выйдутъ на улицу... Я сейчасъ ѣду

по полкамъ!.. Необходимо, чтобы я зналъ, что я могу имъ сказать. Могу ли я сказать, что Государственная Дума съ ними, что она беретъ на себя отвѣтственность, что она становится во главѣ движенія?..

Не помню, получилъ ли отвѣтъ Керенскій... Кажется нѣтъ... Но его фигура вдругъ выросла въ „значительность“ въ эту минуту... Онъ говорилъ рѣшительно, властно, какъ бы не растерявшись... Слова и жестъ были рѣзки, отчеканены, глаза горѣли...

— Я сейчасъ ѣду по полкамъ...

Казалось, что это говорилъ „власть имѣющій“...

— Онъ у нихъ — диктаторъ... — прошепталъ кто-то около меня.

Кажется, въ эту минуту, а можетъ быть раньше, я попросилъ слова...

У меня было ощущеніе, что мы падаемъ въ пропасть. Безсознательно я приготовился къ смерти. И мнѣ, очевидно, хотѣлось сказать намъ всѣмъ эпитафію, сказать, что мы умираемъ такими, какъ жили.

— Когда говорятъ о тѣхъ, кто идетъ сюда, то надо прежде всего знать — кто они? Враги или друзья?.. Если они идутъ сюда, чтобы продолжать наше дѣло — дѣло Государственной Думы, дѣло Россіи, если они идутъ сюда, чтобы еще разъ съ новой силой провозгласить нашъ девизъ: „все для войны“, — то тогда они наши друзья, тогда мы съ ними... Но если они идутъ съ другими мыслями, то они друзья нѣмцевъ... и намъ нужно сказать имъ прямо и твердо: — вы — враги, мы не только не съ вами, мы противъ васъ!

Кажется, это заявленіе произвело нѣкоторое впечатлѣніе, но не имѣло послѣдствій.. Керенскій еще что-то говорилъ... Онъ стоялъ, готовый къ отъѣзду, рѣшительный, бросающій рѣзкія слова, чуть презрительный...

Онъ росъ... Росъ на начавшемся революціонномъ болотѣ, по которому онъ привыкъ бѣгать и прыгать, въ то время какъ мы не умѣли даже ходить...

* * *

Кто-то предложилъ въ горячей рѣчи, что всѣмъ членамъ Думы въ это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство — всѣмъ, безъ различія партій, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы, необходимо выбрать комитетъ, которому вручить „диктаторскую власть"... Всѣ члены Думы, обязаны безпрекословно повиноваться комитету...

Это предложеніе въ этой взволнованной, напуганной атмосферѣ встрѣтило всеобщую поддержку... Диктатура есть функція опасности: такъ было — такъ будетъ...

Съ большимъ единодушіемъ, подавляющимъ числомъ голосовъ были избраны слѣва направо:

Чхеидзе — соціалъ-демократъ.
Керенскій — трудовикъ.
Ефремовъ — прогрессистъ.
Ржевскій — прогрессистъ.
Милюковъ — кадетъ.
Некрасовъ — кадетъ.
Шидловскій Сергѣй — лѣвый октябристъ.
Родзянко — октябристъ-земецъ.
Львовъ Владиміръ — центръ.
Шульгинъ — націоналистъ (прогрессистъ).

Въ сущности это было бюро прогрессивнаго блока съ прибавленіемъ Керенскаго и Чхеидзе. Это было расширеніе блока налѣво, о которомъ я когда-то говорилъ съ Шингаревымъ, — но, увы, при какой обстановкѣ произошло это расширеніе...

Страхъ передъ Улицей загналъ въ одну „коллегію“ Шульгина и Чхеидзе..

* * *

А Улица надвигалась и вдругъ обрушилась...

* * *

Эта тридцатитысячная толпа, которой грозили съ утра, оказалась не миѳомъ, не выдумкой отъ страха...

И это случилось именно, какъ обвалъ, какъ наводненіе... Говорятъ (я не присутствовалъ при этомъ), что Керенскій изъ первой толпы солдатъ, поползшихъ на крыльцо Таврическаго Дворца, пытался создать „первый революціонный караулъ“...

— Граждане солдаты, великая честь выпадаетъ на вашу долю — охранять Государственную Думу... Объявляю васъ первымъ революціоннымъ карауломъ! ..

Но этотъ „первый революціонный караулъ“ не продержался и первой минуты... Онъ сейчасъ-же былъ смятъ толпой...

* * *

Я не знаю. какъ это случилось... Я не могу припомнить... Я помню уже то мгновеніе, когда черно-сѣрая гуща, прессуясь въ дверяхъ, непрерывнымъ врывающимся потокомъ, затопляла Думу ..

Солдаты, рабочіе, студенты, интеллигенты, просто люди... Живымъ, вязкимъ человѣческимъ по-

видломъ они залили растерянный Таврическій Дворецъ, залѣпили залъ за заломъ, комнату за комнатой, помѣщеніе за помѣщеніемъ...

* * *

Съ перваго же мгновенія этого потопа, — отвращеніе залило мою душу, и съ тѣхъ поръ оно не оставляло меня во всю длительность „великой“ русской революціи.

Безконечная, неисчерпаемая струя человѣческаго водопровода бросала въ Думу все новыя и новыя лица... Но сколько ихъ не было — у всѣхъ было одно лицо: гнусно-животно тупое или гнусно-дьявольски-злобное...

Боже, какъ это было гадко!... Такъ гадко, что, стиснувъ зубы, я чувствовалъ въ себѣ одно тоскующее, безсильное и потому еще болѣе злобное бѣшенство...

— Пулеметовъ!

Пулеметовъ — вотъ чего мнѣ хотѣлось. Ибо я чувствовалъ, что только языкъ пулеметовъ доступенъ уличной толпѣ и что только онъ, свинецъ, можетъ загнать обратно въ его берлоги вырвавшагося на свободу страшнаго звѣря...

Увы — этотъ звѣрь былъ... Его Величество, русскій народъ!...

То, чего мы такъ боялись, чего во что бы то ни стало хотѣли избѣжать, уже было фактомъ. Революція началась.

* * *

Съ этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если такъ можно

выразиться. Ибо эта ужасная человѣческая эссенція, эта вѣчно снующая, все заливающая до послѣдняго угла толпа солдатъ, рабочихъ и всякаго сброда — заняла всѣ помѣщенія, всѣ залы, всѣ комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своимъ безсмысленнымъ присутствіемъ, непрерывнымъ гамомъ тысячъ людей она парализовала-бы насъ, даже въ томъ случаѣ, если бы мы способны были что-нибудь дѣлать... Вѣдь и найти другъ друга въ этомъ морѣ людей было почти невозможно...

* * *

Впрочемъ еще нѣкоторое время продержался такъ называемый „Кабинетъ Родзянки". Всѣ остальные комнаты и залы въ томъ числѣ, конечно, огромный Екатерининскій залъ были залиты народомъ... Кабинетъ Родзянки еще пока удавалось отстаивать, и тамъ собирились мы — „комитетъ Государственной Думы."

* * *

Комитетъ Государственной Думы былъ созданъ первоначально для руководства членами Государственной Думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчасъ же стало ясно, что его обязанности будутъ шире... Со всѣхъ сторонъ доходили вѣсти, что власти больше нѣтъ, что войска взбунтовались, но что всѣ они „за Государственную Думу"... Что вообще „революціонная" столица за Государственную Думу... Это давало надежды какъ-нибудь, быть можетъ, овладѣть движеніемъ, стать во главѣ его, не дать разыграться анархіи.

Поэтому въ первый же набросокъ о задачахъ комитета было включено, что комитетъ образовался для поддержанія порядка въ столицѣ и для „сношеній съ учрежденіями и лицами."

Меня лично въ эти минуты больно мучилъ вопросъ: что будетъ съ фабриками и заводами? Не разрушитъ ли „революціонный народъ" всѣ тѣ приспособленія, машины, станки и оборудованія, которые съ такой энергіей вызвалъ къ жизни генералъ Маниковскій по приказанію „Особаго совѣщанія по государственной оборонѣ." Поэтому, по моему предложенію первое обращеніе, которое выпустилъ комитетъ, — былъ призывъ беречь фабрики. заводы и все прочее...

* * *

Затѣмъ обсуждалось „положеніе"...

* * *

Положеніе!...

Покрывая непрерывный ревъ человѣческаго моря, въ кабинетъ Родзянки ворвались крикливые звуки мѣди...

Марсельеза...

Вотъ мы гдѣ! Вотъ каково „положеніе!"

Contre le joug de la tyrannie
L'entendart sangland est levé!

Доигрались. Революція по всей „французской формѣ!"

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons
Marchons, marchons qu'un sang impur
Abreuve vos sillons.

Чья „нечистая кровь“ должна пролиться? Чья?

„Ура“ такое, что казалось, нѣтъ ему ни конца, ни края, залило воздухъ какою то темною, дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетаютъ какіе-то выкрики...

Это рѣчь?... Да...

И опять... Опять это ни съ чѣмъ несоизмѣримое ура. И на фонѣ его рѣзкая мѣдь выкрикиваетъ свои фанфарныя слова:

Entendez vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats:
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.

* * *

Я помню во весь этотъ день и слѣдующіе — ощущеніе близости смерти и готовности къ ней...

Умереть? Пусть.

Лишь бы не видѣть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этихъ мерзостныхъ рѣчей, не слышать воя этого подлаго сброда!

Ахъ, пулеметовъ—сюда, пулеметовъ!...

* * *

Но пулеметовъ у насъ не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всѣхъ насъ было то, что мы не обезпечили себѣ никакой реальной силы. Если бы у насъ былъ хоть одинъ полкъ, на который мы могли твердо опереться и одинъ рѣшительный генералъ — дѣло могло бы обернуться иначе.

Но у насъ ни полка, ни генерала не было... И болѣе того — не могло быть...

Въ то время въ Петроградѣ „вѣрной“ воинской части уже или еще не существовало...

* * *

Офицеры? О нихъ рѣчь впереди. Да и никому въ то время „опереться на офицерскія роты“ въ голову не приходило...

Кромѣ того...

Кромѣ того, хотя я, конечно, былъ не одинъ, который такъ чувствовалъ, т.-е. чувствовалъ, что это конецъ... чувствовалъ острую ненависть къ революціи съ перваго же дня ея появленія... я вѣдь имѣлъ хорошую подготовку... я ненавидѣлъ ее смертельно еще съ 1905 года... Хотя я, конечно, былъ не одинъ... но все же насъ было немного... Почти всѣ еще не понимали, еще находились въ... дурманѣ..

Нѣтъ, полка у насъ не могло быть...

* * *

Полиція?

Да, пожалуй...

Но вѣдь развѣ мы то сами были къ чему нибудь такому годны? Развѣ мы понимали?.. Развѣ мы были способны въ то время „молніеносно“ оцѣнить положеніе, предвидѣть будущее, принять рѣшеніе и выполнить за свой страхъ и рискъ?

Тотъ между нами, кто это сдѣлалъ бы, — былъ бы Наполеономъ, Бисмаркомъ или Столыпинымъ... Но между нами такихъ не было...

Да, подъ прикрытіемъ ея штыковъ мы краснорѣчиво угрожали власти, которая насъ же охраняла...

Но говорить со штыками лицомъ къ лицу... Да еще съ взбунтовавшимися штыками...

Нѣтъ, на это мы были не способны...

Безпомощные — мы даже не знали, какъ къ этому приступить... Какъ заставить себѣ повиноваться? Кого? Противъ кого? И во имя чего?

* * *

Межъ тѣмъ въ сущности въ этомъ былъ вопросъ... Надо было заставить кого-то повиноваться себѣ, чтобы посредствомъ повинующихся раздавить нежелающихъ повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понималъ... И еще менѣе могъ кто-нибудь выполнить...

* * *

На революціонной трясинѣ привычный къ этому дѣлу танцовалъ одинъ Керенскій...

Онъ выросталъ съ каждой минутой...

* * *

Революціонное человѣческое болото, залившее насъ, все же имѣло какія-то кочки.. Эти „кочки опоры", на которыхъ нельзя было стоять, но по которымъ можно было перебѣгать, — были тѣ революціонныя связи, которыя Керенскій имѣлъ: это были люди, отчасти связанные въ какую-то организацію, отчасти не связанные, но признававшіе его авторитетъ. Вотъ почему на первыхъ порахъ революціи (помимо его личныхъ качествъ какъ первоклассснаго актера) — Керенскій сыгралъ такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тутъ требуется нѣкоторое уточненіе: я хочу сказать, бы-

ли вооруженные люди, которые его слушались. Ибо въ революціонное время люди только тѣ, кто держитъ въ рукахъ винтовку. Остальные— это мразь, пыль, по которой ступаютъ эти — „винтовочные“.

* * *

Правда, „вооруженные люди Керенскаго“ не были ни полкомъ, ни какой либо „частью“, вообще — ничѣмъ прочнымъ. Это были какія-то случайно сколотившіяся группы... Это были только „кочки опоры“... Но все-же онѣ у него были, и это было настолько больше наличности, имѣвшейся у насъ, всѣхъ остальныхъ, насколько нѣчто больше нуля...

* * *

Кому я, напримѣръ, могъ что-нибудь приказать? Своимъ же — членамъ Государственной Думы? Но, вѣдь, они не были вооружены. А если бы были? неужели можно было составить батальонъ изъ дряхлыхъ законодателей?

По психологіи, наступившей черезъ годъ (время Корниловской эпопеи), можетъ быть и можно бы было. Тогда предсѣдатель Государственной Думы и нѣсколько ея членовъ сдѣлали Корниловскій походъ. Но 27-го февраля 1917 года? Я убѣжденъ что, если бы самъ Корниловъ былъ членомъ Государственной Думы, — ему это не пришло-бы въ голову.

Впрочемъ, нѣчто въ этомъ родѣ пришло въ голову черезъ нѣсколько дней члену Государственной Думы казаку Караулову. Онъ задумалъ „арестовать всѣхъ“ и объявить себя диктаторомъ. Но

когда онъ повелъ такія рѣчи въ одномъ наиболѣе „надежномъ“ полку, онъ увидѣлъ, что если онъ не перестанетъ — то ему самому не сдобровать... Такой же пріемъ ожидалъ каждаго изъ насъ... Кому могъ приказать Милюковъ? Своимъ „кадетамъ“? Это народъ не винтовочный...

* * *

А у Керенскаго были какія-то маленькія зацѣпки... Онѣ не годились ни для чего крупнаго. Но онѣ давали какую-то иллюзію власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся и самой себѣ импонирующей натуры Керенскаго было достаточно... Какія-то группы вооруженныхъ людей пробивались къ нему сквозь человѣческое мѣсиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что дѣлать, какъ „защищать свободу“, кого схватить?.. Керенскій вдругъ почувствовалъ себя „тѣмъ, кто приказываетъ“... Вся внѣшность его измѣнилась... Тонъ сталъ отрывистъ и повелителенъ...

„Движенія быстры“...

* * *

Я не знаю, по его ли приказанію, или по принципу „самозарожденія“, но по всей столицѣ побѣжали добровольные жандармы „арестовывать“... Во главѣ какой-нибудь студентъ, вмѣсто офицера, и группка „винтовщиковъ“ — солдатъ или рабочихъ, чаще тѣхъ и другихъ... Они врывались въ квартиры, хватали „прислужниковъ стараго режима“ и волокли ихъ въ Думу.

Однимъ изъ первыхъ былъ доставленъ Щегловитовъ, предсѣдатель Государственнаго Совѣта, бывшій министръ юстиціи, тотъ министръ, при которомъ былъ процессъ Бейлиса (— не потому ли

онъ былъ схваченъ первымъ?). Тутъ въ первый разъ Керенскій „развернулся".

Группка, тащившая высокаго сѣдого Щегловитова, пробивалась сквозь мѣсиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важнаго... Керенскій, извѣщенный объ этомъ, рѣзалъ толпу съ другой стороны... Они сошлись...

Керенскій остановился противъ „бывшаго сановника" съ видомъ вдохновеннымъ:

— Иванъ Григорьевичъ Щегловитовъ — вы арестованы!

Властныя, грозныя слова... „Ликъ его ужасенъ".

— Иванъ Григорьевичъ Щегловитовъ... Ваша жизнь въ безопасности... Знайте: Государственная Дума не проливаетъ крови.

Какое великодушіе... „Онъ прекрасенъ..."

* *
*

Въ этомъ сказался весь Керенскій: актеръ до мозга костей, но человѣкъ съ искреннимъ отвращеніемъ къ крóви въ кровú.

Ecclesia abhorret sanguinem —

Такъ говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы...

Такъ и Керенскій: сжигая Россію на кострѣ „свободы" провозглашалъ:

— Дума не проливаетъ крови...

* *
*

Но, какъ бы тамъ ни было, лозунгъ былъ данъ. Лозунгъ былъ данъ, и данъ въ формѣ декоративно-драматической, повліявшей на умы и сердца...

Сколькимъ это спасло тогда жизнь.

* *
*

Комитетъ Государственной Думы все засѣдалъ, что-то выробатывая. Было уже поздно... Мнѣ ужасно захотѣлось ѣсть. И при томъ надо было посмотрѣть, что дѣлается... Я сталъ пробиваться къ буфету.

Все было забито народомъ. Въ большомъ Бѣломъ залѣ (залъ засѣданій Государственной Думы) шелъ непрерывный митингъ... Въ огромномъ Екатерининскомъ — стояли, какъ въ церкви... Въ Кругломъ, около входа — непрерывный водоворотъ. А изъ вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, имъ не можетъ быть конца...

Чтобы пробиться, куда мнѣ было нужно, надо было включиться въ благопріятный человѣческій потокъ... Иначе никакъ нельзя было... Такъ должны были мы передвигаться — мы, хозяева, члены Государственной Думы. Я толкался среди этой безсмысленной толпы, своимъ нелѣпымъ присутствіемъ парализовавшей всякую возможность что-нибудь дѣлать... Тоска и бѣшенство безсилія терзали меня...

Наконецъ, потокъ вынесъ меня въ длинный коридоръ, который черезъ весь корпусъ Думы ведетъ къ ресторану... Я двигался медленно; въ одномъ мѣстѣ застрялъ... Чтобы не видѣть хоть минуту всѣхъ этихъ гнусныхъ лицъ, — я отвернулся къ окну... Увы, тамъ, — тамъ еще хуже... Сплошная толпа сѣро-рыжей солдатни и черноватаго штатско-рабочеподобнаго народа залила весь огромный дворъ и толкалась тамъ... Минутами толпу прорѣзали кошмарныя огромныя животныя, ощетиненныя и оглушительно-рычащія... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революціон-

ными борцами... Штыки торчали во всѣ стороны, огромные красные флаги вились надъ ними... Какое отвращеніе...

Вдругъ кто-то, стоявшій рядомъ со мной, сказалъ что-то. Я посмотрѣлъ на него. Это былъ солдатъ. Хмурый, какъ и я, онъ смотрѣлъ въ окно. Потомъ повернулся ко мнѣ. Лицо у него было какое-то „не въ себѣ“. Встрѣтившись со мною глазаим и, очевидно, что-то сообразивъ, онъ сказалъ, какъ бы продолжая то, что онъ бормоталъ:

— А у васъ тутъ — нѣтъ? Въ Государственной Думѣ?

Сначала я подумалъ, что онъ навѣрное проситъ папиросъ... Но вдругъ понялъ, что это другое...

— Чего — нѣтъ? Что вы хотите?

Онъ смотрѣлъ въ окно... Мазалъ пальцемъ по стеклу... Потомъ сказалъ нехотя:

— Да офицеро́въ...

— Какихъ офицеровъ?

— Да какихъ-нибудь... Чтобъ были подходящіе...

Я удивился. А онъ продолжалъ, чуть оживившись...

— Потому какъ я нашимъ ребятамъ говорилъ: не будетъ такъ ладно, чтобъ совсѣмъ безъ офицеровъ... Они, конечно, серчаютъ на нашихъ.. Дѣйствительно, бываетъ... Ну а какъ же такъ совсѣмъ безъ нихъ? Нельзя такъ... Для порядку надо-бы, чтобъ тебѣ былъ офицеръ... Можетъ у васъ въ Государственной Думѣ найдутся какіе — подходящіе?

* * *

На всю жизнь остались у меня въ памяти слова этого солдата. Они искали въ Думѣ „подходящихъ офицеровъ“... Не нашли... И не могли найти... У Думы „своего офицерства“ не было... Ахъ, если бы оно было... Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленное, насколько была мобилизована „противоположная сторона“... Тогда борьба была бы возможна...

* * *

А „противоположная сторона“ не дремала. Во всемъ городѣ, во всѣхъ казармахъ и заводахъ шли „летучіе выборы“... Отъ каждой тысячи по одному... Поднятіемъ рукъ... Выбирали солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ... „Организовывали“ массу... То-есть, другими словами, работали надъ тѣмъ, чтобы подчинить ее себѣ...

А мы? Мы весьма плохо подозрѣвали, что это дѣлается, и во всякомъ случаѣ не имѣли понятія о томъ, какъ это дѣлается, и безусловно не имѣли никакого плана и мысли, какъ съ этимъ бороться...

* * *

Въ буфетѣ, переполненномъ, какъ и всѣ комнаты, я не нашелъ ничего: все съѣдено и выпито до послѣдняго стакана чая... Огорченный ресторанторъ сообщилъ мнѣ, что у него раскрали всѣ серебряныя ложки...

Это было начало: такъ „революціонный народъ“ ознаменовалъ зарю своего „освобожденія“. А я понялъ, отчего вся эта многотысячная толпа имѣла одно общее неизреченно-гнусное лицо: вѣдь это были воры — въ прошломъ, грабители — въ будущемъ... Мы какъ разъ были на переломѣ, когда

они мѣняли фазу... Революція и состояла въ томъ, что воришки перешли въ слѣдующій классъ: стали грабителями.

* * *

Я пошелъ обратно. Въ входныя двери все продолжала хлестать струя человѣческаго прилива. Я смотрѣлъ на нихъ и думалъ: „опоздали, голубчики, — серебро уже раскрали"... Какъ я ихъ ненавидѣлъ! Старая ненависть, ненависть 1905 года — бросилась мнѣ въ голову...

* * *

Въ одной проходной небольшой комнатѣ былъ клубокъ людей, чего-то особенно волновавшихся... Центромъ этого клубка былъ человѣкъ въ зимнемъ пальто и кашнэ, нѣсколько растрепанный, сѣдой, но еще молодой. Онъ что-то кричалъ, а къ нему приставали. Вдругъ, онъ увидѣлъ какъ бы якорь спасенія, очевидно, узналъ кого-то. Этотъ кто-то былъ Милюковъ, пробивавшійся черезъ толпу куда-то, бѣлый какъ лунь, но чисто выбритый и „съ достоинствомъ". Человѣкъ слегка растрепанный бросился къ сохранившемуся Милюкову.

— Павелъ Николаевичъ! Что они отъ меня хотятъ? Я полгода былъ въ тюрьмѣ, меня вотъ оттуда вытащили, притащили сюда и требуютъ, чтобы я сталъ „во главѣ движенія". Какого движенія? Что происходитъ? Я вѣдь ничего не знаю... Что такое? Что отъ меня нужно?

Я не слышалъ, что отвѣтилъ ему Милюковъ... Но когда послѣдній проплывалъ мимо меня, освободившись, я спросилъ его — кто этотъ человѣкъ.

— Развѣ вы не знаете? Это Хрусталевъ-Носарь *)...

Въ это же мгновеніе какой-то удивительно-противный, сухой, маленькій, бритый, съ лицомъ, какъ бываетъ у куплетистовъ скверныхъ шантановъ, протискался къ Милюкову:

— Позвольте вамъ представиться, Павелъ Николаевичъ, — вашъ злѣйшій врагъ...

Онъ сказалъ свою фамилію и исчезъ, а Милюковъ сказалъ мнѣ:

— Этого вы навѣрное не знаете... Это Сухановъ-Гиммеръ, журналистъ...

— Почему онъ вашъ „злѣйшій врагъ?".

— Онъ — „пораженецъ"... Злостный „пораженецъ"...

* * *

Я не помню. Можетъ быть, кто-нибудь помнитъ... Въ газетахъ того времени, вѣроятно, есть подробности... У меня отъ этого дня осталась въ памяти только эта толпа, залившая Таврическій Дворецъ, какимъ-то сѣрымъ движущимся кошмаромъ, кошмаромъ говорящимъ, кричащимъ, штыками торчащимъ, порой извергающимъ изъ желтыхъ трубъ марсельезу...

* * *

Въ этой толпѣ, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, какъ будто насъ перенесли вдругъ въ совсѣмъ какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его привѣтствовали такъ, какъ лю-

*) Глава революціи 1905 года. Въ 1919 г. разстрѣлянъ большевиками за то, что въ 1918 году издалъ брошюру: „Какъ Лейба Троцкій распродавалъ Россію".

ди встрѣчаютъ соотечественниковъ на чужбинѣ и при томъ на враждебной чужбинѣ...

* * *

Къ вечеру, кажется, стало извѣстно, что стараго правительства нѣтъ... Оно попросту разбѣжалось по квартирамъ... Не было оказано никакого сопротивленія... Въ этотъ день, если не ошибаюсь, никого не арестовали изъ министровъ... Правительство ушло, какъ будто даже раньше, чѣмъ кто-либо этого потребовалъ.

* * *

Не стало и войскъ... То-есть, весь гарнизонъ перешелъ на сторону „возставшаго народа"... Но вмѣстѣ съ тѣмъ войска, какъ будто стояли „за Государственную Думу"... Здѣсь начиналось смѣшеніе... Выходило такъ, что и Государственная Дума „возстала", и что она „центръ движенія"... Это было невѣрно... Государственная Дума не возставала... Но это паломничество солдатъ на „поклоненіе Государственной Думѣ" создавало двусмысленное положеніе.

Родзянко то и дѣло вызывали на крыльцо, потому что та или иная „часть" пришла привѣтствовать Государственную Думу... Родзянко выходилъ, говорилъ о вѣрности Родинѣ и о спасеніи Россіи... Его слова пропускали мимо ушей, но въ Думѣ видѣли новую власть — это было ясно...

* * *

И ужасъ былъ въ томъ, что этотъ токъ симпатій къ Государственной Думѣ, принимавшій порой трогательныя формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться...

Во-первыхъ потому, что мы не умѣли этого сдѣлать...

Во-вторыхъ, потому, что эти привѣтствовавшіе — привѣтствовали Думу, какъ символъ революціи, а вовсе не изъ уваженія къ ней самой...

Въ-третьихъ, потому, что во всю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укрѣплять власть Государственной Думы, стоявшей на патріотической почвѣ... Это была рука будущихъ большевиковъ, несомнѣнно и тогда руководимыхъ нѣмцами...

Въ-четвертыхъ, потому, что эти войска были уже не войска, а банды вооруженныхъ людей безъ дисциплины и почти безъ офицеровъ...

И тѣмъ не менѣе...

И тѣмъ не менѣе, когда стало очевидно, что Правительства больше нѣтъ, стало ясно и другое: что безъ правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому „комитету Государственной Думы", къ которому начали бросаться со всѣхъ сторонъ за указаніями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

Родзянко долго не рѣшался. Онъ все допытывался, что это будетъ — бунтъ или не бунтъ?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщикъ, никакой революціи я не дѣлалъ и не хочу дѣлать. Если она сдѣлалась, то именно потому, что насъ не слушались... Но я не революціонеръ. Противъ Верховной Власти я не пойду. Не хочу идти. Но съ другой стороны. Вѣдь правительства нѣтъ. Ко мнѣ рвутся со всѣхъ сторонъ... Всѣ телефоны обрываютъ. Спрашиваютъ, что дѣлать. Какъ же быть? Отойти

въ сторону? Умыть руки? Оставить Россію безъ правительства? Вѣдь это Россія-же, наконецъ!... Есть же у насъ долгъ передъ Родиной?!. Какъ же быть? Какъ же быть?

Спрашивалъ онъ и у меня. Я отвѣтилъ совершенно неожиданно для самого себя совершенно рѣшительно.

— Берите, Михаилъ Владиміровичъ. Никакого въ этомъ нѣтъ бунта. Берите, какъ вѣрноподданный.. Берите, потому что Держава Россійская не можетъ быть безъ власти... И если министры сбѣжали, то долженъ же кто-то ихъ замѣнить... Вѣдь сбѣжали? Да или нѣтъ?

— Сбѣжали... Гдѣ находится предсѣдатель Совѣта министровъ — неизвѣстно. Его нельзя разыскать... Точно также и министръ внутреннихъ дѣлъ .. Никого нѣтъ... Кончено!...

— Ну, если кончено, такъ и берите. Положеніе ясно. Можетъ быть два выхода: все обойдется — Государь назначитъ новое правительство — мы ему и сдадимъ власть... А не обойдется, такъ если мы не подберемъ власть, то подберутъ другіе, тѣ, которые выбрали уже какихъ-то мерзавцевъ на заводахъ.. Берите, вѣдь наконецъ, чертъ ихъ возьми, что же намъ дѣлать, если Императорское Правительство сбѣжало такъ, что собаками ихъ не сыщешь!...

Я вдругъ разозлился. И въ самомъ дѣлѣ. Хороши мы, но хороши и наши министры!... Упрямились, упрямились, довели до чертъ знаетъ чего, и тогда сбѣжали, предоставивъ намъ раздѣлываться съ взбунтовавшимся стотысячнымъ гарнизономъ, не считая всего остального сброда, который залѣпилъ

насъ по самыя уши... Называется правительство Великой Державы. Слизь, а не люди...

* * *

Съ этой минуты во мнѣ произошелъ какой-то внутренній переломъ... Я сталъ искать выхода... Какого-нибудь выхода...

* * *

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митингъ въ Думѣ, и хлещущая толпа черезъ всѣ залы. Прибывающія части съ марсельезой. Звонки телефоновъ. Десятки, сотни растерянныхъ людей, требовавшихъ отвѣта — что дѣлать... Кучки вооруженныхъ, приводившихъ арестованныхъ... Къ этому надо прибавить писаніе „воззваній" отъ комитета Государственной Думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу въ Ставку съ требованіемъ немедленно на что-нибудь рѣшиться, что-то сдѣлать, дѣйствовать...

Увы. Какъ потомъ стало извѣстно, въ этотъ день Государыня Александра Ѳеодоровна телеграфировала Государю, что „уступки необходимы".

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этотъ совѣтъ долженъ былъ быть поданъ осенью 1915 года. „Уступками" надо было расплатиться тогда — за великое отступленіе „безъ снарядовъ". Уплатить по этому счету и предлагало большинство 4-й Государственной Думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерній отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цѣна „уступкамъ" стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?...

* * *

Кажется, этой ночью Дума вродѣ какъ бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатскій таборъ ночевалъ въ Думѣ... Въ сѣняхъ стояли пулеметы... Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной Думы... Подъ утро, выбившись изъ силъ, мы дремали въ креслахъ въ полукруглой комнатѣ, примыкающей къ кабинету Родзянки — въ „кабинетѣ Волконскаго"... Просыпаясь отъ времени до времени, я думалъ о томъ, что можно сдѣлать?.. Гдѣ выходъ, гдѣ выходъ?...

* * *

Я отчетливо понималъ и тогда, какъ и теперь, какъ и всегда, сколько я себя помню, что безъ монархіи не быть Россіи. И мысль вертѣлась: какъ спасти монархію... Монархію, которая по тысячамъ причинъ, и, можетъ быть, больше всего собственными руками, приготовила себѣ гибель. И должно быть въ эту безсонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нѣтъ — объ этомъ будетъ судить исторія — свелась къ слѣдующему:

— Быть можетъ, пожертвовавъ монархомъ, удастся спасти монархію...

Такъ, безформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль объ отреченіи Императора Николая II въ пользу малолѣтняго Наслѣдника... Разумѣется, родилась не у одного меня...

* * *

Въ эту же ночь, если не ошибаюсь, одну изъ комнатъ (бюджетной комиссіи) занялъ „исполкомъ совдепа"... Это дикое въ то время названіе обозначало: „исполнительный комитетъ совѣта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ"...

* * *

Кошмарная ночь... Гдѣ мы? Что собственно происходитъ? До какой степени развала уже дошли? Что съ Россіей? Что съ арміей? Знаютъ ли уже? Если не знаютъ, то завтра узнаютъ... Какъ примутъ? Что произойдетъ?

Нуженъ центръ! Нуженъ во что бы то ни стало какой-то фокусъ... Не то все разбредется... все разлетится... будетъ небывалая анархія. А главное — армія, армія! Все пропало, если развалъ начнется въ арміи... А онъ непремѣнно начнется, если сейчасъ, сейчасъ же не будетъ, кому повиноваться... Нельзя допустить, чтобы тамъ произошло какъ здѣсь — взбунтовавшіеся солдаты безъ офицеровъ... Надо, чтобы туда дошло готовое рѣшеніе... Пусть думаютъ, что власть взята Государственной Думой... Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себѣ не можетъ быть властью — для нихъ это будетъ звучать... Для нихъ это лозунгъ — Государственная Дума"... И для Россіи тоже... Это звучитъ въ провинціи... Они будутъ вѣрить нѣсколько дней... Здѣсь будетъ нѣкоторое время распоряжаться „комитетъ Государственной Думы"... Пока рѣшится вопросъ о Государѣ...

* *
*

О Государѣ. Да, вотъ это главное, самое важное... Можетъ Онъ царствовать? Можетъ ли? О, какъ это узнать, какъ? Нѣтъ... не можетъ... Все это, что было... Кто станетъ за Него? У Него — никого, никого... Распутинъ всѣхъ съѣлъ, всѣхъ друзей, всѣ чувства.. нѣтъ больше вѣрноподданныхъ... есть скверно-подданные и открытые мятежники... послѣдніе пойдутъ противъ Него — первые спрячутся... Онъ одинъ... хуже, чѣмъ одинъ... Онъ съ

тѣнью Распутина... Проклятый мужикъ!.. Говорилъ Пуришкевичу — не убивайте, вотъ онъ теперь мертвый — хуже живого... Если бы онъ былъ живъ, теперь бы его убили, хоть какая-нибудь отдушина. А то — кого убивать? Кого? Вѣдь этому проклятому сброду надо убивать, онъ будетъ убивать — кого же?

Кого?.. Ясно...

Нѣтъ, этого нельзя. Надо спасти, надо.

* * *

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и насъ вмѣстѣ съ ними) залпами, или...

Или надо отречься отъ Престола...

Цѣной отреченія спасти жизнь Государю... и спасти Монархію...

* * *

Если подавить бунтъ можно, то и слава Богу. Это сдѣлаютъ не только безъ насъ, но и противъ насъ...

Николай I повѣсилъ пять декабристовъ, но если Николай II разстрѣляетъ пятьдесятъ тысячъ „февралистовъ", то это будетъ задешево купленное спасеніе Россіи...

Это будетъ значитъ, что у насъ есть Государь, что у насъ есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полковъ, ни полковниковъ не найдется?..

Тогда... тогда — отреченіе... царствовать будетъ малолѣтній Царь... значитъ — Регентъ. Регентъ? Кто? Михаилъ Александровичъ? Да, кажет-

ся... Потомъ Верховный Главнокомандующій... Ну, Великій Князь Николай Николаевичъ, конечно...

Затѣмъ... Затѣмъ — Правительство... Но кто?

* * *

Кто? Въ сущности... въ сущности — некого... Ломали, ломали копья, а для кого — неизвѣстно... Ну, Милюковъ, Шингаревъ — конечно. Затѣмъ Керенскій... Да, Керенскаго необходимо... Онъ самый дѣятельный... сейчасъ... Актеръ? Да, кажется... Все равно... Талантливый актеръ. На первыхъ порахъ — это главное... Его одного слушаютъ... Да и нужно — для лѣвыхъ. Родзянко? Родзянко пойдетъ только въ премьеры, а въ премьеры нельзя, не согласятся лѣвые и даже кадеты... Пусть остается предсѣдателемъ Думы... А будетъ Дума? Что-то не похоже... Въ сущности мы въ плѣну.. Ахъ, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этотъ кошмаръ?.. Надо вздремнуть... Хоть минутку покоя, пока ихъ нѣтъ... ихъ... кого? Революціоннаго сброда, то есть я хотѣлъ сказать — народа... да, Его Величества Народа... о какъ я его ненавижу!..

* * *

28-ое февраля.

Наступилъ день второй, еще болѣе кошмарный... „Революціонный народъ“ опять залилъ Думу.. Не протиснуться... Вопли ораторовъ, звѣрское ура, отвратительная марсельеза... И при этомъ еще бѣдствіе — депутаціи... Неистовое количество людей отъ неисчислимаго количества какихъ-то учрежденій, организацій, обществъ, союзовъ, я не знаю че-

го — желающихъ видѣть Родзянко и въ его лицѣ привѣтствовать Государственную Думу и новую Власть. Всѣ они говорятъ какія-то рѣчи, склоняя „народъ и свобода"... Родзянко отвѣчаетъ, склоняя „родина и армія"... Одно не особенно клеится съ другимъ, но кричатъ ура неистово. Однако, кричатъ ура и рѣчамъ лѣвыхъ... А лѣвые склоняютъ другія слова... „Темныя силы реакціи, царизмъ, старый режимъ, революція, демократія, власть народа, диктатура пролетаріата, соціалистическая республика, земля трудящимся" и опять — свобода, свобода, свобода — до одури, до рвоты... Всѣмъ кричатъ ура. Нѣкоторые начинаютъ уже привѣтствовать и „совѣтъ солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ"... Его исполнительный комитетъ сидитъ у насъ подъ бокомъ... Мы ясно чувствуемъ, что это вторая власть... Впрочемъ, Керенскій и Чхеидзе избраны и тамъ — они вошли въ исполкомъ... Они служатъ мостомъ между этими двумя головами. Да, получается нѣчто двуглавое, но отнюдь не орелъ. Одна голова кадетская, а другая еще дѣтская, но по всѣмъ признакамъ — отъ „вундеркинда", т.-е, наглая и сильно горбоносая... Впрочемъ, и отъ „кавказской обезьяны есть тамъ доля порядочная...

Полки попрежнему прибываютъ, чтобы поклониться. Всѣ они требуютъ Родзянко... Родзянко идетъ, ему командуютъ „на караулъ"; тогда онъ произноситъ рѣчь громовымъ голосомъ... Кричатъ „Ура"?... Играютъ марсельзу, которая рѣжетъ нервы... Михаилъ Владиміровичъ очень приспособленъ для этихъ выходовъ: и фигура, и голосъ, и апломбъ, и горячность... При всѣхъ его недостаткахъ онъ любитъ Россію и дѣлаетъ, что можетъ, т.-е.

кричитъ изо всѣхъ силъ, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вотъ оглушительное ура... Но сейчасъ же вслѣдъ за этимъ выползаетъ какая-нибудь „кавказская обезьяна“ или еще похуже, и говоритъ пораженческія мерзости, разжигая злобу и жадность... У нихъ черезъ каждое слово — „помѣщики, царская клика, Распутинъ, крѣпостники, опричники, жандармы“... И имъ тоже кричатъ „ура“, да, да, — кричатъ, и напрасно Михаилъ Владиміровичъ себя обольщаетъ, что Государственная Дума взяла власть. Вздоръ. Болото — кругомъ. Ни на что нельзя опереться... Это оглушительное „ура“ — это миражъ. Вѣдь я знаю, чему они такъ рады... Потому что надѣются не пойти на фронтъ. Почти всѣ части безъ офицеровъ... Гдѣ офицеры?

* * *

Тѣмъ не менѣе „Комитетъ Государственной Думы“ работаетъ въ этотъ день во всю... Правительства нѣтъ, все брошено... Весь огромный механизмъ остановленъ на полномъ ходу, остановленъ и обезглавленъ... Всеобщій развалъ неминуемъ, если не принять самыхъ экстренныхъ мѣръ... Положеніе таково, что многихъ старыхъ бюрократовъ нельзя оставить... Часть ихъ даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бѣжала... Часть надо замѣнить, потому что... Ну, потому что ихъ не удержать. Кѣмъ замѣнить? Кто имѣетъ авторитетъ — реально силы вѣдь нѣтъ... Кто?

И рѣшили посылать членовъ Государственной Думы... „комиссарами“... То-есть, временными „исполняющими должность сановниковъ“... Никто не смѣлъ отказываться... Вѣдь всѣ обѣщали безпре-

кословное повиновеніе „Комитету Государственной Думы"... И не было случая отказа... Мы назначали такого-то туда-то — Родзянко подписывалъ, и человѣкъ ѣхалъ. Изъ крупныхъ назначеній и удачныхъ было назначеніе члена Думы инженера Бубликова комиссаромъ въ „Пути сообщенія". Онъ сразу овладѣлъ желѣзными дорогами. Можетъ быть, онъ и сдѣлалъ кое-какія ошибки, но благодаря ему желѣзныя дороги не стали. Не помню остальныхъ — ихъ много было... Вѣдь всюду, всюду требовалось, всѣ учрежденія умоляли „прислать члена Государственной Думы". Авторитетъ ихъ былъ высокъ еще... Чѣмъ дальше отъ Таврическаго дворца — тѣмъ обаяніе Государственной Думы было сильнѣе и воспринималось пока, какъ власть...

* * *

Но здѣсь... Здѣсь росло противодѣйстіе... Противодѣйствіе этого проклятаго исполкома, который опирался на всю эту толпу, залѣпившую Государственную Думу... Ахъ, если бы у насъ былъ хоть одинъ вѣрный полкъ, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы... Но полка нѣтъ... И офицеровъ нѣтъ...

* * *

Еще однимъ бѣдствіемъ были — аресты... Цѣлый рядъ членовъ Думы заняты исключительно тѣмъ, чтобы освобождать арестованныхъ... Еще слава Богу, что данъ лозунгъ: „тащи въ Думу — тамъ разберутъ"... Дума обратилась въ громадный участокъ... Съ тою только разницей, что раньше въ участокъ таскали городовые, а теперь тащутъ городовыхъ... Ихъ по преимуществу... Многихъ уби-

ли — „фараоновъ"... Большинство приволокли сюда... Остальные прибѣжали сами, спасаясь, прослышавъ, что „Государственная Дума не проливаетъ крови"... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтутъ это когда нибудь. Жалкіе эти городовые — силъ нѣтъ на нихъ смотрѣть. Въ штатскомъ, переодѣтые, испуганные, приниженные, похожіе на мелкихъ лавочниковъ, которыхъ обидѣли, — стоятъ громадной очередью, которая изъ дверей выходитъ во внутренній дворъ Думы и тамъ закручивается.. Они ждутъ очереди быть арестованными... Но, говорятъ, нѣкоторые герои до сихъ поръ сражаются... Отдѣльные сидятъ по крышамъ съ механическими ружьями и отстрѣливаются... Или это все вздоръ— эти пулеметы на крышахъ?.. Не разберешь, кто ихъ туда послалъ, и даже были ли они тамъ... Во всякомъ случаѣ, какая невѣроятная ошибка правительства была разбросать полицію по всему городу... Надо было всѣхъ собрать въ кулакъ и выжидать... Когда всѣ части взбунтовались бы, потеряли дисциплину — стройному кулаку ихъ легко было бы раздавить.. Но кто это могъ сообразить? Протопоповъ? Александръ Дмитріевичъ? Министръ Внутренихъ дѣлъ съ прогрессивнымъ параличемъ? А вѣдь мы же сами его подсунули... Вѣдь онъ былъ товарищемъ предсѣдателя Государственной Думы... Это положеніе вѣдь и былъ тотъ трамплинъ, съ котораго онъ прыгнулъ въ министры...

Какъ все это ужасно!

Арестованныхъ масса. Арестовали и нѣкоторыхъ членовъ Думы.. Кабинетъ Родзянко мы еще удерживаемъ... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованныхъ, которыхъ можно немедленно освободить...

* * *

Я не помню точно, когда это было. Но это было въ кабинетѣ Родзянко. Я сидѣлъ противъ того большого зеркала, что занимаетъ почти всю стѣну. Вся большая комната была сплошь набита народомъ Безпомощные, жалкіе — по стѣночкамъ примостились на уже сильно за эти дни потрепанныхъ креслахъ и на красныхъ шелковыхъ скамейкахъ — арестованные. Ихъ безъ конца тащили въ думу. Цѣлый рядъ членовъ Государственной Думы только тѣмъ и занимались, что разбирались въ этихъ арестованныхъ. Какъ извѣстно, Керенскій далъ лозунгъ: Государственная Дума не проливаетъ крови. Поэтому Таврическій дворецъ былъ прибѣжищемъ всѣхъ тѣхъ, кому угрожала расправа революціонной демократіи. Тѣхъ, кого нельзя было выпустить хотя бы изъ соображеній ихъ собственной безопасности, — направляли въ такъ называемый „Павильонъ министровъ", который гримасничающая судьба сдѣлала „павильономъ арестованныхъ министровъ". Въ этомъ отношеніи между Керенскимъ, который главнымъ образомъ „вѣдалъ" арестнымъ домомъ, и нами — установилось нѣмое соглашеніе. Мы видѣли, что онъ играетъ комедію передъ революціоннымъ сбродомъ, и понимали цѣль этой комедіи. Онъ хотѣлъ спасти всѣхъ этихъ людей. А для того, чтобы спасти, надо было дѣлать видъ, что, хотя Государственная Дума не проливаетъ крови, она „расправится" съ виновными...

Остальныхъ арестованныхъ (таковыхъ было большинство), которыхъ можно было выпустить, мы передерживали вотъ тутъ въ кабинетѣ Родзянко. Они обыкновенно сидѣли нѣсколько часовъ,

пока для нихъ изготовлялись соотвѣтственные „документы“. Кого тутъ только не было...

Исполняя 1001 порученіе, какъ и всѣ члены комитета, я какъ-то наконецъ, выбившись изъ силъ, опустился въ кресло въ кабинетѣ Родзянко противъ того большого зеркала... Въ немъ мнѣ была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во всѣ стороны разными людьми, но видна была и сосѣдняя, „кабинетъ Волконскаго“, гдѣ творилось такое же столпотвореніе. Въ зеркалѣ все это отражалось нѣсколько туманно и нѣсколько картинно...

Вдругъ я почувствовалъ, что изъ кабинета Волконскаго побѣжало особенное волненіе, причину котораго мнѣ сейчасъ же шепнули:

— Протопоповъ арестованъ!

И въ то же мгновеніе я увидѣлъ въ зеркалѣ, какъ бурно распахнулась дверь въ кабинетѣ Волконскаго и ворвался Керенскій. Онъ былъ блѣденъ, глаза горѣли, рука поднята... Этой протянутой рукой онъ какъ бы рѣзалъ толпу... Всѣ его узнали и разступились на обѣ стороны — просто испугавшись его вида. И тогда въ зеркалѣ я увидѣлъ за Керенскимъ солдатъ съ винтовками, а между штыками — тщедушную фигурку съ совершенно затурканымъ, страшно съежившимся лицомъ... Я съ трудомъ узналъ Протопопова...

— Не смѣть прикасаться къ этому человѣку!

Это кричалъ Керенскій, стремительно приближаясь, блѣдный, съ невѣроятными глазами, одной поднятой рукой, разрѣзая толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на „этого человѣка“...

Этотъ человѣкъ былъ „великій преступникъ

противъ революціи“ — „бывшій“ министръ внутреннихъ дѣлъ.

— Не смѣть прикасаться къ этому человѣку!

Всѣ замерли. Казалось, онъ его ведетъ на казнь, на что-то ужасное. И толпа разступилась... Керенскій пробѣжалъ мимо, какъ горящій факелъ революціоннаго правосудія, а за нимъ влекли тщедушную фигурку въ помятомъ пальто, окруженную штыками... Мрачное зрѣлище...

Прорѣзавъ „кабинетъ Родзянки“, Керенскій съ этими же словами ворвался въ Екатериненскій залъ, биткомъ набитый солдатами, будущими большевиками и всякимъ сбродомъ...

Здѣсь начиналась реальная опасность для Протопова. Здѣсь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовыхъ, убить, растерзать — настроеніе было накалено противъ Протопопова до послѣдней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этимъ страннымъ зрѣлищемъ — блѣднымъ Керенскимъ, влекущимъ свою жертву, — толпа раздалась передъ ними...

— Не смѣть прикасаться... къ этому человѣку!

И казалось, что „этотъ человѣкъ“ вовсе уже и не человѣкъ...

И пропустили. Онъ прорѣзалъ толпу въ Екатерининскомъ залѣ и въ прилегающихъ помѣщеніяхъ и довелъ до павильона министровъ .. А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые — комедія, требовавшая сильнаго напряженія нервовъ, — кончи-

лась, Керенскій бухнулся въ кресло и пригласилъ „этого человѣка“:

— Садитесь, Александръ Дмитріевичъ...

* * *

Протопоповъ пришелъ самъ. Онъ зналъ, что ему угрожаетъ. Но онъ не выдержалъ „пытки страхомъ“. Онъ предпочелъ скрыванію, бѣганію по разнымъ квартирамъ, — отдаться подъ покровительство Государственной Думы.

Онъ вошелъ въ Таврическій дворецъ и сказалъ первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопоповъ...

Ошарашенный студентъ бросился къ Керенскому, но по дорогѣ разболталъ всѣмъ, и къ той минутѣ, когда Керенскій успѣлъ явиться, вокругъ Протопова уже была толпа, отъ которой нельзя было ждать ничего хорошаго. И тутъ Керенскій нашелся. Онъ схватилъ первыхъ попавшихся солдатъ съ винтовками и приказалъ имъ вести за собой „этого человѣка“...

* * *

Выраженіе „великая безкровная“ теперь справедливо заплевано, ибо оно стало не только смѣшнымъ, но кощунственнымъ послѣ тѣхъ потоковъ крови, которые пришли позже... Но Керенскій по крайней мѣрѣ свою „безкровную“ точку зрѣнія, свою „безкровную“ тактику защищалъ со всей энергіей, со всей актерской повелительностью, на которую былъ способенъ. Онъ не только не пролилъ крови самъ, но онъ употребилъ всѣ силы своего „драматическаго“ таланта, чтобы кровь „при немъ“ не была пролита.

Многіе ли могутъ похвалиться, что они въ извѣстную минуту не закрывали глазъ и не умывали рукъ?...

* * *

Въ этотъ день дѣла испортились въ полкахъ. Хотя почти всѣ части, которыя являлись въ Государственную Думу, были безъ офицеровъ, но все же до сихъ поръ открытыхъ враждебныхъ дѣйствій противъ офицерства, какъ таковаго, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону, и личныя делегаціи изъ разныхъ петроградскхъ полковъ, стали просить, чтобы пріѣхать повліять на солдатъ, которые вышли изъ повиновенія и стали угрожать. Комитетъ Государственной Думы немедленно занялся этимъ. Сначала послали желающихъ независимо отъ ихъ лѣвизны. Поѣхали тѣ, кто чувствовалъ себя въ силахъ говорить съ толпой, — главнымъ образомъ, звонкій голосъ... Они поѣхали, вернулись черезъ нѣкоторое время въ очень хорошемъ настроеніи. Такъ, помню, въ одинъ изъ полковъ послали одного праваго націоналиста, человѣка искренняго и съ убѣдительными нотками въ его нѣсколько бочковатомъ басѣ. Онъ вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я имъ сказалъ, — кричатъ „ура". Сказалъ, что безъ офицеровъ ничего не будетъ, что родина въ опасности. Они кричали ура. Обѣщали, что все будетъ хорошо, они вѣрятъ Государственной Думѣ...

— Ну слава Богу...

Только вдругъ зазвонилъ телефонъ...

— Какъ? Да вѣдь только-что у васъ были... Все же кончилось очень хорошо... Что? Опять вол-

нуются? Кого? Кого нибудь полѣвѣе? Хорошо. Сейчасъ пришлемъ.

Посылаемъ Милюкова. Милюковъ вернулся черезъ часъ. Очень довольный.

— Да вотъ... Они немного волнуются. Мнѣ кажется, что съ ними говорили не на тѣхъ струнахъ... Я говорилъ въ казармѣ съ какого-то эшафота. Былъ весь полкъ, и изъ другихъ частей... Ну, настроеніе очень хорошее. Меня вынесли на рукахъ...

Но черезъ нѣкоторое время телефонъ зазвонилъ снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой то полкъ? Какъ, опять? А Милюковъ?.. Да они его на рукахъ вынесли... Какъ? Что имъ надо? Еще лѣвѣй?.. Ну хорошо. Мы пришлемъ трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Онъ на время успокоилъ. Затѣмъ, кажется, посылали кого-то изъ эсъ-дековъ... Затѣмъ?

Затѣмъ офицерство стало разбѣгаться. Ихъ жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбѣжала въ Государственную Думу...

* * *

День прошелъ, какъ проходитъ кошмаръ. Ни начала, ни конца, ни середины — все перемѣшалось въ одномъ водоворотѣ. Депутаціи какихъ-то полковъ; безпрерывный звонъ телефона; безконечные вопросы, безконечное недоумѣніе — „что дѣлать?“; непрерывное посыланіе членовъ Думы въ различныя мѣста; совѣщанія между собою; разговоры Родзянко по прямому проводу; наростающая борьба съ исполкомомъ совдепа, засѣвшимъ въ одной изъ комнатъ; непрерывно повышающаяся температура

враждебности революціонной мѣшанины, залѣпившей Думу; жалобныя лица арестованныхъ; хвосты городовыхъ, ищущихъ пріюта въ Таврическомъ дворцѣ; усиливающаяся тревога офицерства—все это переплелось въ нѣчто, чему нельзя дать названія по его нервности, мучительности...

Въ концѣ концовъ, что мы могли сдѣлать? Трехсотлѣтняя власть вдругъ обвалилась, и въ ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тѣхъ нѣсколькихъ человѣкъ, которые моглибы что нибудь скомбинировать. Представьте себѣ, что человѣка опускаютъ въ густую, густую липкую мѣшанину. Она обезсиливаетъ каждое его движеніе, не даетъ возможности даже плыть, она слишкомъ для этого вязкая... Приблизительно въ такомъ мы были положеніи, и потому всѣ наши усилія были безполезны — это были движенія человѣка, погибающаго въ трясинѣ... По этой трясинѣ, прыгая съ кочки на кочку, — могъ болѣе или менѣе двигаться — только Керенскій...

* *
*

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсѣмъ. Какія-то военныя части ночевали у насъ въ большомъ Екатерининскомъ залѣ.

Въ полутемнотѣ рядъ совершенно посѣрѣвшихъ колоннъ съ ужасомъ разсматриваютъ, что происходитъ. Онѣ, видѣвшія Екатерину, онѣ, видѣвшія Думу Народнаго Гнѣва, эпоху Столыпина, наконецъ, неудачныя попытки пресловутаго „Блока" спасти положеніе, — видятъ теперь Его Величество Народъ во всей его красѣ. Блестящіе паркеты покрылись толстымъ слоемъ грязи. Колонны обшар-

паны и побиты, стѣны засалены, меблировка испорчена, — въ манежъ превращенъ знаменитый Екатерининскій залъ.

Все, что можно было испакостить, испакощено — и это символъ. Я ясно понялъ, что революція сдѣлаетъ съ Россіей: все залѣпитъ грязью, а поверхъ грязи положитъ валяющуюся солдатню...

* * *

Я вернулся въ кабинетъ Родзянки, который былъ еще прибѣжищемъ. Тамъ всетаки было немножко лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать нѣсколько человѣкъ — членовъ Государственной Думы

Я улегся на какой-то кушеткѣ. Рядомъ со мною помѣстился Некрасовъ. Онъ, послѣ Керенскаго, оказался человѣкомъ наиболѣе приспособленнымъ для скаканія по революціонному болоту. Онъ проявлялъ энергію.

Укладываясь, онъ сказалъ мнѣ:

— Вы знаете, что въ городѣ еще происходятъ бои?..

— Какъ?

— Да... еще кто-то тамъ держится въ Адмиралтействѣ. На Адмиралтейство идутъ штурмомъ. Тамъ, кажется, Хабаловъ еще сидитъ... Ихъ можно бы разогнать, если бы запалить изъ Петропавловской крѣпости...

— То есть какъ запалить? Вѣдь мы же, слава Богу, не дѣлаемъ революціи...

— Ну, да... Но видите... Вѣдь это же невозможно... Вѣдь власть все равно сбѣжала... Правительство сейчасъ — это комитетъ Государственной

Думы... Онъ взялъ власть въ свои руки... Какой же смыслъ въ этомъ Адмиралтействѣ?.. Кто тамъ засѣлъ и для чего?.. Вотъ поэтому и непріятно, что Петропавловка не въ нашихъ рукахъ...

— Какъ такъ?

— Да такъ... Гарнизонъ Петропавловской крѣпости сидитъ тамъ, и комендантъ говоритъ, что онъ не можетъ, что ему поручено охранять крѣпость... Ну, словомъ, они не съ нами...

— То есть какъ не съ нами?.. Да вѣдь съ кѣмъ же мы? Что же мы въ самомъ дѣлѣ съ этой... ну, словомъ — съ „ними?“.

— Нѣтъ, конечно... Но все же необходимо дѣлать видъ... Вѣдь если насъ хоть немного слушаются, то потому, что мы противъ старой власти...

— Позвольте... Мы были противъ министровъ... Но когда же мы были противъ военной власти? Вы же говорите, что тамъ Хабаловъ — командующій войсками?

— Ну да, конечно, происходитъ путаница... Вѣдь надо же, чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну Дума — такъ Дума... Ну словомъ, кому-нибудь изъ насъ надо поѣхать въ Петропавловскую крѣпость, чтобы все это уладить. Надо поговорить съ комендантомъ... Вы не поѣхали бы?..

Я соображалъ...

Пустить нѣсколько снарядовъ изъ Петропавловской крѣпости въ Адмиралтейство — до чего додумался Некрасовъ!.. Этого именно, какъ разъ ни въ коемъ случаѣ нельзя допустить... Стрѣлять „по Хабалову“... Въ то время, когда мы употребляемъ всѣ усилія, чтобы сохранить авторитетъ офицеровъ? Что за галиматья?..

И я рѣшилъ самъ поѣхать въ Петропавловскую крѣпость...

* * *

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззванія отъ комитета Государственной Думы, которыя гдѣ-то печатались и которыя мнѣ надо было отвезти. Я иногда засыпалъ на нѣсколько минутъ, потомъ просыпался и въ полутемнотѣ видѣлъ Родзянковскій кабинетъ и нѣсколько фигуръ, свалившихся отъ усталости... Онѣ лежали тамъ и сямъ въ неудобныхъ позахъ, истомленныя, изведенныя... Это были современные „властители Россіи"...

Послѣдніе дни „конституціи".

1-ое Марта 1917 года.

Рано утромъ принесли свѣже-пахнувшіе типографской краской листки. Ихъ принесъ кто то — видимо, офицеръ, но безъ погонъ. Откуда онъ взялся — не знаю. Некрасовъ рекомендовалъ мнѣ взять его съ собою, такъ сказать, для сопровожденія... Кромѣ того, мнѣ дали не то простыню, не то наволоку — это должно было изображать бѣлый флагъ... Я вышелъ на крыльцо, — было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собиралсв быть солнечнымъ... Несмотря на ранній часъ, уже было достаточно народу на дворѣ. Все больше солдаты.

Мнѣ подали автомобиль... Боже мой, неужели мнѣ прійдется?..

Надъ автомобилемъ былъ красный флагъ, и штыки торчали во всѣ стороны... Мой офицеръ отворилъ мнѣ дверцу... Ничего не подѣлаешь...

Стали мелькать знакомыя, казавшіяся незнакомыми, улицы... Вотъ только двое сутокъ прошло, а все кажется новымъ, какъ будто прошли годы... Шпалерная... Навстрѣчу намъ идутъ какія-то части съ музыкой, очевидно „на поклонъ" Государственной Думѣ... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродятъ какія-то безпорядочныя толпы вооруженныхъ людей, рычатъ и проносятся ощетиненные штыками грузовики... Зачѣмъ они несутся?.. Сами не знаютъ, конечно... „За свободу"!..

Вотъ Троицкій мостъ... Толпа увеличивается по мѣрѣ приближенія къ крѣпости...

На Каменноостровскомъ, противъ длинныхъ мостковъ, которые ведутъ черезъ каналъ къ крѣпости, — митингъ... Откуда взялись эти люди такъ рано?

Подъѣхали къ мосткамъ... Толпа все же не смѣетъ еще проникнуть „туда“. Она еще уважаетъ часового... Мой спутникъ говоритъ, что надо „махать бѣлымъ флагомъ“.

Но я отлично вижу въ томъ концѣ офицера, который явно насъ ожидаетъ... Я передъ отъѣздомъ приказалъ позвонить изъ Государственной Думы...

Я иду по мосткамъ. Онъ радостно срывается намъ навстрѣчу...

— Мы васъ такъ ждали... Ахъ какъ хорошо, что вы пріѣхали... Пожалуйте—комендантъ васъ ждетъ...

* * *

Пройдя по безконечнымъ корридорамъ, мнѣ до той поры незнакомымъ, я нашелъ коменданта, почтеннаго генерала. Съ нимъ было нѣсколько офицеровъ...

Я сказалъ коменданту:

— Я присланъ сюда для переговоровъ... Отъ имени Комитета Государственной Думы... Какъ вы смотрите на положеніе вещей, ваше превосходительство?..

Старый генералъ заволновался.

— Да вотъ, видите... Вѣдь вы должны насъ понимать... Пожалуйста не думайте, что мы противъ Государственной Думы... Наоборотъ, мы понима-

емъ, мы очень рады... что въ такое время какая нибудь власть... Мы всецѣло подчиняемся Государственной Думѣ, вотъ я и г. г. офицеры... Но вѣдь, я думаю, для каждой власти, для всякаго правительства необходимо сохранить то, что у насъ подъ охраной... У насъ,вы знаете, во первыхъ — царскія могилы, потомъ монетный дворъ, наконецъ, арсеналъ... Вѣдь вы же подумайте... Это же невозможно, чтобъ толпа сюда ворвалась. Это же необходимо охранять для всѣхъ, для каждаго правительства... Мы не можемъ то, что намъ поручили... мы не можемъ...мы должны охранять.. Это нашъ долгъ... Присяги...

Я перебилъ старика...

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждаго... здравомыслящаго человѣка... Такъ какъ вы изволили сказать, что признаете власть Государственной Думы, – то я отъ имени Государственной Думы — прошу васъ и настаиваю... Очень радъ, что могу это сдѣлать въ присутствіи г. г. офицеровъ... Крѣпость со всѣмъ тѣмъ, что въ ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генералъ просвѣтлѣлъ...

— Ну вотъ... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... теперь мы знаемъ, чего держаться... Но вы не согласны были - бы оставить письменный приказъ?

Я написалъ отъ имени Комитета Государственной Думы — приказъ Коменданту Петропавловской Крѣпости — охранять ее всѣми имѣющимися въ его распоряженіи силами и ни въ коемъ случаѣ не пускать толпу на территорію крѣпости.

Но меня безпокоила одна мысль... Вѣдь почему Бастилію сожгли? Думали, что въ ней политическіе арестованные, хотя ни одного арестованнаго въ Бастиліи тогда уже не было. Какъ бы не „повторилась исторія“...

— Скажите, пожалуйста, у васъ есть арестованные — политическіе?

— Нѣтъ... есть только одинадцать солдатъ, арестованныхъ уже за эти безпорядки...

— Этихъ вамъ прійдется выпустить...

— Сейчасъ будетъ сдѣлано.

— Но я не этимъ интересуюсь... есть-ли политическіе... которыхъ освобожденія могутъ „требовать“? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нѣтъ ни одного... Послѣдній былъ генералъ Сухомлиновъ... Но и онъ освобожденъ нѣсколько времени тому назадъ...

— Неужели всѣ камеры пусты?

— Всѣ... Если желаете, можете убѣдиться...

— Нѣтъ, мнѣ убѣждаться не надо... Но вотъ тѣ, — тамъ на Каменноостровскомъ — могутъ не повѣрить... И потому сдѣлаемъ такъ: если отъ меня пріѣдутъ члены Государственной Думы и предъявятъ мою записку, — предоставьте имъ взять нѣсколько человѣкъ изъ толпы и покажите имъ всѣ камеры... Пусть убѣдятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей запискѣ...

— Да, до свиданія...

Мы стали уходить, но ко мнѣ обратились съ просьбой нѣсколько офицеровъ — сказать рѣчь гарнизону, который волнуется...

— Поддержите насъ... офицеровъ... чтобы они

знали, что Государственная Дума требуетъ дисциплины...

Во дворѣ былъ выстроенъ гарнизонъ... Раздалась команда „смирно"...

Я сказалъ имъ рѣчь... Я говорилъ о томъ, что въ то время, когда происходятъ такія большія событія, нужно помнить объ одномъ, — что идетъ война, что всѣ мы находимся подъ взглядомъ врага, который сторожитъ, чтобы на насъ броситься, и, если чуточку ослабѣемъ, — смететъ насъ.. И все пойдетъ прахомъ... И вмѣсто свободы, о которой мы мечтаемъ, — получимъ нѣмца на шею... А всякій военнослужащій знаетъ, что армія держится только однимъ — дисциплиной... Нравится начальникъ или не нравится, это не имѣетъ никакого значенія... объ этомъ про себя разсуждай, у себя въ душѣ, а повинуйся ему не какъ человѣку, а какъ начальнику... Въ этомъ и есть разумная свобода... „Повинуюсь, потому что люблю Родину, и не позволю, чтобы врагъ ее раздавилъ". Господа офицеры, съ которыми я только-что говорилъ, находятся въ полномъ согласіи съ Государственной Думой; Государственная Дума въ моемъ лицѣ отдаетъ приказъ защищать крѣпость во что бы то ни стало.

И такъ далѣе въ этомъ родѣ...

Слушали, повидимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончилъ, кто то крикнулъ:

— Ура товарищу Шульгину!...

Но, уходя подъ это „ура", я очень ясно чувствовалъ, что дѣло скверно...

* * *

Перейдя мостки, я увидѣлъ, что толпа на Каменноостровскомъ страшно увеличилась и возбуждена... Но тутъ сопровождавшій меня офицеръ оказался какъ разъ у мѣста. Онъ вскочилъ на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной рѣчью, изъ которой можно было понять, что Петропавловская крѣпость „за свободу“ и все вообще благополучно... Толпа кричала „ура“. И почему то пришла въ благодушное настроеніе...

Въ это время я увидѣлъ, что черезъ Троицкій мостъ несутся къ намъ нѣсколько грузовиковъ, угрожающе разукрашенныхъ красными флагами и торчащими штыками. . Бѣшено рыча моторами, они остановились передъ мостками, рядомъ съ нашей машиной... Люди были въ большомъ возбужденіи, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крѣпость) краснаго флага не подняла? Открыть военныя дѣйствія!..

Мой офицеръ перескочилъ съ сидѣнія нашего автомобиля на моторъ грузовика и завопилъ оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему „военныя дѣйствія!“. А какого черта тебѣ „дѣйствія“... когда она бездѣйствуетъ!.. Вотъ членъ Государственной Думы!.. Все уже тамъ сдѣлалъ! Крѣпость — за свободу! за народъ! а ему — „военныя дѣйствія“... Повоевать захотѣлось?.. Не навоевались?!...

Онъ сдѣлалъ смѣшную и презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, „военныя дѣйствія!“... Тоже!...

Тѣ смутились. Мой офицеръ не далъ имъ опомниться...

— Заворачивай!..

„Завернули“ и поѣхали...

Такъ я „взялъ“ Петропавловскую крѣпость... Некрасовъ могъ быть доволенъ.

* * *

Возвращаюсь въ Государственную Думу. Толпа стоитъ огромная, занявъ не только дворъ полностью, но и Шпалерную... Нашъ автомобиль съ трудомъ пробиваетъ себѣ дорогу... Мой офицеръ кричитъ:

— Пропустите члена Государственной Думы!..

И пропускаютъ. Тѣснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидѣлъ прямо, глядя передъ собой... Мнѣ противно было смотрѣть на нихъ... Богъ его знаетъ какъ, — они это почувствовали... Когда автомобиль застрялъ въ воротахъ, я разобралъ насмѣшливое замѣчаніе:

— Какая величественность во взглядѣ...

Я предпочелъ „не услышать“.

* * *

Все пространство между крыльями Таврическаго Дворца набито людьми. Рыжевато-сѣро-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочіе, интеллигенты... Революціонный народъ...

Господи, чего имъ надо? Моя машина подъ протекторатомъ краснаго флага пробивается черезъ эту кашу...

Слава Богу, наконецъ я опять въ Таврическомъ дворцѣ... Слава Богу? Да... Да — тамъ, въ „кабинетѣ Родзянко“, есть еще близкіе люди. Да, близкіе, потому что они жили на одной со мной планетѣ. А эти? Эти -- изъ другого царства, изъ другого вѣка... Эти — это страшное нашествіе нео-

варваровъ, столько разъ предчувствуемое и, наконецъ, сбывшееся... Это — скифы. Правда, они съ аттрибутами XX вѣка — съ пулеметами, съ дико рычащими автомобилями... Но это внѣшнее... Въ ихъ груди косматое, звѣриное, истинно-скифское сердце...

* * *

Вышелъ изъ автомобиля... Пробиваюсь черезъ залы Таврическаго дворца..

Все то же...

Все та же толпа, все тотъ же митингъ, все то же завываніе марсельезы...

Но есть новое...

За столиками, примостившись гдѣ-нибудь между обшарпанныхъ, когда-то бѣлыхъ колоннъ, сидятъ барышни-еврейки, съ виду—дантистки, акушерки, фармацевты; и торгуютъ „литературой".

Это маркитантки революціи...

* * *

Въ разныхъ комнатахъ на дверяхъ бумажки съ надписями... Какія-то „бюро", „учрежденія" съ дикими названіями... Очевидно, они прочно осѣдаютъ... они завоевываютъ Таврическій Дворецъ шагъ за шагомъ...

* * *

Пробиваюсь въ кабинетъ Родзянки. Но что же это такое? И тутъ — „они"!

Гдѣ же — „мы"?

— Пожалуйте, Василій Витальевичъ, — Комитетъ Государственной Думы перешелъ въ другое помѣщеніе...

Вотъ оно — это „другое помѣщеніе“. Двѣ крохотныя комнатки въ концѣ коридора, противъ библіотеки... Гдѣ у насъ были самыя какія-то невѣдомыя канцеляріи...

Вотъ откуда будутъ управлять отнынѣ Россіей...

* * *

Но здѣсь я нашелъ всѣхъ своихъ. Они сидѣли за столомъ, покрытымъ зеленымъ бархатомъ... По серединѣ — Родзянко, вокругъ остальные... Керенскаго не было... Но не успѣлъ я разсказать, что было въ Петропавловкѣ, какъ дверь „драматически“ распахнулась. Вошелъ Керенскій... за нимъ двое солдатъ съ винтовками. Между винтовками какой-то человѣкъ съ пакетами.

„Трагически-повелительно“ Керенскій взялъ пакетъ изъ рукъ человѣка...

— Можете итти...

Солдаты повернулись по военному, а чиновникъ просто. Вышли...

Тогда Керенскій уронилъ намъ, бросивъ пакетъ на столъ:

— Наши секретные договоры съ Державами... Спрячьте...

И исчезъ такъ же драматически...

* * *

— Господи, что же мы будемъ съ ними дѣлать? — сказалъ Шидловскій, — вѣдь даже шкафа у насъ нѣтъ...

— Что за безобразіе — сказалъ Родзянко. — Откуда онъ ихъ таскаетъ?

Онъ не успѣлъ разразиться: его собственный секретарь вошелъ поспѣшно.

— Разрѣшите доложить... Пришли матросы... Весь Гвардейскій экипажъ .. Желаютъ видѣть предсѣдателя Государственной Думы...

— А чертъ ихъ возьми совсѣмъ! Когда же я займусь дѣлами? Будетъ этому конецъ?

Секретарь невозмутимо переждалъ бутаду.

— Съ ними и Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ...

— Надо итти, — сказалъ кто-то...

Родзянко ворча пошелъ. Былъ онъ огромный и внушительный. Несъ онъ въ эти дни „свое положеніе" самоотверженно. Съ утра до вечера и даже ночью ходилъ онъ на крыльцо или на улицу и принималъ „поклоненіе частей". Солдаты считали какимъ-то своимъ долгомъ явиться въ Государственную Думу, словно принять новую присягу. Родзянко шелъ, говорилъ своимъ запорожскимъ басомъ колокольныя рѣчи, кричалъ о Родинѣ, о томъ, что „не позволимъ врагу, проклятому нѣмцу, погубить нашу Матушку Русь"... — и все такое говорилъ, и вызывалъ у растроганныхъ (на минуту) людей громовое „ура"... Это было хорошо — одинъ разъ, два, три... Но безъ конца и безъ счета — это была тяжкая обязанность, каторжный трудъ, который совершенно отрывалъ отъ какой бы то ни было возможности работать... А вѣдь „Комитетъ Государственной Думы" пока замѣнялъ все... Власть и законъ и исполнителей... Родзянко былъ на положеніи предсѣдателя Совѣта Министровъ... И вотъ „положеніе"... Премьеръ вмѣсто того, чтобы работать, каждую минуту долженъ бѣгать на улицу и кричать „ура", а члены правительства одни — „бе-

рутъ крѣпости“, другіе — ѣздятъ по полкамъ, третьи — освобождаютъ арестованныхъ, четвертые просто теряютъ голову, заталкиваемые лавиной людей, которые всѣ требуютъ, просятъ, молятъ руководства.

Я видѣлъ, что такъ не можетъ продолжаться: надо правительство. Надо какъ можно скорѣе правительство...

— Куда же дѣть эти секретные договоры? Это вѣдь самые важные государственные документы, какіе есть... Откуда Керенскій ихъ добылъ?

Этотъ человѣкъ, что приходилъ съ нимъ, былъ изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ... Очевидно, видя что дѣлается, онъ бросился къ Керенскому, такъ какъ боялся, что не въ состояніи будетъ ихъ сохранить... А Керенскій приволокъ сюда...

— Что за чепуха!... Такъ же нельзя. Ну спасли эти договоры — но все остальное могутъ растащить... Мало ли по всѣмъ Министерствамъ государственно-важныхъ документовъ... Неужели же всѣхъ ихъ сюда свалить?

— И куда? Нѣтъ не только шкафа, но даже ящика нѣтъ въ столѣ... Что съ ними дѣлать?

Но кто то нашелся.

— Знаете что — бросимъ ихъ подъ столъ... Подъ скатертью вѣдь совершенно не видно... Никому въ голову не придетъ искать ихъ тамъ... Смотрите...

И пакетъ отправился подъ столъ... Зеленая бархатная скатерть опустилась до самаго пола... Великолѣпно. Какъ разъ самое подходящее мѣсто для храненія важнѣйшихъ актовъ Державы Россійской...

Полно! Есть ли еще эта Держава? Государство ли это, или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедшій домъ?

* * *

Опять Керенскій... Опять съ солдатами. Что еще они тащатъ?

— Можете идти...

Вышли...

— Тутъ два милліона рублей. Изъ какого то министерства притащили... Такъ больше нельзя... Надо скорѣе назначить комиссаровъ... Гдѣ Михаилъ Владиміровичъ?

— На улицѣ...

— Кричитъ ура? Довольно кричать ура! Надо дѣломъ заняться... господа члены Комитета!...

Онъ исчезъ... Исчезъ трагически-повелительный...

* * *

Мы бросили два милліона къ секретнымъ договорамъ, т. е. подъ столъ, — не „подъ сукно", а подъ бархатъ...

Я подошелъ къ Милюкову, который что-то писалъ на уголку стола...

— Павелъ Николаевичъ...

Онъ поднялъ на меня глаза...

— Павелъ Николаевичъ, — довольно этого кабака. Мы не можемъ управлять Россіей изъ подъ стола... Надо правительство...

Онъ подумалъ.

— Да, конечно, надо... Но событія такъ бѣгутъ...

— Это все равно... Надо правительство, и на-

до, чтобы вы его составили... Только вы можете это сдѣлать... Давайте, подумаемъ, кто да кто...

Подумать не дали.

Взволнованные голоса въ сосѣдней комнатѣ... Нѣсколько членовъ Государственной Думы — не членовъ Комитета — вошли, такъ сказать, штурмомъ...

— Господа, простите, но такъ нельзя!... Надо сдѣлать что-нибудь... Въ полкахъ Богъ знаетъ, что происходитъ. Тамъ скоро будутъ убивать, если не убиваютъ... Надо спасти...

— Кого убиваютъ? Что такое?

— Офицеровъ... надо помочь... надо!...

* * *

Конечно, надо помочь... Нѣсколько офицеровъ было тутъ же... Растерянные, блѣдные... Мы спѣшно послали нѣсколько человѣкъ... Поѣхалъ и Милюковъ... Остальные... остальные остались, такъ сказать, дежурить, ибо было постановлено, что Комитетъ засѣдаетъ всегда — не расходится до выясненія положенія...

* * *

Опять? Что еще такое?

— Въ Екатерининскомъ залѣ огромная депутація... Надо, чтобы кто нибудь къ нимъ вышелъ... ихъ тамъ обрабатываютъ лѣвые... Ради Бога, господа!...

Мы переглянулись...

— Сергѣй Илліодоровичъ — пойдите...

Шидловскій поморщился, но сказалъ:

— Иду...

* * *

Въ сотый разъ вернулся Родзянко... Онъ былъ возбужденный, болѣе того — разъяренный... Опустился въ кресло...

— Ну что, какъ?

— Какъ? Ну, и мерзавцы же эти...

Онъ вдругъ оглянулся.

— Говорите, ихъ нѣтъ...

„Они" это былъ Чхеидзе и еще кто-то, словомъ лѣвые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я имъ сказалъ рѣчь... Встрѣтили меня какъ нельзя лучше... Я сказалъ имъ патріотическую рѣчь — какъ-то я сталъ вдругъ въ ударѣ... — Кричатъ ура! Вижу — настроеніе самое лучшее... Но только я кончилъ, кто-то изъ нихъ начинаетъ...

— Изъ кого?..

— Да изъ этихъ... какъ ихъ... собачьихъ депутатовъ... Отъ исполкома, что-ли — ну, словомъ, отъ этихъ мерзавцевъ...

— Что же они?

— Да вотъ именно, что же!.. „Вотъ предсѣдатель Государственной Думы все требуетъ отъ васъ, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали... Такъ вѣдь, товарищи, это понятно.. У господина Родзянко есть, что спасать... не малый кусочекъ у него этой самой русской земли въ Екатеринославской губерніи, да какой земли!.. А можетъ быть и еще въ какой-нибудь есть... Напримѣръ, въ Новгородской... Тамъ, говорятъ, ѣдешь лѣсомъ, что ни спросишь: чей лѣсъ? отвѣчаютъ: Родзянковскій... Такъ вотъ Родзянкамъ и другимъ помѣщикамъ Государственной Думы есть что спасать... Эти свои владѣ-

нія, княжескія, графскія и баронскія... они и называютъ русской землей... Ее и предлагаютъ вамъ спасать, товарищи... А вотъ вы спросите председателя Государственной Думы, будетъ-ли онъ такъ же заботиться о спасеніи русской земли, если эта русская земля.. изъ помѣщичьей... станетъ вашей, товарищи?". Понимаете, вотъ скотина!

— Что же вы отвѣтили?

— Что я отвѣтилъ? Я уже не помню, что я отвѣтилъ... Мерзавцы!..

Онъ такъ стукнулъ кулакомъ по столу, что запрыгали подъ скатертью секретные документы...

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаемъ своихъ, а это хамье думаетъ, что земли пожалѣемъ. Да будетъ она проклята, эта земля, на что она мнѣ, если Россіи не будетъ. Сволочь подлая! „Хоть рубашку съ насъ снимите, но Россію спасите!". Вотъ что я имъ сказалъ!

Его голосъ начиналъ переходить предѣлы...

— Успокойтесь, Михаилъ Владиміровичъ.

* * *

Но онъ долго не могъ успокоиться... Потомъ...

Потомъ поставилъ насъ „въ курсъ дѣлъ"..
Онъ все время ведетъ переговоры со Ставкой и съ Рузскимъ... Онъ, Родзянко, все время по прямому проводу сообщаетъ, что происходитъ здѣсь, сообщаетъ, что положеніе вещей съ каждой минутой ухудшается; что правительство сбѣжало; что временно власть принята Государственной Думой въ лицѣ ея Комитета, но что положеніе ея очень шаткое, во-первыхъ, потому что войска взбунтовались— не повинуются офицерамъ, а наоборотъ угрожа-

ютъ имъ, во-вторыхъ, потому что рядомъ съ Комитетомъ Государственной Думы выростаетъ новое учрежденіе — именно „исполкомъ“, который, стремясь захватить власть для себя, — всячески подрываетъ власть Государственной Думы, въ-третьихъ— вслѣдствіе всеобщаго развала и съ каждымъ часомъ увеличивающейся анархіи; что нужно принять какія-нибудь экстренныя спѣшныя мѣры; что въ началѣ казалось, что достаточно будетъ отвѣтственнаго министерства, но съ каждымъ часомъ промедленія — становится хуже; что требованія растутъ... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожаетъ самой монархіи... возникла мысль, что всѣ сроки прошли и что, можетъ быть, только отреченіе Государя Императора въ пользу Наслѣдника можетъ спасти Династію... Генералъ Алексѣевъ примкнулъ къ этому мнѣнію...

— Сегодня утромъ, — прибавилъ Родзянко — я долженъ былъ ѣхать въ Ставку для свиданія съ Государемъ Императоромъ, доложить Его Величеству, что можетъ быть единственный исходъ — отреченіе... Но эти мерзавцы узнали... и когда я собирался ѣхать — сообщили мнѣ, что ими дано приказаніе не выпускать поѣзда... Не пустятъ поѣзда! Ну какъ вамъ это нравится?! Они заявили, что одного меня они не пустятъ, а что долженъ ѣхать со мною Чхеидзе и еще какіе-то... Ну, слуга покорный — я съ ними къ Государю не поѣду!.. Чхеидзе долженъ былъ сопровождать батальонъ „революціонныхъ солдатъ!“. Что они тамъ учинили бы!.. Я съ этими скот...

Меня вызвали по совершенно неотложному дѣлу...

* * *

Это былъ тотъ офицеръ, который ѣздилъ со мною „брать Петропавловку“.

— Тамъ неблагополучно... Собралась огромная толпа... тысячъ пять... Требуютъ, чтобы выпустили арестованныхъ...

— Да вѣдь ихъ нѣтъ...

— Не вѣрятъ... Я только что оттуда... Гарнизонъ еле держится... Каждую минуту могутъ ворваться... Я ихъ успокоилъ на минутку, сказалъ, что сейчасъ ѣду въ Государственную Думу и что кто-нибудь пріѣдетъ... Но надо спѣшить...

— Сейчасъ...

Я сѣлъ къ столу и сталъ писать ту записку, о которой условился съ комендантомъ.

Потомъ, — не знаю уже какъ и почему — передо мной очутились члены Государственной Думы Волковъ (кадетъ) и Скобелевъ (соціалистъ).

— Господа, поѣзжайте... Помните Бастилію: она была сожжена только потому, что не повѣрили, что нѣтъ заключенныхъ... Надо, чтобъ вамъ повѣрили!..

Волковъ съ живыми глазами сильно воспринималъ... Скобелевъ, немножко заикающійся, тоже хорошо чувствовалъ — я видѣлъ.

Я сказалъ ему:

— Вѣдь они васъ знаютъ... Вы популярны... Скажите имъ рѣчь.

Они поѣхали...

* * *

Я засталъ Комитетъ въ большомъ волненіи... Родзянко бушевалъ:

— Кто это написалъ?! Это они, конечно, мер-

завцы. Это прямо для нѣмцевъ... Предатели!.. Что теперь будетъ?

— Что случилось?..

— Вотъ прочтите.

Я взялъ бумажку, думая, что это прокламація... Сталъ читать... и въ глазахъ у меня помутилось.. Это былъ знаменитый впослѣдствіи „приказъ № 1“.

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу.. на всѣхъ стѣнкахъ...

Я почувствовалъ, какъ чья-то коричневая рука сжала мое сердце. Это былъ конецъ арміи..

* * *

Послѣдствія немедленно сказались... Со всѣхъ сторонъ стали доходить слухи, что офицеровъ изгоняютъ, арестовываютъ... Офицерство стало метаться.. Многіе, боясь, прибивались въ Государственную Думу... помня лозунгъ „Государственная Дума не проливаетъ крови“. Другіе стали по чьему то приглашенію собираться въ залъ Арміи и Флота, на углу Литейнаго и Кирочной... Стало извѣстно что около 2000 офицеровъ собралось тамъ и что идетъ засѣданіе... Настроеніе большинства „за Государственную Думу“ и „за порядокъ“. Третьи увеличили число людей, осаждавшихъ „Комитетъ Государственной Думы“, прося указаній...

Съ каждымъ часомъ настроеніе ухудшалось... Изъ различныхъ мѣстъ сообщалось о насиліи надъ офицерами...

* * *

Это были рѣшающія минуты. Если-бы можно было вооружить собравшихся въ залѣ Арміи и Флота офицеровъ, а главное, если-бы можно было на нихъ расчитывать, т.-е если бы это были люди, пережившіе все то, что они пережили впослѣдствіи, скажемъ, люди корниловскаго закала, если бы кто-нибудь понялъ значеніе военныхъ училищъ и, главное, если бы былъ человѣкъ калибра Петра I или Николая I — эта минута могла спасти все... Можно было раздавить бунтъ, ибо весь этотъ „революціонный народъ“ думалъ только объ одномъ, — какъ бы не идти на фронтъ... Сражаться онъ бы не сталъ... Надо было бы сказать ему, что Петроградскій гарнизонъ распускается по домамъ... Надо было-бы мѣрами исключительной жестокости привести солдатъ къ повиновенію, выбросить весь сбродъ изъ Таврическаго дворца, возстановить обычный порядокъ жизни и поставить правительство, не „довѣріемъ страны облеченное“, а опирающееся на настоящую гвардію... Да, на настоящую гвардію...

Гвардіи у насъ не было... Были гвардейскіе полки... Но чѣмъ они отличались отъ не-гвардейскихъ?... Тѣмъ, что гвардейскіе офицеры принадлежали къ аристократическимъ фамиліямъ... Но аристократія далеко не всегда была опорой престола... Начиная съ Іоанна Грознаго, и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу съ монархіей. Особенно рѣзко это выразилось въ выступленіи декабристовъ, но и вообще было такъ: знатное происхожденіе совершенно не обезпечивало „политической благонадежности.“ Стоитъ только просмотрѣть списки кадетъ и „примыкающихъ“, чтобы понять, гдѣ была знать...

Такъ было вообше. Что же касается Государя Николая II, то здѣсь былъ еще специальный разрывъ, вслѣдствіе личныхъ качествъ Императора и Императрицы. Поэтому гвардейскіе офицеры вовсе не были тѣмъ элементомъ, на который можно было опереться въ ту минуту, когда даже династія передѣлилась...

Но главное не въ этомъ... Главное состояло въ томъ, что давно уже было утрачено, а можетъ быть его никогда и не было, утрачено истинное пониманіе, что такое гвардія...

Лейбъ-Гвардія собственно должна быть „тѣлохранительницей Верховной Власти.“ Понимая это болѣе широко — гвардія должна быть тѣмъ кулакомъ, который принудитъ къ повиновенію всякаго, не подчиняющагося власти... Другими словами: назначеніе гвардіи — повиноваться и дѣйствовать именно тогда, когда все остальное не хочетъ повиноваться, т. е. во время народныхъ движеній, волненій, бунтовъ, возстаній...

Достаточно-ли, чтобы такой корпусъ имѣлъ только однихъ офицеровъ, на которыхъ можно положиться? Это нелѣпость... Развѣ офицеры могутъ что-нибудь сдѣлать во время солдатскихъ бунтовъ? Опытъ показалъ, что въ гвардейскихъ частяхъ солдаты раньше, чѣмъ въ другихъ, бунтовались.

Что-жъ это за гвардія? Гвардія должна состоять изъ солдатъ, не менѣе офицеровъ настроенныхъ гвардейски... Поэтому въ гвардіи должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалованіе.. И при томъ это должны быть люди съ извѣстной закваской — каждый персонально извѣстный, а не

вербоваться по росту: кто выше всѣхъ ростомъ — тотъ гвардеецъ. Какъ будто преданность Верховной власти есть функція роста: всѣ большіе — монархисты, а всѣ маленькіе — республиканцы!...

И притомъ — нельзя пускать гвардію на войну... Пусть поклонники принципа: „pereat patria, fiat justitia“ говорятъ что угодно... Пусть сколько угодно возмущаются „сытыми краснощекими гвардейцами“, которые сидятъ въ тылу, — пусть называютъ ихъ бездѣльниками и трусами — на это не слѣдуетъ обращать вниманія... Полиція тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя, сколько бы ни возмущался этимъ А. И. Шингаревъ... Одно изъ двухъ: или гвардія нужна, или нѣтъ... Если не нужна, то ея вообще не должно быть, а если нужна, то больше всего нужнѣе всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтовъ, революцій и всякой мерзости.. Гвардія должна оставаться въ полной неприкосновенности, и назначеніе ея не противъ враговъ внѣшнихъ, а противъ враговъ внутреннихъ... Сражаться съ врагомъ внѣшнимъ можно до послѣдняго солдата арміи и до перваго солдата гвардіи... Гвардія должна быть на случай проигранной войны... Тогда она вступаетъ въ дѣйствіе, одной рукой приводитъ въ христіанскій видъ деморализованную пораженіемъ армію, другой — удерживаетъ въ границахъ повиновенія бунтующееся населеніе...

Проигранная война всегда грозитъ революціей... *Но революція неизмѣримо хуже проигранной войны*. Поэтому гвардію нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться съ революціей...

Представимъ себѣ, что въ 1917 году мы бы имѣли нетронутую и совершенно надежную въ политическомъ смыслѣ гвардію. Никакой революціи не произошло бы. Самое большое, что случилось бы— это отреченіе Императора Николая II. Затѣмъ допустимъ, что разложившаяся армія бросила бы фронтъ. Новый Императоръ или Регентъ заключилъ бы миръ — пусть невыгодный, но что же дѣлать?... Затѣмъ при помощи гвардіи, возстановилъ бы порядокъ повсюду, ибо мы отлично знаемъ, что взбунтовавшіяся войска неспособны бороться съ полками, сохранившими досциплину... Пусть безпорядки продолжались бы годъ, два, три... — все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тѣмъ болѣе, что съ каждымъ днемъ анархія надоѣдала бы...

Итакъ, быть можетъ, главный грѣхъ стараго режима былъ тотъ, что онъ не сумѣлъ создать настоящей гвардіи... Пусть это будетъ наукой будущимъ властителямъ...

* * *

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волковъ и Скобелевъ. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось!.. Кажется теперь уже успокоятся...

— Разскажите...

— Мы застали толпу въ сильнѣйшемъ возбужденіи...

— Большая толпа?...

— Огромная... Весь Каменноостровскій сплошь — много тысячь...

— Чего же они хотѣли?

— Выдачи арестованныхъ... Рвались въ крѣ-

пость... Вы не даромъ упомянули о Бастиліи.. Такъ оно и было...

— Гарнизонъ?

— Гарнизонъ еще держался... Но они были страшно перепуганы... не знали, что дѣлать... пустить оружіе въ ходъ? Боялись... Да и не знали, будутъ ли солдаты дѣйствовать...

— Что вы сдѣлали?

— Мы во первыхъ, заявили, что мы члены Государственной Думы... Насъ приняли хорошо, кричали „ура“! Тогда мы объявили, что пойдемъ осматривать камеры... И предложили... Словомъ захватили съ собой, такъ сказать, понятыхъ...

— Ну?

— Предъявили вашъ пропускъ... Насъ очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нѣтъ?

— Никого рѣшительно... Мы тогда вышли къ нимъ... Объяснили, что никого нѣтъ... Очень помогалъ этотъ офицеръ вашъ — молодецъ! И потомъ понятые, конечно. Они тоже говорили, объясняли... Были конечно, сомнѣвающіеся... Но громадное большинство поняло, что дѣло чистое... Благодарили, кричали ура! Мы имъ сказали рѣчь. Просили ихъ разойтись по домамъ... Не затруднять, такъ сказать, „дѣла свободы“... Скобелевъ очень хорошо говорилъ!

* * *

Это, кажется, единственное дѣло, которымъ я до извѣстной степени могу гордиться... Петропавловскую крѣпость съ могилами Императоровъ удалось спасти такимъ маневромъ. Уцѣлѣла „русская Бастилія“, въ которой въ теченіе двухъ вѣковъ консервировались „борцы за свободу“, тѣ, которые

столько времени сѣяли „разумное, доброе, вѣчное“ и наконецъ дождались всхода своихъ посѣвовъ...

О, скажетъ вамъ спасибо сердечное, скажетъ— русскій народъ...

Подождите только...

* * *

Я не помню. Тутъ начинается въ моихъ воспоминаніяхъ кошмарная каша, въ которой перепутываются: блѣдные офицеры; депутаціи; ура; марсельеза; молящій о спасеніи звонъ телефоновъ; безконечная вереница арестованныхъ; хвосты несчетныхъ городовыхъ; роковыя ленты съ прямого провода; бушующій Родзянко; внезапно появляющійся, трагически исчезающій Керенскій; спокойно-обреченный Шидловскій; двусмысленный Чхеидзе; что то дѣлающій Энгельгардъ; весьма странный Некрасовъ; раздражительный Ржевскій... Минутныя вспышки не то просвѣтлѣнія, не то головокруженія, когда доходятъ вѣсти, что дѣлается въ арміи и въ Россіи.. Отклики уже начали поступать: телеграммы, въ которыхъ въ восторженныхъ выраженіяхъ привѣтствовалась „власть Государственной Думы“...

Да, такъ имъ казалось издали.. Слава Богу, что такъ казалось... На самомъ дѣлѣ — никакой власти не было. Была съ одной стороны кучка людей, членовъ Государственной Думы, совершено задавленныхъ или вѣрнѣе раздавленныхъ тяжестью того, что на нихъ свалилось. Съ другой стороны была горсточка негодяевъ и маніаковъ, которые твердо знали, чего они хотѣли, но то, чего они хотѣли, было ужасно: это было — въ будущемъ разрушеніе міра, сейчасъ — гибель Россіи... Приказъ

№ 1, который валялся у насъ на столѣ, былъ этому доказательствомъ...

Но всетаки что то надо было дѣлать и во что бы то ни стало надо было ввести какой нибудь порядокъ въ надвигающуюся анархію. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просилъ Милюкова, чтобы онъ, наконецъ, занялся спискомъ министровъ. Въ концѣ концовъ онъ „занялся“.

* * *

Между безконечными разговорами съ тысячью людей, хватающихъ его за рукава; принятіемъ депутацій; рѣчами на нескончаемыхъ митингахъ въ Екатерининскомъ залѣ; сумасшедшей ѣздой по полкамъ; обсужденіемъ прямопроводныхъ телеграммъ изъ Ставки; грызней съ возрастающей наглостью Исполкома — Милюковъ, присѣвшій на минутку гдѣ то на уголкѣ стола, — писалъ списокъ министровъ...

И нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, и передъ самой революціей я пытался хоть сколько нибудь выяснить этотъ злосчастный списокъ. Но мнѣ отвѣчали, что „еще рано“. А вотъ теперь... теперь, кажется, было поздно...

* * *

— Министръ финансовъ?... Да, вотъ видите... это трудно...

Всѣ остальные какъ то выходятъ, а вотъ министръ финансовъ...

— А Шингаревъ?

— Да нѣтъ, Шингаревъ попадетъ въ земледѣліе...

— А Алексѣенко умеръ...

Счастливый Алексѣенко. Его тѣло везли въ торжественномъ катафалкѣ навстрѣчу революціонному народу, стремившемуся въ Таврическій Дворецъ...

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали изъ полковъ, гдѣ начались всякія насилія надъ офицерами... А терявшая голову человѣческая гуща зажимала насъ все тѣснѣе липкимъ повидломъ, въ которомъ нельзя было сдѣлать ни одного свободнаго движенія.

Надо было спѣшить... Мысленно нѣсколько разъ пробѣжавъ по расхлябанному морю знаменитой „общественности", пришлось убѣдиться, что въ общемъ плохо...

Князь Львовъ, о которомъ я лично не имѣлъ никакого понятія, а „общественность" твердила, что онъ замѣчательный, потому что управлялъ „Земгоромъ", непререкаемо въѣхалъ въ Милюковскомъ спискѣ на пьедесталъ премьера...

А кого мы, не-кадеты; могли-бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоялъ за Родзянко, онъ, можетъ быть, надѣлалъ бы неуклюжестей, но, по крайней мѣрѣ онъ не боялся и декламировалъ „Родину-Матушку" отъ сердца и такимъ зычнымъ голосомъ, что полки каждый разъ кричали за нимъ „ура"...

Правда были уже и такіе случаи, что послѣ рѣчей лѣвыхъ тотъ самый полкъ, который только что кричалъ „ура Родзянкѣ", неистово вопилъ „долой Родзянку". То была работа „этихъ мерзавцевъ"... Но, можетъ быть, именно Родзянко скорѣе другихъ способенъ былъ съ ними бороться... А впрочемъ — нѣтъ. Родзянко могъ бы бороться, если бы

у него было два-три совершенно надежныхъ полка. А такъ какъ въ этой проклятой кашѣ у насъ не было и трехъ человѣкъ надежныхъ, то Родзянко ничего бы не сдѣлалъ. И это было совершенно ясно хотя бы потому, что, когда объ этомъ заикались, всѣ немедленно кричали, что Родзянку „не позволятъ лѣвые“.

То есть какъ это „не позволятъ“?! Да такъ. Въ ихъ рукахъ все же была кой-какая сила, хоть и въ полуанархическомъ состояніи... У нихъ были какіе-то штыки, которые они могли натравить на насъ. И вотъ эти, „относительно владѣющіе штыками“, соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имѣли въ ихъ глазахъ ореолъ. Родзянко же былъ для нихъ только „помѣщикъ“ Екатеринославскій и Новгородскій, чью землю надо прежде всего отнять...

Итакъ, Львовъ — премьеръ... Затѣмъ, министръ иностранныхъ дѣлъ — Милюковъ, это не вызывало сомнѣній. Дѣйствительно, Милюковъ былъ головой выше другихъ и умомъ и характеромъ. Гучковъ — военный министръ. Гучковъ издавна интересовался военнымъ дѣломъ, за нимъ числились несомнѣнныя заслуги. Будучи руководителемъ третьей Государственной Думы, онъ очень много сдѣлалъ для Арміи. Онъ настоялъ на увеличеніи вдвое нашего артиллерійскаго запаса. Онъ старался продвинуть въ Армію все наиболѣе талантливое. Онъ первый дешифрировалъ Мясоѣдова...

Шингаревъ, какъ министръ земледѣлія, тоже былъ признаннымъ авторитетомъ. Неизвѣстно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюсъ, а минусъ...

Но это въ нашихъ глазахъ. А въ глазахъ кадетскихъ — совсѣмъ наоборотъ.

Прокуроръ Святѣйшаго Синода? Ну, конечно, Владиміръ Николаевичъ Львовъ. Онъ такой „церковникъ“ и такъ много что-то „обличалъ“ съ кафедры Государственной Думы...

Съ министромъ путей сообщенія было нѣсколько хуже, но все-таки оказалось, что инженеръ Бубликовъ, онъ же членъ Государственной Думы, онъ же рѣшительный человѣкъ, онъ же пріемлемый для лѣвыхъ „яко прогрессистъ“ — подходитъ.

Но вотъ министръ финансовъ не давался, какъ кладъ...

И вдругъ какимъ-то образомъ въ списокъ вскочилъ Терещенко.

* * *

Михаилъ Ивановичъ Терещенко былъ очень милъ, получилъ европейское образованіе, великолѣпно „лидировалъ“ автомобиль и вообще производилъ впечатлѣніе дэнди, гораздо больше, чѣмъ присяжные аристократы. Послѣднее время очень „интересовался революціей“, дѣлая что-то въ военно-промышленномъ комитетѣ. Кромѣ того былъ весьма богатъ.

Но почему, съ какой благодати онъ долженъ былъ стать министромъ финансовъ?

А вотъ потому, что Богъ наказалъ насъ за наше безсмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цѣпляясь за своихъ Штюрмеровъ, то также обречены были и мы, ибо сами сошли съ ума и свели

съ ума всю страну миѳомъ о какихъ-то геніальныхъ людяхъ, „общественнымъ довѣріемъ облеченныхъ", которыхъ на самомъ дѣлѣ вовсе и не было...

Очень милый и симпатичный Михаилъ Ивановичъ, которому кажется было года 32, — какимъ общественнымъ довѣріемъ онъ былъ облеченъ на роль министра финансовъ огромной страны, ведущей міровую войну въ разгарѣ революціи?..

Такъ, на кончикѣ стола, въ этомъ дикомъ водоворотѣ полусумасшедшихъ людей, родился этотъ списокъ изъ головы Милюкова, причемъ и голову эту пришлось сжимать обѣими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки въ будущемъ, да и самъ Милюковъ, вѣроятно, изобразятъ это совершенно не такъ: изобразятъ, какъ плодъ глубочайшихъ соображеній и результатъ „соотношенія реальныхъ силъ". Я же разсказываю, какъ было. Тургеневъ утверждалъ, что у русскаго народа „мозги — набекрень". Все наше революціонное движеніе ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатомъ которой и былъ этотъ списокъ полуникчемныхъ людей, какъ призъ за сто лѣтъ „борьбы съ Исторической Властью"...

* *
*

Тяжелѣе и глупѣе всего было въ этой исторіи положеніе наше, — консервативнаго лагеря. Ненависть къ революціи мы всосали, если не съ молокомъ матери, то съ Японской войны. Мы боролись съ революціей, сколько хватало нашихъ силъ, всю жизнь. Въ 1905-мъ мы ее задавили. Но вотъ въ 1915-омъ, главнымъ образомъ потому, что кадеты стали полу-патріотами, намъ, патріотамъ при-

шлось стать полу-кадетами. Съ этого все и пошло. „Мы будемъ твердить — все для войны, — если вы будете бранить власть“... И вотъ мы стали ругаться, чтобы воевали. И въ результатѣ оказались въ одномъ мѣшкѣ съ революціонерами, въ одной коллегіи съ Керенскимъ и Чхеидзе...

* * *

Неразсказываемый и непередаваемый бѣжалъ день... зарываясь въ безуміе... и грозя кровью...

* * *

Вечеромъ додумались пригласить въ „Комитетъ Государственной Думы“ делегатовъ отъ „Исполкома“, чтобы договориться до чего-нибудь. Всѣмъ было ясно, что выростающее двоевластіе представляетъ грозную опасность. Въ сущности вопросъ стоялъ — или мы, или они. Но „мы“ не имѣли никакой реальной силы. Ее замѣнялъ дождь телеграммъ, выражавшихъ сочувствіе Государственной Думѣ. „Они“ же не имѣли еще достаточно силы. Хотя въ ихъ рукахъ была безформенная масса взбунтовавшагося Петроградскаго гарнизона, но въ глазахъ Россіи происшедшее сотворилось „силою Государственной Думы“. Надо было сначала этотъ престижъ подорвать, чтобы можно было насъ ликвидировать. Поэтому мы ихъ позвали, а они — пришли...

* * *

Пришло трое... Николай Дмитріевичъ Соколовъ, присяжный повѣренный, человѣкъ очень лѣвый и очень глупый, о которомъ говорили, что онъ авторъ приказа № 1. Если онъ его и писалъ, то подъ чью-то диктовку. Кромѣ Соколова при-

шло двое, — двое евреевъ. Одинъ — впослѣдствіи столь знаменитый Стекловъ-Нахамкесъ, другой — менѣе знаменитый Сухановъ-Гиммеръ, но еще болѣе, можетъ быть, омерзительный...

* * *

Я не помню, съ чего началось. Очевидно, ихъ упрекали въ томъ, что они ведутъ подкопъ противъ Комитета Государственной Думы, что этимъ путемъ они подрываютъ единственную власть, которая имѣетъ авторитетъ въ Россіи и можетъ сдержать анархію. Я не помню, что́ они отвѣчали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно изъ двухъ: или арестуйте всѣхъ насъ, посадите въ Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править намъ.

И помню отвѣтъ Стеклова:

— Мы не собираемся васъ арестовывать...

* * *

Стекловъ былъ похожъ на красивыхъ мѣстечковыхъ евреевъ, какими бываютъ содержатели гостинницъ, когда ихъ сыновья получаютъ высшее образованіе. Высшее образованіе самого Стеклова, кажется, было получено въ зубоврачебномъ кабинетѣ или гдѣ-то въ этомъ родѣ. Впрочемъ, это все равно. Развѣ иные русскіе, кончившіе два факультета, были умнѣе и лучше его? А можетъ быть, онъ образовался въ салонѣ своей жены, которая содержала „institut de beauté"... Во всякомъ случаѣ это былъ весьма здоровенный человѣкъ съ большой окладистой бородой, такъ что на первый взглядъ онъ могъ сойти за московскаго „русака"...

Гиммеръ — худой, тщедушный, бритый, съ хо-

лодной жестокостью въ лицѣ, до того злобномъ, что оно иногда даже переставало казаться актерскимъ... У дьявола могъ бы быть такой секретарь...

* * *

За этихъ людей взялся Милюковъ. Съ упорствомъ, ему одному свойственнымъ, онъ требовалъ отъ нихъ: написать воззваніе, чтобы не дѣлали насилій надъ офицерами

Сама постановка дѣла ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеровъ, мы должны были чуть ли не на колѣняхъ умолять двухъ мерзавцевъ „изъ жидовъ“ и одного „русскаго дурака“, никому не извѣстныхъ, абсолютно ничего изъ себя не представляющихъ!

Кто это мы? Самъ Милюковъ, прославленный российской общественности вождь, сверхъ-человѣкъ народнаго довѣрія! И мы — вся остальная дружина, которые какъ никакъ могли себя считать „всероссійскими именами“.

И вотъ со всѣмъ нашимъ всероссійствомъ мы были безсильны. Нахамкесъ и Гиммеръ, неизвѣстно откуда взявшіеся, — они были властны рѣшить, будутъ ли этой ночью убивать офицеровъ или пока помилуютъ...

* * *

Какимъ образомъ это произошло, даже трудно понять, но это такъ.

И Милюковъ убѣждалъ, умолялъ, заклиналъ...

* * *

Это продолжалось долго, безконечно... Это не было уже засѣданіе. Было такъ... Нѣсколько человѣкъ, совершенно изнеможденныхъ, лежали въ кре-

слахъ, а эти три пришельца сидѣли за столикомъ вмѣстѣ съ сѣдовласымъ Милюковымъ. Они, собственно, вчетверомъ вели дебаты, мы изрѣдка подавали реплики изъ глубины прострацiи...

Керенскiй то входилъ, то выходилъ, какъ всегда, — молнiеносно и драматически. Онъ бросалъ какую нибудь трагическую фразу и исчезалъ. Но въ концѣ концовъ совершенно изнеможденный и онъ упалъ въ одно изъ креселъ...

Милюковъ продолжалъ торговаться...

* * *

Неподалеку отъ меня, въ такомъ же рамольномъ креслѣ, маленькiй, худой, заросшiй, лежалъ Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломало...

Въ это время Милюковъ съ этими тремя велъ безконечный споръ насчетъ „выборнаго офицерства". Въ этотъ споръ иногда припутывался Энгельгардтъ, который, какъ полковникъ генеральнаго штаба, считался спецiалистомъ военнаго дѣла. Милюковъ доказывалъ, что выборное офицерство невозможно, что его нѣтъ нигдѣ въ мiрѣ и что армiя развалится.

Тѣ трое говорили наоборотъ, что только та армiя хороша, въ которой офицеры пользуются довѣрiемъ солдатъ. Въ сущности они говорили совершенно то, что мы твердили послѣднiе полтора года, когда утверждали: то правительство крѣпко, которое пользуется довѣрiемъ народа. Но всѣ думали при этомъ, что гражданское управленiе — это одно, а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммеръ не понималъ...

Не знаю почему, меня потянуло къ Чхеидзе Я подошелъ и, наклонившись надъ распростертой маленькой фигуркой, спросилъ шепотомъ.

— Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что выборное офицерство — это хорошо?

Онъ поднялъ на меня совершенно усталые глаза, заворочалъ бѣлками, и шепотомъ-же отвѣтилъ со своимъ кавказскимъ акцентомъ, который придавалъ странную выразительность тому, что онъ сказалъ:

— И вообще все пропало.. Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Можетъ быть, выборное офицерство будетъ чудо... Можетъ, не будетъ... Надо пробовать... хуже не будетъ... Потому что я вамъ говорю: все пропало...

Я не успѣлъ достаточно оцѣнить этотъ отвѣтъ одного изъ самыхъ видныхъ представителей „революціоннаго народа", который на третій день революціи пришелъ къ выводу, что „все пропало", не успѣлъ потому, что ихъ свѣтлости Нахамкесъ и Гиммеръ милостиво изволили соизволить на написаніе воззванія, „чтобы не убивали офицеровъ"...

* *
*

Пошли писать. Въ это время меня вызвали.

Въ сосѣдней комнатѣ было полнымъ полно всякаго народа. Явственно чувствовалось, какъ измученная человѣческая стихія въ качествѣ послѣдняго оплота бьется въ убогія двери „Комитета Государственной Думы".

Кто-то изъ членовъ Думы, кажется, Можайскій, схватилъ меня за рукава:

— Вотъ ради Бога. Поговорите съ этими офицерами. Они васъ добиваются...

Взволнованная группка въ формѣ.

— Мы изъ „Арміи и Флота“...

— Что тамъ такое?

— Тамъ собрались офицеры... Нѣсколько тысячъ... Настроеніе такое — наше, словомъ „за Государственную Думу“... Вотъ мы составили резолюцію... Хотимъ посовѣтоваться... Еще можно измѣнить...

Я прочелъ резолюцію. Въ общемъ все было болѣе или менѣе возможно, принимая во вниманіе сумасшествіе момента. Но были вещи, которыя съ моей точки зрѣнія и сейчасъ нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно что, но въ томъ смыслѣ, что необходимо добиваться Всероссійскаго Учредительнаго Собранія, избраннаго „всеобщимъ, тайнымъ, равнымъ“ — словомъ, по четыреххвосткѣ. Я кратко объяснилъ, что говорить объ Учредительномъ Собраніи не нужно, что это еще вовсе не рѣшено.

— А мы думали, что это уже кончено. . Если нѣтъ, тѣмъ лучше, еще бы! Чертъ съ нимъ...

Они обѣщали Учредительное Собраніе вычеркнуть и провести это въ собраніи.

— Мы имѣемъ большинство... Какъ скажете — такъ и будетъ!...

* *
*

Но они не смогли... Перепрыгнуло-ли настроеніе, или что другое помѣшало, но словомъ, когда я прочелъ эту резолюцію позже въ печатномъ видѣ, въ ней уже стояло требованіе Учредительнаго Собранія.

Это надо запомнить. 1-го марта вечеромъ, т. е. на третій день революціи самая „реакціонная“ и

самая дѣйственная часть офицерства въ столицѣ, ибо таковы были собравшіеся въ залѣ „Арміи и Флота", все же находилась подъ такимъ гипнозомъ или страхомъ, что должна была „требовать" Учредительнаго Собранія...

* * *

Гиммеръ, Соколовъ и Нахамкесъ написали воззваніе. „Засѣданіе" какъ бы возобновилось. Чхеидзе и Керенскій въ разныхъ углахъ комнаты лежали на креслахъ... Милюковъ съ тѣми тремя — у столика... Остальные болѣе или менѣе — въ безпорядкѣ.

Началось чтеніе этого документа...

Онъ былъ длинный. Девять десятыхъ его были посвящены тому — какіе мерзавцы офицеры, какіе они крѣпостники, реакціонеры, приспѣшники стараго режима, гасители свободы, прислужники реакціи и помѣщиковъ. Однако, въ трехъ послѣднихъ строкахъ было сказано, что всетаки ихъ убивать не слѣдуетъ...

Всѣ возмутились... Въ одинъ голосъ всѣ сказали, что эта прокламація не поведетъ къ успокоенію, а, наоборотъ, къ сильнѣйшему разжиганію. Гиммеръ и Нахамкесъ отвѣтили, что иначе они не могутъ. Кто-то изъ насъ вспылилъ, но Милюковъ вцѣпился въ нихъ мертвой хваткой. Очевидно онъ надѣялся на свое, всѣмъ извѣстное упрямство, передъ которымъ ни одинъ кадетъ еще не устоялъ. Онъ взялъ бумажку въ руки и сталъ пространно говорить о каждой фразѣ, почему она немыслима. Тѣ такъ же пространно отвѣчали, почему они не могутъ ее измѣнить,..

* * *

Чхеидзе лежалъ. Керенскій иногда вскакивалъ и убѣгалъ куда-то, потомъ опять появлялся. Къ нему вѣчно рвались какія то темныя личности, явно оттуда — изъ Исполкома. Очевидно, онъ имѣлъ тамъ серьезное вліяніе... Можетъ быть, шла торгобля изъ за списка министровъ.

* * *

Я не помню, сколько часовъ все это продолжалось. Я совершенно извелся и пересталъ помогать Милюкову, что сначала пытался дѣлать. Направо отъ меня лежалъ Керенскій, прибѣжавшій откуда-то повидимому въ состояніи полнаго изнеможенія. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Одинъ Милюковъ сидѣлъ упрямый и свѣжій. Съ карандашемъ въ рукахъ онъ продолжалъ грызть совершенно безнадежный документъ. Противъ него эти трое сидѣли неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать соціальное значеніе офицеровъ, иначе революціонная армія ихъ не пойметъ. Мнѣ ясно запомнились они — около освѣщеннаго столика и остальная комната — въ полутьмѣ. Этотъ ихъ турниръ былъ символиченъ: кадетъ, уламывающій соціалистовъ. Такъ, вѣдь, было нѣсколько мѣсяцевъ, пока мы, лежащіе не взялись за умъ, т. е. за винтовку.

* * *

Мнѣ показалось, что я слышу слабый запахъ эфира. Въ это время Керенскій, лежавшій пластомъ, вскочилъ, какъ на пружинахъ...

— Я желалъ бы поговорить съ вами...

Это онъ сказалъ тѣмъ тремъ. Рѣзко, тѣмъ

безаппеляціонно-шекспировскимъ тономъ, который онъ усвоилъ въ послѣдніе дни...

— Только наединѣ!.. Идите за мною!...

Они пошли... На порогѣ онъ обернулся:

— Пусть никто не входитъ въ эту комнату...

Никто и не собирался. У него былъ такой видъ, точно онъ будетъ пытать ихъ въ „этой комнатѣ".

* * *

Черезъ четверть часа дверь „драматически" распахнулась. Керенскій блѣдный, съ горящими глазами:

— Представители Исполнительнаго Комитета согласны на уступки...

Тѣ тоже были блѣдны. Или такъ мнѣ показалось. Керенскій снова свалился въ кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этотъ разъ онъ быстро выработалъ удовлетворительный текстъ: трое, дѣйствительно, соглашались...

* * *

Бросились въ типографію. Но было уже поздно: революціонные наборщики прекратили уже работу. Было два-три часа ночи.

Гиммеръ, Нахамкесъ и Соколовъ ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришелъ какой-то полкъ, который хотѣлъ засвидѣтельствовать свою вѣрность Государственной Думѣ. На дворѣ была вьюга, они шли верстъ сорокъ пѣшкомъ. И въ три часа ночи пришли поклониться Государственной Думѣ. Родзянко пошелъ съ ними разговаривать, и скоро обычный ревъ донесся оттуда. Очевидно,

„Родина-Матушка“ подѣйствовала еще разъ, — кричали „ура“...

* * *

Въ это время пріѣхалъ Гучковъ. Онъ былъ въ очень мрачномъ состояніи.

— Настроеніе въ полкахъ ужасное... Я не убѣжденъ, не происходитъ-ли сейчасъ убійствъ офицеровъ. Я объѣзжалъ лично и видѣлъ... Надо на что-нибудь рѣшиться.. И надо скорѣе... Каждая минута промедленія будетъ стоить крови... будетъ хуже, будетъ хуже...

Онъ уѣхалъ.

* * *

Вернувшись, Родзянко безъ конца читалъ намъ безконечныя ленты съ прямого провода. Это были телеграммы отъ Алексѣева изъ Ставки и Рузскаго изъ Пскова. Алексѣевъ находилъ необходимымъ отреченіе Государя Императора.

* * *

Эта мысль объ отреченіи Государя была у всѣхъ, но какъ-то объ этомъ мало говорили. Вообще-же было только нѣсколько человѣкъ, которые въ этомъ ужасномъ сумбурѣ думали объ основныхъ линіяхъ. Всѣ остальные, потрясенные ближайшимъ, занимались тѣмъ, чѣмъ занимаются на пожарахъ: качаютъ воду, спасаютъ погибающихъ и пожитки, суетятся и бѣгаютъ.

Мысль объ отреченіи созрѣвала въ умахъ и сердцахъ какъ-то сама по себѣ. Она росла изъ ненависти къ Монарху, не говоря о всѣхъ прочихъ чувствахъ, которыми день и ночь хлестала намъ въ лицо революціонная толпа. На третій день рево-

люціи вопросъ о томъ, можетъ-ли царствовать дальше Государь, которому безнаказанно брошены въ лицо всѣ оскорбленія, былъ уже, очевидно, рѣшенъ въ глубинѣ души каждаго изъ насъ.

Обрывчатые разговоры были то съ тѣмъ, то съ другимъ. Но я не помню, чтобы этотъ вопросъ обсуждался комитетомъ Государственной Думы, какъ таковымъ. Онъ былъ рѣшенъ въ послѣднюю минуту.

Въ эту ночь онъ вспыхивалъ нѣсколько разъ по поводу этихъ узенькихъ ленточекъ, которыя сворачивалъ въ рукахъ Родзянко, читая. Ужасныя ленточки. Эти ленточки были нитью, связывавшей насъ съ арміей, съ той арміей, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смыслъ похода на правительство съ 1915 года былъ одинъ: чтобы армія сохранилась, чтобы армія дралась... И вотъ теперь по этимъ ленточкамъ надо было рѣшить, какъ поступить... Что для нея сдѣлать?

* *
*

Кажется въ четвертомъ часу ночи вторично пріѣхалъ Гучковъ. Онъ былъ сильно разстроенъ. Только что рядомъ съ нимъ въ автомобилѣ убили князя Вяземскаго. Изъ какихъ то казармъ обстрѣляли „офицера“...

* *
*

И тутъ собственно это и рѣшилось. Насъ былъ въ это время неполный составъ. Были Родзянко, Милюковъ, я — остальныхъ не помню... Но помню, что ни Керенскаго, ни Чхеидзе не было. Мы были въ своемъ кругу. И потому Гучковъ го-

ворилъ совершенно свободно. Онъ сказалъ приблизительно слѣдующее:

— Надо принять какое нибудь рѣшеніе. Положеніе ухудшается съ каждой минутой. Вяземскаго убили только потому, что онъ офицеръ... То же самое происходитъ, конечно, и въ другихъ мѣстахъ.. А если не происходитъ этой ночью, то произойдетъ завтра... Идучи сюда, я видѣлъ много офицеровъ въ разныхъ комнатахъ Государственной Думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляютъ спасти ихъ... Надо на что то рѣшиться... На что-то большое. что могло бы произвести впечатлѣніе... Что дало бы исходъ .. Что могло бы вывести изъ ужаснаго положенія съ наименьшими потерями... Въ этомъ хаосѣ, во всемъ, что дѣлается, надо прежде всего думать о томъ, чтобы спасти монархію... Безъ монархіи Россія не можетъ жить... Но, видимо, нынѣшнему Государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повелѣніе отъ его лица — уже не повелѣніе: его не исполнятъ... Если это такъ, то можемъ ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этотъ революціонный сбродъ начнетъ самъ искать выхода... И самъ расправится съ монархіей... Межъ тѣмъ, это неизбѣжно будетъ, если мы выпустимъ иниціативу изъ нашихъ рукъ.

Родзянко сказалъ:

— Я долженъ былъ сегодня утромъ ѣхать къ Государю... Но меня не пустили... Они объявили мнѣ, что не пустятъ поѣзда, и требовали, чтобы я ѣхалъ съ Чхеидзе и батальономъ солдатъ...

— Я это знаю, — сказалъ Гучковъ. — Поэтому дѣйствовать надо иначе... Надо дѣйствовать тай-

но и быстро, никого не спрашивая... ни съ кѣмъ не совѣтуясь... Если мы сдѣлаемъ по соглашенію съ „ними“, то это непремѣнно будетъ наименѣе выгодно для насъ. Надо поставить ихъ передъ свершившимся фактомъ... Надо дать Россіи новаго Государя... Надо этимъ новымъ знаменемъ собрать то, что можно собрать... для отпора!.. Для этого надо дѣйствовать быстро и рѣшительно...

— То есть — точнѣе? — Что вы предполагаете сдѣлать?

— Я предлагаю немедленно ѣхать къ Государю и привезти отреченіе въ пользу Наслѣдника..

Родзянко сказалъ:

— Рузскій телеграфировалъ мнѣ, что онъ уже говорилъ объ этомъ съ Государемъ... Алексѣевъ запросилъ главнокомандующихъ фронтами о томъ же. Отвѣты ожидаются...

— Я думаю, надо ѣхать — сказалъ Гучковъ. — Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поѣду... Но мнѣ бы хотѣлось, чтобы поѣхалъ еще кто нибудь...

Мы переглянулись... Произошла продолжительная пауза, послѣ которой я сказалъ:

— Я поѣду съ вами...

* * *

Мы обмѣнялись еще нѣсколькими словами. Я постарался уточнить: Комитетъ Государственной Думы признаетъ единственнымъ выходомъ въ данномъ положеніи отреченіе Государя Императора, поручаетъ намъ двоимъ доложить объ этомъ Его Величеству и въ случаѣ Его согласія поручаетъ

привезти текстъ отреченія въ Петроградъ. Отреченіе должно произойти въ пользу Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевича. Мы должны ѣхать вдвоемъ, въ полной тайнѣ.

* * *

Я отлично понималъ, почему я ѣду. Я чувствовалъ, что отреченіе случится неизбѣжно, и чувствовалъ, что невозможно поставить Государя лицомъ къ лицу съ „Чхеидзе"... Отреченіе должно быть передано въ руки монархистовъ и ради спасенія монархіи.

Кромѣ того было еще другое соображеніе. Я зналъ, что офицеровъ будутъ убивать за то, что они монархисты, за то, что они захотятъ исполнить свой долгъ присяги Царствующему Императору до конца. Это, конечно, относится къ лучшимъ офицерамъ. Худшіе приспособятся. И вотъ для этихъ лучшихъ надо было, чтобы самъ Государь освободилъ ихъ отъ присяги, отъ обязанности повиноваться Ему. Онъ только Одинъ могъ спасти настоящихъ офицеровъ, которые нужны были, какъ никогда. Я зналъ, что въ случаѣ отреченія въ наши руки, революціи какъ-бы не будетъ. Государь отречется отъ престола по собственному желанію, власть перейдетъ къ Регенту, который назначитъ новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспускѣ и подхватившая власть только потому, что старые министры разбѣжались,—передастъ эту власть новому правительству. Юридически революціи не будетъ...

Я не зналъ, удастся ли этотъ планъ при наличіи Гиммеровъ, Нахамкесовъ и приказа № 1. Но

во всякомъ случаѣ онъ представлялся мнѣ единственнымъ. Для всякаго иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующіеся намъ штыки, а таковыхъ-то именно и не было...

* * *

Въ пятомъ часу ночи мы сѣли съ Гучковымъ въ автомобиль, который по мрачной Шпалерной, гдѣ насъ останавливали какіе-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой Сергіевской довезъ насъ до квартиры Гучкова. Тамъ А. И. набросалъ нѣсколько словъ. Этотъ текстъ былъ составленъ слабо, а я совершенно былъ неспособенъ его улучшить, ибо всѣ силы были на исходѣ.

Послѣдніе дни „конституціи".

2-ое Марта 1917 года.

Чуть сѣрѣло, когда мы подъѣхали къ вокзалу Очевидно, революціонный народъ, утомленный подвигами вчерашняго дня, еще спалъ. На вокзалѣ было пусто.

Мы прошли къ начальнику станціи. Александръ Ивановичъ сказалъ ему:

— Я — Гучковъ... Намъ совершенно необходимо по важнѣйшему государственному дѣлу ѣхать въ Псковъ... Прикажите подать намъ поѣздъ...

Начальникъ станціи сказалъ: „слушаюсь", и черезъ двадцать минутъ поѣздъ былъ поданъ.

* * *

Это былъ паровозъ и одинъ вагонъ съ салономъ и съ спальнями. Въ окна замелькалъ сѣрый день. Мы наконецъ были одни, вырвавшись изъ этого ужаснаго человѣческаго круговорота, который держалъ насъ въ своемъ липкомъ веществѣ въ теченіе трехъ сутокъ. И впервые значеніе того, что мы дѣлаемъ, стало передо мной, если не во всей своей колоссальной огромности, которую въ то время не могъ охватить никакой человѣческій умъ, то по крайней мѣрѣ въ рамкахъ доступности...

* * *

Тотъ роковой путь, который привелъ меня и такихъ, какъ я, къ этому дню 2 марта, бѣжалъ въ моихъ мысляхъ такъ же, какъ эта унылая лента

желѣзнодорожныхъ пейзажей, тамъ за окнами вагона... День за днемъ наматывался этотъ клубокъ... Въ немъ были этапы, какъ здѣсь — станціи... Но были эти „станціи“ моего пути далеко не такъ безрадостны, какъ вотъ эти, мимо которыхъ мы сейчасъ проносились...

* * *

Въ первый разъ въ своей жизни я видѣлъ Государя въ 1907 году въ маѣ мѣсяцѣ. Это было во время второй Государственной Думы.

Вторая Государственная Дума, какъ извѣстно, была Думой „народнаго гнѣва“ и невѣжества, — антинаціональная, антимонархическая, словомъ — революціонная. Она такъ живо вспоминалась мнѣ теперь. Вѣдь всѣ эти гнусныя лица, которыя залили Таврическій Дворецъ, — я ихъ видѣлъ когда-то... не ихъ именно, но такія же. Это именно было тогда, когда 1907 годъ выбросилъ на кресла Таврическаго Дворца самыхъ махровыхъ представителей „демократической Россіи“.

Насъ было сравнительно немного тогда, членовъ Государственной Думы умѣренныхъ воззрѣній. Отборъ былъ сдѣланъ въ первый же день „провокаціоннымъ“ съ нашей стороны способомъ. Когда Голубевъ читалъ Указъ объ открытіи Думы, при словахъ „по Указу Его Императорскаго Величества“ — всѣ „порядочные“ люди встали. Всѣ „мерзавцы“ остались сидѣть. „Порядочныхъ“ оказалось, кажется, 101, и сто первымъ былъ П. Б. Струве.

Сто человѣкъ удостоились Высочайшаго пріема, причемъ мы были приняты небольшими группами въ три раза.

Это былъ чудный весенній день, и все было такъ внове. И спеціальный поездъ, поданный для членовъ Государственной Думы изъ Царскаго Села, и придворные экипажи, и лакеи более важные, чемъ самые могущественные вельможи, и товарищи по Думе во фракахъ, разряженные, какъ на балъ, и, вообще, вся эта атмосфера, которую испытываютъ, такъ сказать, монархисты по крови—да еще провинціальные, когда они приближаются къ Тому, Кому после Бога одному повинуются...

* * *

Это было въ одномъ изъ небольшихъ флигелей дворца. Въ небольшомъ зале мы стояли овальнымъ полукругомъ. Поставили насъ какіе то придворные чины, въ томъ числе князь Путятинъ, который, помню, сказалъ мне: „Вы изъ острожскаго уезда? Значитъ, мы земляки“. Онъ хотелъ сказать этимъ, что они ведутъ свой родъ отъ князей Острожскихъ.

Пріемъ былъ назначенъ въ два часа. Ровно въ два, соблюдая французскую поговорку „l'exactitude c'est la politesse des rois“, — кто то вошелъ въ залъ, сказавъ:

— Государь Императоръ...

Полуовальный кружокъ затихъ, и въ залъ вошелъ офицеръ среднихъ летъ, въ которомъ нельзя было не узнать Государя (въ форме стрелковъ — малиновая шелковая рубашка у ворота), и дама высокаго роста — вся въ беломъ, въ большой белой шляпе, которая держала за руку прелестнаго мальчика, совершенно такого, какимъ мы знали его по последнимъ портретамъ — въ белой рубашенке и большой белой папахе.

Государыню узнать было труднѣе. Она не похожа была на свои портреты.

Государь началъ обходъ. Не помню, кто тамъ былъ въ началѣ. Рядомъ со мной стоялъ профессоръ Г. Е. Рейнъ, а потомъ — Пуришкевичъ. Я слѣдилъ за Государемъ, какъ Онъ переходилъ отъ одного къ другому, но говорилъ Онъ тихо, и отвѣты были такіе же тихіе — я ихъ не слышалъ. Но я ясно слышалъ разговоръ съ Пуришкевичемъ. Нервно дергаясь, какъ было ему свойственно, Пуришкевичъ — я видѣлъ — накалялся.

Государь подвинулся къ нему—такъ, какъ Онъ имѣлъ, видимо, привычку это дѣлать, такъ сказать, скользя въ бокъ по паркету.

Кто-то назвалъ Владиміра Митрофановича. Впрочемъ, Государь его, навѣрное, зналъ въ лицо, ибо обладалъ, какъ говорили, удивительной памятью на лица.

Насъ всѣхъ живѣйшимъ образомъ интересовало — скоро ли распустятъ Государственную Думу, ибо Думу „народнаго гнѣва и невѣжества“ мы ненавидѣли такъ же страстно, какъ она ненавидѣла правительство. Этимъ настроеніемъ Пуришкевичъ былъ проникнутъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, и поэтому, когда Государь приблизился къ нему и спросилъ его что то, — онъ не выдержалъ:

— Ваше Величество, мы всѣ ждемъ — не дождемся, когда кончится это позорище! Это собраніе измѣнниковъ и предателей... которые революціонизируютъ страну... это гнѣздо разбойниковъ, засѣвшее въ Таврическомъ Дворцѣ! Мы страстно ожидаемъ приказа Вашего Императорскаго Величества о роспускѣ Государственной Думы!..

Пуришкевичъ весь задергался, дѣлая величайшія усилія, чтобы не пустить въ ходъ жестикуляцію рукъ, что ему удалось, но браслетка, которую онъ всегда носилъ на рукѣ, все же зазвѣнѣла.

На лицѣ Государя появилась какъ бы четверть улыбки. Послѣдовала маленькая пауза, послѣ которой Государь отвѣтилъ весьма отчетливо, негромкимъ, но увѣреннымъ, низкимъ глосомъ, котораго трудно было ожидать отъ общей Его внѣшности:

— Благодарю васъ за вашу всегдашнюю преданность Престолу и Родинѣ. Но этотъ вопросъ предоставьте Мнѣ...

Государь перешелъ къ слѣдующему — профессору Г. Е. Рейну, и говорилъ съ нимъ нѣкоторое время. Георгій Ермолаевичъ отвѣчалъ браво, весело и какъ то пріятно. Послѣ этого Государь подошелъ ко мнѣ.

Наслѣдникъ въ это время разсматривалъ фуражку Г. Е. Рейна, которую онъ держалъ въ опущенной рукѣ, какъ разъ на высотѣ глазъ ребенка. Онъ видимо сравнивалъ ее со своей бѣлой папахой. Рейнъ наклонился, что-то объясняя ему. Государыня просвѣтлѣла и улбынулась, какъ улыбаются матери.

Государь обратился ко мнѣ...

Я въ первый разъ въ жизни увидѣлъ Его взглядъ. Взглядъ былъ хорошій и спокойный. Но большая нервность чувствовалась въ Его манерѣ подергивать плечемъ, очевидно, Ему свойственной. И было въ немъ что то женственное и застѣнчивое.

Кто то, кто насъ представлялъ — назвалъ ме-

ня, сказавъ что я отъ Волынской губерніи. Государь подалъ мнѣ руку и спросилъ:

— Кажется, вы, отъ Волынской губерніи — всѣ правые?

— Такъ точно, Ваше Императорское Величество.

— Какъ это вамъ удалось?

При этихъ словахъ Онъ почти весело улыбнулся. Я отвѣтилъ:

— Насъ, Ваше Величество, спаяли національныя чувства. У насъ, русское землевладѣніе, и духовенство, и крестьянство шли всѣ вмѣстѣ, какъ русскіе. На окраинахъ, Ваше Величество, національныя чувства сильнѣе, чѣмъ въ центрѣ...

Государю эта мысль, видимо, понравилась. И Онъ отвѣтилъ тономъ, какъ будто бы мы запросто разговаривали, что меня поразило:

— Но вѣдь оно и понятно. Вѣдь у васъ много національностей... кипятъ. Тутъ и поляки, и евреи. Оттого русскія національныя чувства на Западѣ Россіи — сильнѣе... будемъ надѣяться, что они передадутся и на Востокъ...

Какъ извѣстно, впослѣдствіи эти же слова высказалъ въ своей знаменитой телеграммѣ Кіеву (кіевскому клубу русскихъ націоналистовъ) и П. А. Столыпинъ *).

Государь спросилъ еще что то, личное, и, очень милостиво простившись со мною, пошелъ дальше. Государыня сказала мнѣ нѣсколько словъ.

Меня поразила сцена съ однимъ изъ нашихъ

*) „Твердо вѣрю, что загорѣвшійся на Западѣ Россіи свѣтъ русской національной идеи не погаснетъ и скоро озаритъ всю Россію...“

священниковъ. Онъ при приближенiи Государя сталъ на колѣни и страшно растроганнымъ басомъ говорилъ какiя то нескладныя слова.

Государь, видимо сконфуженный, поднялъ его, и, принявъ отъ него благословенiе, поцѣловалъ ему руку.

Былъ среди представлявшихся членовъ Думы — Лукашевичъ, отъ Полтавской губернiи, очень немолодой, очень симпатичный, но хитрый, какъ настоящiй хохолъ. Намъ всѣмъ, какъ я уже говорилъ, очень хотѣлось узнать, когда распустятъ Государственную Думу. Но примѣръ Пуришкевича показалъ, что Государь не разрѣшаетъ объ этомъ говорить. Но Лукашевичъ сумѣлъ такъ повернуть дѣло, что мы всѣ поняли.

Государь спросилъ Лукашевича, гдѣ онъ служитъ. Онъ отвѣтилъ:

— Во флотѣ Вашего Императорскаго Величества. Потомъ вышелъ въ отставку и долго былъ предсѣдателемъ Земской Управы. А теперь вотъ выбрали въ Государственную Думу. И очень мнѣ неудобно, потому что сижу въ Петербургѣ и дѣла земскiя запускаю. Если это долго продолжится, я долженъ подать въ отставку изъ Земства. Такъ вотъ и не знаю...

И онъ остановился, смотря Государю прямо въ глаза съ самымъ невиннымъ видомъ...

Государь улыбнулся и перешелъ къ слѣдующему, но, повидимому, Ему понравилась эта своеобразная хитрость. Онъ еще разъ повернулся къ Лукашевичу и, улыбаясь, сказалъ ему:

— Погодите подавать въ отставку...

Въ эту минуту мы всѣ поняли, что дни Госу-

дарственной Думы сочтены. И обрадовались этому до чрезвычайности. Ни у кого изъ насъ не было сомнѣній, что Думу „народнаго гнѣва и невѣжества" надо гнать безпощадно.

Обойдя всѣхъ, Государь вышелъ на середину полукруга и сказалъ короткую рѣчь.

Я не помню ее всю, но ясно помню ея конецъ:

— Благодарю васъ за то, что вы мужественно отстаиваете тѣ устои, при которыхъ Россія росла и крѣпла...

Государь говорилъ негромко, но очень явственно и четко. Голосъ у него былъ низкій, довольно густой, а выговоръ чуть чуть съ налетомъ иностранныхъ языковъ. Онъ мало выговаривалъ „ѣ", почему послѣднее слово звучало не какъ „крѣпла", а почти какъ — „крепла"...

Этотъ гвардейскій акцентъ — единственное, что показалось мнѣ, провинціалу, чужимъ. А остальное было близкое, но не величественное, а наоборотъ, симпатичное своей застѣнчивостью.

Странно, что и Государыня производила то же впечатлѣніе застѣнчивости. Въ ней чувствовалось, что за долгіе годы Она все же не привыкла къ этимъ „пріемамъ". И неувѣренность Ея была большая, чѣмъ робость Ея собесѣдниковъ.

Но кто былъ совершенно въ себѣ увѣренъ и въ комъ одномъ было больше „величественности", чѣмъ въ его обоихъ царственныхъ родителяхъ — это былъ маленькій мальчикъ — Цесаревичъ. Въ бѣлой рубашечкѣ съ бѣлой папахой въ рукахъ, ребенокъ былъ необычайно красивъ.

Послѣ рѣчи Государя — мы усердно кричали

„ура“. Онъ простился съ нами общимъ поклономъ— „одной головой“ — и вышелъ изъ маленькой залы, которая въ этотъ день была вся пронизана свѣтомъ.

Хорошій былъ день. Веселый, теплый. Всѣ вышли радостные...

Несмотря на застѣнчивость Государя, мы всѣ почувствовали, что Онъ въ хорошемъ настроеніи. Увѣренъ въ себѣ, значитъ и въ судьбѣ Россіи.

Подъ мягкій рокотъ колесъ придворныхъ экипажей по удивительнымъ аллеямъ Царскаго Села, мы, радостно-возбужденные, говорили о томъ, что безобразному кабаку, именовавшемуся 2-ой Государственной Думой, скоро конецъ. И дѣйствительно, недѣли черезъ двѣ, а именно 2 іюня, она была распущена, и „гнѣвъ народа“ не выразился абсолютно ни въ чемъ. Въ этотъ день одинъ изъ полковъ нѣсколько разъ подъ музыку прошелъ по Невскому въ полномъ порядкѣ, и 3-ее іюня совершало свое побѣдоносное вступленіе надъ Россіей.

Я цѣлый день ходилъ по городу, чтобы опредѣлить, какъ я сказалъ своимъ друзьямъ — есть ли у насъ самодержавіе.

И вечеромъ, обѣдая у Донона, чокнулся съ Крупенскимъ, сказавъ ему:

— Дорогой другъ — самодержавіе есть...

* * *

Съ тѣхъ поръ прошло года полтора. Это было въ началѣ 1909 года. 3-ья Государственная Дума приступила подъ дуумвиратомъ Столыпинъ — Гучковъ къ своимъ большимъ задачамъ.

Оппозиція по крайней своей ограниченности не понимая, какое большое дѣло происходитъ передъ

ея глазами, всячески мѣшала реформаціоннымъ работамъ. Одной изъ очередныхъ пакостей былъ ни къ селу ни къ городу внесенный законопроектъ „объ отмѣнѣ смертной казни". Моя фракція („правыхъ") поручила мнѣ говорить „противъ".

Но когда на слѣдующее утро это дѣло стало разбираться, возникъ обычный вопросъ о „желательности" передачи этого законопроекта въ комиссію.

По тогдашнему наказу противъ желательности передачи въ комиссію могъ говорить только одинъ ораторъ. Случилось такъ, что двое подали записки одновременно. Это были Гегечкори и я. Гегечкори— потому, что онъ хотѣлъ „отмѣнить" смертную казнь немедлено, безъ комиссіи, а я — потому, что я хотѣлъ точно такъ же, безъ комиссіи, ее „утвердить".

Пришлось тянуть жребій. Я его вытащилъ. Помню, какъ Крупенскій съ мѣста своимъ характернымъ басомъ воскликнулъ:

— Есть Богъ!

Я сказалъ свою рѣчь...

* * *

А на слѣдующій день (это было случайно) мы должны были представляться Государю — всѣ члены отъ Волынской губерніи по слѣдующему поводу.

Изъ Волынской губерніи пріѣхала депутація во главѣ съ архіепископомъ Антоніемъ и знаменитымъ архимандритомъ Виталіемъ, монахомъ Почаевской Лавры. Остальные члены депутаціи были крестьяне, по одному отъ каждаго изъ двѣнадцати уѣздовъ Волынской губерніи.

Архимандритъ Виталій, вопреки всему тому, что о немъ писали нѣкоторыя газеты, былъ чело-

вѣкъ достойный всяческаго уваженія. Это былъ „народникъ" въ истинномъ значеніи этого слова. Аскетъ, безсеребренникъ, неутомимый работникъ — онъ день и ночь проводилъ съ простымъ народомъ, съ волынскими землеробами, и дѣйствительно любилъ его, народъ, такимъ, каковъ онъ есть... И пользовался онъ истинной „взаимностью". Волынскіе мужики слушали его безпрекословно, — вѣрили ему... Вѣрили во-первыхъ, что онъ — „за нихъ", а во-вторыхъ, что онъ учитъ хорошему, божескому.

И, дѣйствительно, архимандриту Виталію удалось сдѣлать большое дѣло... Быть можетъ, ему единственному удалось тогда перебросить мостъ между высшимъ культурнымъ классомъ, то-есть „помѣщиками", и чернымъ народомъ, „хлѣборобами"... Въ его лицѣ духовенство стало между земледѣльцами и крестьянами. Оно подало правую руку однимъ, лѣвую — другимъ — и повело за собой обоихъ, объединяя ихъ, какъ „русскихъ и православныхъ"...

При этомъ архимандритъ Виталій умѣлъ держаться на границѣ демагогіи. Онъ утверждалъ, что крестьяне получатъ землю, но не грабежомъ, не революціей, не всякими безобразіями, а только волей Государя и „по справедливости", т. е. чтобы „никого не обижать".

Точно также умѣлъ онъ направить волынскихъ крестьянъ и въ еврейскомъ вопросѣ. Онъ призывалъ къ борьбѣ съ еврействомъ и не могъ не призывать, такъ какъ революцію 1905 года вело еврейство „объединеннымъ фронтомъ" — безъ различія классовъ и партій. Но, помня и свой пастырскій долгъ и все остальное, что надо помнить, ар-

химандритъ Виталій призывалъ къ противодѣйствію еврейству путемъ экономической борьбы, а также національной организованности. Характеренъ для него былъ лозунгъ, который оглушительно повторяли толпы народа, шедшія за нимъ. Этотъ лозунгъ былъ не „бей жидовъ“, а —

— „Русь идетъ!“

Ни одного еврейскаго погрома, несмотря на всѣ его горячія рѣчи, призывавшія къ борьбѣ съ революціей, на совѣсти у архимандрита Виталія не было, какъ не было и ни одной помѣщичьей „иллюминаціи“, какъ вообще не было ни одного насилія.

Разумѣется, его не поняли, разумѣется, его оклеветали, но кого не изругивали въ тѣ дни! Развѣ эти безумные люди понимали хоть что-нибудь? Развѣ они не смѣшали съ грязью Столыпина?

* * *

Свою работу архимандритъ Виталій велъ посредствомъ образованія почти въ каждомъ селѣ такъ называемаго „союза русскаго народа“. Говорятъ, что въ другихъ мѣстахъ этотъ союзъ былъ не то подставнымъ, не то хулиганскимъ. Но на Волыни дѣло было иначе. Села совершенно добровольно дѣлали „приговоры“ о томъ, что хотятъ образовать „союзъ“, и образовывали. Такой союзъ былъ и въ нашей деревнѣ, и я былъ его почетнымъ предсѣдателемъ.

Между прочимъ, въ послѣднее время архимандритъ Виталій занялся слѣдующей мыслью.

Онъ, какъ и другіе правые, былъ озабоченъ тѣмъ, чтобы „историческая русская власть“, иначе

„самодержавіе“, не получило ущерба. Ne quid detrimentum capiat... Всѣмъ намъ было страшно, какъбы не пошатнулась эта власть. Мы считали, что Государственная Дума — Государственной Думой, но всецѣло принимали лозунгъ Столыпина: „никто не можетъ отнять у русскаго Государя право и обязанность спасать Богомъ врученную Ему Державу.“

Съ этой цѣлью архимандритъ Виталій составилъ вѣрноподданическій адресъ, въ которомъ было выражено желаніе, чтобы Царь былъ самодержцемъ, какъ и раньше было.

Подъ этимъ адресомъ стали собирать подписи по всей Волыни, и когда собрали 1.000 000 подписей (все населеніе Волыни — 3½ милліона, считая женщинъ и дѣтей), рѣшили поднести его Государю Императору.

* * *

Дворецъ. Одна изъ небольшихъ залъ. Мы собрались за четверть часа до назначеннаго времени. Оглядѣвъ насъ, я подумалъ, что эта группа и красива и знаменательна.

По серединѣ въ великолѣпной лилово-бѣлой шелковой мантіи — архіепископъ Антоній, опираясь на посохъ. Рядомъ съ нимъ въ черной рясѣ (его уговорили надѣть шелковую на этотъ день) аскетъ-монахъ, страшно худой, съ выразительными глазами — это архимандритъ Виталій... Налѣво отъ Владыки — членъ Думы князь В. В. Волконскій въ мундирѣ предводителя дворянства. За нимъ фраки, сіяющіе бѣлой грудью, — члены Думы — русскіе помѣщики — культурный классъ. Направо отъ Вла-

дыки около двадцати „свитокъ“. Настоящія волынскія свитки, темно-коричневыя и свѣтло-сѣрыя, обшитыя красной тесьмой. Они пришли сюда, во дворецъ, точно такими же, какими ходятъ въ свою церковь въ воскресенье... Лица были торжественныя, серіозныя, но не рабскія... Нѣтъ, не рабскія!..

Мнѣ казалось тогда, что это день глубокаго мистическаго значенія.

Государь въ этотъ день увидѣлъ лоскутокъ своей Державы въ ея идеальномъ представленіи; такой, какой она должна была быть; такой, какой она, увы! за исключеніемъ этого клочка — Волыни — не была...

Почти всюду (натравленные другъ противъ друга „работой“ города надъ „вопросомъ о землѣ“)— дворянство и крестьянство, помѣщики и землеробы — были враждующими лагерями... Желѣзомъ Столыпина едва удалось образумить низы... да и верхи...

Здѣсь же Церковь, протянувъ одну руку помѣщикамъ и дворянамъ, золотошитымъ и „фрачнымъ“, а другую огромному черному землеробному крестьянству, этимъ коричневымъ и сѣрымъ свиткамъ, — подвела ихъ къ престолу Царя, какъ братьевъ...

Господи, да вѣдь и правда же мы — братья!... Развѣ не ясно, что не жить намъ однимъ безъ другихъ, что, если натравятъ на насъ, пановъ, эти „свитки“, — мы погибнемъ въ ихъ рукахъ, но и онѣ, „свитки“, погубивши насъ, скоро погибнутъ сами... ибо наше мѣсто займутъ новые „паны“, — такіе „паны изъ города“, отъ которыхъ стонъ и смерть пойдутъ по всей черной, хлѣборобной, земляной землѣ..

Церковь это знаетъ, знаетъ, можетъ быть, не индивидуальнымъ разумомъ этихъ вотъ ея слугъ, а знаетъ потому, что голосъ вѣковъ звучитъ подъ ея сводами. Церковь это знаетъ, и знаетъ, гдѣ искать примиренiе, гдѣ найти утишающее слово...

Здѣсь... У Престола...

Церковь взяла насъ и привела сюда, чтобы мы сказали вмѣстѣ съ Нею:

— Помазанникъ Божiй. Вѣримъ Тебѣ. Суди насъ, мири насъ. Хотимъ быть братьями... потому-что мы одной крови, одной вѣры, одной земли...

* * *

Развѣ не это хотятъ сказать эти огромныя книги, что торжественно лежатъ вокругъ иконы Божьей Матери Почаевской, которую Владыка Антонiй подноситъ Царю.

Эти книги въ грубыхъ кожаныхъ переплетахъ, числомъ двѣнадцать — это адресъ Государю... Каждая книга отъ каждаго уѣзда Волыни... Адресъ — „за Самодержавiе“, т.-е. чтобы Царь былъ самодержавенъ... Подносятъ его волынцы, объединившiеся въ „союзъ русскаго народа“. Поэтому же на свиткахъ и фракахъ маленькiе серебрянные кружки — значекъ Союза Русскаго Народа.

* * *

Беру одну изъ этихъ тяжелыхъ книгъ въ руки... Мелькаютъ знакомыя деревни, мелькаютъ знакомыя имена... „Бизюки, Сопрунцы, Ткачуки, Климуси, Романчуки“... Вмѣсто неграмотныхъ стоятъ кресты...

Все это подлинное... Подписи настоящiя... Сколько ихъ?

Миллiонъ...

* * *

Милліонъ! Милліонъ подписей при населеніи въ три съ половиной милліона, считая женщинъ и дѣтей.

Милліонъ волынцевъ сказали въ этотъ день Царю, что они не „украинцы", а русскіе, ибо зачислились въ „Союзъ Русскаго Народа"... Милліонъ сказали, что вѣрятъ въ Бога, потому что пришли сюда по зову Церкви... Милліонъ сказали, что любятъ Родину... Милліонъ сказали, что они не грабители и не соціалисты, потому что хотятъ земельный вопросъ рѣшить не силой, а по Царской волѣ... Милліонъ сказали, что на землѣ превыше всего вѣрятъ Царю и просятъ Его по старому править Русскою Землею...

...Царствуй на Славу намъ...

Царствуй на страхъ врагамъ...

* * *

Время приближалось...

Насъ поставили въ порядокъ. Все замолкло. Стало очень тихо. На часахъ ударило два... въ это же мгновеніе отворилась дверь, арапъ, сверкнувъ бѣлой чалмой надъ чернымъ лицомъ, колыхнулъ широкими шароварами... Онъ сказалъ негромко, но картаво:

— Государь Императоръ...

* * *

Государь вышелъ одинъ... Всѣ поклонились...

Государь принялъ благословеніе отъ Владыки...

Владыка началъ свою рѣчь.

Архіепископъ Антоній говорилъ, какъ всегда умно и красиво. Опираясь на посохъ, онъ сказалъ все, что было можно и нужно... Больше говорить

было нечего... Такъ и было условлено... Было рѣшено, что никто не будетъ говорить ни изъ „пановъ“, ни изъ „хрестьянъ“.

Но тутъ произошло неожиданное...

* * *

На самомъ правомъ крылѣ стоялъ невзрачный мужичекъ, желтоватой масти, полѣщукъ изъ одного болотнаго уѣзда. Изъ тѣхъ, что люди, ненавидящіе мужиковъ, называютъ иногда „гадюка“... Но онъ не былъ гадюка... Его фамилія была Бугай... „Бугай“ называютъ у насъ птицу „выпь“... За то, что она вопитъ, конечно... Засядетъ въ болото и вопитъ...

Неожиданно Бугай оправдалъ свою фамилію и „завопилъ“.

— Ваше Императорское Величество!...

Государь повернулъ къ нему голову... Архимандритъ Виталій хотѣлъ остановить, „цыкнуть“ на неожиданнаго, но удержался, замѣтивъ, что Государь приготовился слушать.

И полѣщукъ развернулся...

* * *

Я всегда удивлялся краснорѣчію простого народа. Въ то время, какъ средній интеллигентъ ищетъ, подбираетъ слова, говоритъ съ трудомъ, съ напряженіемъ, — простой человѣкъ, если начнетъ говорить, то „зальется“...

Серенада полѣсской выпи продолжалась минутъ десять. Онъ говорилъ тѣмъ языкомъ, который такъ блестяще опровергаетъ всѣ украинскія теоріи... Онъ говорилъ малорусскою рѣчью, — но такой, что его нельзя было не понять даже человѣку, который никогда въ Хохландіи не былъ.

Что онъ говорилъ?

Онъ, не останавливаясь бранилъ Государственную Думу... За что, про что — понять нельзя было совсѣмъ, или можно было слишкомъ понять. Вотъ такъ, какъ птица „бугай"... Заберется въ камышъ и кричитъ...

Онъ кричалъ о томъ, что нашъ народъ волынскій не хочетъ, чтобы Дума была „старшей", а хочетъ, чтобы Царь былъ старшій... И какъ Царь съ землею рѣшитъ, пусть такъ и будетъ... А Дума „пусть себѣ не думаетъ", потому мы только Царю вѣримъ, а на Думу сдаваться не желаемъ... И еще, и еще...

Государь выслушалъ его до конца. Но когда онъ кончилъ, послѣ этихъ его криковъ наступила напряженная тишина... Мы понимали, что рѣчь Бугая была неожиданной и потому — почти скандалъ, намъ было очень неловко и непріятно, и больно сжалось сознаніе, какъ Государь выйдетъ изъ этого положенія...

* * *

Выходъ былъ тоже очень неожиданный.

Государь сдѣлалъ нѣсколько разъ подергиваніе плечомъ, которое ему было свойственно... Потомъ кивнулъ Бугаю, полуулыбнувшись... Но не сказалъ ему ни слова... Наоборотъ, Онъ повернулся къ намъ, членамъ Думы, и прошелъ глазами по насъ... И вдругъ спросилъ, немного какъ бы застѣнчиво...

— Кто изъ васъ — Шульгинъ?

Больше всего это, конечно, поразило меня... До такой степени, что не очень отдавая себѣ от-

четъ въ томъ, что я дѣлаю, я сдѣлалъ большой шагъ впередъ, „по солдатски:“

— Я, Ваше Императорское Величество...

Государь посмотрѣлъ на меня и сказалъ довольно застѣнчиво улыбаясь, но такъ, чтобы всѣ слышали:

— Мы только что... за завтракомъ... прочли съ Императрицей вашу вчерашнюю рѣчь въ Государственной Думѣ... Благодарю васъ. Вы говорили такъ, какъ долженъ говорить человѣкъ истинно-русскій...

Я пробормоталъ нѣсколько довольно безсвязныхъ словъ... И отступилъ на свое мѣсто...

Потомъ... Потомъ Государь сказалъ нѣсколько словъ съ другими и всѣмъ... Затѣмъ? Затѣмъ все было какъ всегда... При крикахъ „ура“ Государь удалился...

* * *

Потомъ произошла довольно смѣшная сцена.

Матросъ Деревенько, который былъ дядькой у Наслѣдника Цесаревича и который услышалъ, что волынскіе крестьяне представляются, захотѣлъ повидать своихъ...

И вотъ онъ тоже — „вышелъ“...

Красивый, совсѣмъ какъ первый любовникъ изъ малорусской труппы (воронова крыла волосы, а лицо бѣлое, какъ будто онъ употреблялъ crême Simon), — онъ, скользя по паркету, вышелъ, протянувъ руки — „милостиво“:

— Здравствуйте, земляки?... Ну, какъ же вы тамъ?...

Очень было смѣшно...

* * *

Намъ былъ предложенъ завтракъ. Меня поздравляли съ „Царской Благодарностью"... и было очень радостно...

Уѣзжая, мы по обычаю разобрали „на память" цвѣты, которыми украшенъ былъ столъ...

* * *

Эти цвѣты, „царскіе цвѣты", сохраненные заботливой рукой, и сейчасъ на моемъ письменномъ столѣ подъ стекломъ царскаго портрета тамъ въ Петроградѣ...

А я мчусь въ Псковъ?... Какъ? Отчего?

* * *

Тронъ былъ спасенъ въ 1905 году потому, что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимавшіе, столпились вокругъ Престола и спасли Россію...

Спасли тѣ „поручики", которые командовали „по наступающей толпѣ — пальба", спасли тѣ, кто зажглись взрывомъ оскорбленнаго патріотизма, — взрывомъ, который вылился въ „еврейскій погромъ", спасли тѣ „прапорщики", которые этотъ погромъ остановили, спасли тѣ правители и вельможи, которые дали лозунгъ „не запугаете", спасли тѣ политическіе дѣятели, которые испросивъ благословеніе Церкви,—громили словомъ лицемѣровъ и безумцевъ...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего Государя...

И вотъ...

И вотъ... Псковъ...

* * *

И еще разъ...

Это было 26 іюля 1914 года... Въ тотъ день, когда на одинъ день была созвана Государственная Дума послѣ объявленія войны.

Въ Петербургъ съ разныхъ концовъ Россіи пробивались сквозь мобилизаціонную страду поѣзда съ членами Государственной Думы... Поѣзду, который пробивался изъ Кіева, было особенно трудно, почему онъ опоздалъ... Съ вокзала я колотилъ извозчика въ спину, чтобы попасть въ Зимній Дворецъ... Я объяснялъ ему, что „самъ Государь меня ждетъ"... Извозчикъ колотилъ свою шведку, но все же я вбѣжалъ въ залъ, когда уже началось... Государь уже вышелъ...

И вотъ тутъ было совсѣмъ по иному, чѣмъ всегда, во время большихъ выходовъ. Величіе и трудность минуты сломили ледъ вѣкового каркаса. Была толпа людей, мятущаяся чувствомъ, восторженная, прорвавшая ритуалъ... Эта восторженная гроздь законодателей окружала одного человѣка, и этотъ человѣкъ былъ нашъ Государь....

Я не могъ протолкаться къ Нему, да этого и не нужно было... Вѣдь я и такіе, какъ я, всегда были съ Нимъ душой и сердцемъ, но безконечно радостно было для насъ, что эти другіе люди, вчера еще равнодушные, нѣтъ, мало сказать равнодушные, — враждебные, что они, подхваченные неодолимымъ стремленіемъ сплотиться во едино, въ эту страшную минуту бросились къ вѣковому фокусу Россіи — къ Престолу... Эти другіе люди были — кадеты, т.-е. властители умовъ и сердецъ русской интеллигенціи... О, какъ охотно мы уступили-бы имъ наши мѣста на ступеняхъ трона, если бы это обозначало единство Россіи...

Въ мой потрясенный мозгъ стучались три слова, вылившіяся въ статьѣ подъ заглавіемъ:

— Веди насъ, Госудрь!..

* * *

А вотъ теперь — Псковъ... Вотъ куда „привелъ“ насъ Государь... Онъ ли — насъ, или мы Его — кто это разсудитъ? На землѣ — исторія, на небѣ — Богъ...

* * *

Станціи проносились мимо насъ... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И Гучковъ иногда говорилъ краткія рѣчи съ площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перонахъ стояла толпа народа, которая все знала... То есть она знала, что мы ѣдемъ къ Царю... И съ ней надо было говорить...

* * *

Не помню на какой станціи насъ соединили прямымъ проводомъ съ генералъ-адъютантомъ Николаемъ Іудовичемъ Ивановымъ. Онъ былъ, кажется, въ Гатчинѣ. Онъ сообщилъ намъ, что по приказанію Государя наканунѣ, или еще 28 числа, выѣхалъ по направленію къ Петрограду... Ему было приказано усмирить бунтъ... Для этого, не входя въ Петроградъ, онъ долженъ былъ подождать двѣ дивизіи, которыя были сняты съ фронта и направлялись въ его распоряженіе... Въ качествѣ, такъ сказать, вѣрнаго кулака ему было дано два баталіона георгіевцевъ, составлявшихъ личную охрану Государя. Съ ними онъ дошелъ до Гатчины... И ждалъ... Въ это время кто то успѣлъ разобрать рельсы, такъ что онъ, въ сущности, отрѣзанъ отъ Петрограда... Онъ ничего не можетъ сдѣлать, по-

тому что явились „агитаторы“, и георгіевцы уже разложились... На нихъ нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старикъ стремился повидаться съ нами, чтобы рѣшить, что дѣлать...

Но надо было спѣшить... Мы ограничились этимъ телеграфнымъ разговоромъ...

* * *

Все же мы ѣхали очень долго... Мы мало говорили съ А. И. Усталость брала свое... Мы ѣхали, какъ обреченные... Какъ всѣ самыя большія вещи въ жизни человѣка, и это совершалось не при полномъ блескѣ сознанія... Такъ надо было... Мы бросились на этотъ путь, потому что всюду была глухая стѣна... Здѣсь, казалось, просвѣтъ... Здѣсь было „можетъ быть“... А всюду кругомъ было — „оставь надежду“...

* * *

Развѣ переходы монаршей власти изъ рукъ одного монарха къ другому не спасали Россію?

Сколько разъ это было...

* * *

Въ 10 вечера мы пріѣхали. Поѣздъ сталъ. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освѣщали рельсы. Черезъ нѣсколько путей стоялъ освѣщенный поѣздъ... Мы поняли, что это Императорскій...

Сейчасъ же кто то подошелъ...

— Государь ждетъ васъ...

И повелъ насъ черезъ рельсы. Значитъ, сейчасъ все это произойдетъ. И нельзя отвратить?

Нѣтъ, нельзя... Такъ надо... Нѣтъ выхода... Мы пошли, какъ идутъ люди на самое страшное. Не совсѣмъ понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсѣмъ глупая...

Мнѣ было непріятно, что я явлюсь Государю небритый, въ смятомъ воротничкѣ, въ пиджакѣ...

* * *

Съ насъ сняли верхнее платье. Мы вошли въ вагонъ.

Это былъ большой вагонъ-гостинная. Зеленый шелкъ по стѣнкамъ... Нѣсколько столовъ... Старый, худой, высокій, желтовато-сѣдой генералъ съ аксельбантами...

Это былъ баронъ Фредериксъ...

— Государь Императоръ сейчасъ выйдетъ... Его Величество въ другомъ вагонѣ...

Стало еще безотраднѣе и тяжелѣе...

Въ дверяхъ появился Государь... Онъ былъ въ сѣрой черкескѣ... Я не ожидалъ Его увидѣть такимъ...

Лицо?

Оно было спокойно..

Мы поклонились. Государь поздоровался съ нами, подавъ руку. Движеніе это было скорѣе дружелюбно...

— А Николай Владиміровичъ?

Кто-то сказалъ, что генералъ Рузскій просилъ доложить, что онъ немного опоздаетъ.

— Такъ мы начнемъ безъ него.

Жестомъ Государь пригласилъ насъ сѣсть... Государь занялъ мѣсто по одну сторону маленькаго четыреугольнаго столика, придвинутаго къ зеленой шелковой стѣнѣ. По другую сторону столика сидѣлъ Гучковъ. Я — рядомъ съ Гучковымъ, наис-

кось отъ Государя. Противъ Царя былъ баронъ Фредериксъ...

Говорилъ Гучковъ. И очень волновался. Онъ говорилъ, очевидно, хорошо продуманныя слова, но съ трудомъ справлялся съ волненіемъ. Онъ говорилъ негладко... и глухо.

Государь сидѣлъ, опершись слегка о шелковую стѣну, и смотрѣлъ передъ собой. Лицо Его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускалъ съ Него глазъ. Онъ измѣнился сильно съ тѣхъ поръ... Похудѣлъ... но не въ этомъ было дѣло... А дѣло было въ томъ, что вокругъ голубоватыхъ глазъ кожа была коричневая и вся разрисованная бѣлыми черточками морщинъ. И въ это мгновенье я почувствовалъ, что эта коричневая кожа съ морщинками, что это была маска, что это не настоящее лицо Государя, и что настоящее, можетъ быть, рѣдко кто видѣлъ, можетъ быть иные никогда, ни разу не видѣли... А я видѣлъ тогда, въ тотъ первый день, когда я видѣлъ Его въ первый разъ, когда Онъ сказалъ мнѣ:

— Оно и понятно... Національныя чувства на Западѣ Россіи сильнѣе... Будемъ надѣяться, что они передадутся и на Востокъ...

Да, они передались. Западная Россія заразила восточную національными чувствами. Но востокъ заразилъ Западъ... властиборствомъ.

И вотъ результатъ... Гучковъ — депутатъ Москвы, и я, представитель Кіева — мы здѣсь... Спасаемъ монархію черезъ отреченіе... А Петроградъ?

Гучковъ говорилъ о томъ, что происходитъ въ Петроградѣ. Онъ немного овладѣлъ собой... Онъ говорилъ (у него была эта привычка), слег-

ка прикрывая лобъ рукой, какъ бы для того, чтобы сосредоточиться Онъ не смотрѣлъ на Государя, а говорилъ, какъ бы обращаясь къ какому то внутреннему лицу, въ немъ же, Гучковѣ, сидящему. Какъ будто совѣсти своей говорилъ.

Онъ говорилъ правду. Ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Онъ говорилъ то, что мы всѣ видѣли въ Петроградѣ. Другого онъ не могъ сказать. Что дѣлалось въ Россіи, мы не знали. Насъ раздавилъ Петроградъ, а не Россія...

Государь смотрѣлъ прямо передъ собою, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мнѣ казалось, можно было угадать въ его лицѣ:

— Эта длинная рѣчь — лишняя...

Въ это время вошелъ генералъ Рузскій. Онъ поклонился Государю и, не прерывая рѣчи Гучкова, занялъ мѣсто между барономъ Фредериксомъ и мною... Въ эту же минуту, кажется, я замѣтилъ, что въ углу комнаты сидитъ еще одинъ генералъ, волосами черный съ бѣлыми погонами... Это былъ генералъ Даниловъ.

Гучковъ снова заволновался. Онъ подошелъ къ тому, что, можетъ быть, единственнымъ выходомъ изъ положенія было бы отреченіе отъ Престола.

Генералъ Рузскій наклонился ко мнѣ и сталъ шептать:

— По шоссе изъ Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели-же ваши? Изъ Государственной Думы?

Меня это предположеніе оскорбило. Я отвѣтилъ шепотомъ, но рѣзко:

— Какъ это вамъ могло прійти въ голову?

Онъ понялъ.

— Ну слава Богу — простите... Я приказалъ ихъ задержать.

Гучковъ продолжалъ говорить объ отреченiи...

Генералъ Рузскiй прошепталъ мнѣ:

— Это дѣло рѣшенное... Вчера былъ трудный день... Буря была...

— ... И помолясь Богу,... — говорилъ Гучковъ...

При этихъ словахъ по лицу Государя впервые пробѣжало что-то... Онъ повернулъ голову и посмотрѣлъ на Гучкова съ такимъ видомъ, который какъ бы выражалъ:

— Этого можно было-бы и не говорить...

* * *

Гучковъ кончилъ. Государь отвѣтилъ. Послѣ взволнованныхъ словъ А. И. голосъ Его звучалъ спокойно, просто и точно. Только акцентъ былъ немножко чужой, — гвардейскiй:

— Я принялъ рѣшенiе отрѣчься отъ Престола... До трехъ часовъ сегодняшняго дня Я думалъ, что могу отречься въ пользу сына Алексѣя... Но къ этому времени Я перемѣнилъ рѣшенiе въ пользу брата Михаила... Надѣюсь, вы поймете чувства отца...

Послѣднюю фразу Онъ сказалъ тише...

* * *

Къ этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовалъ представить нѣкоторыя возраженiя... Кажется, я просилъ четверть часа — посовѣтоваться съ Гучковымъ... Но это почему то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласiемъ, тутъ же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во первыхъ, какъ мы могли „не согласиться“?... Мы пріѣхали сказать Царю мнѣніе Комитета Государственной Думы... Это мнѣніе совпало съ рѣшеніемъ Его собственнымъ... А если бы не совпало? Что мы могли бы сдѣлать? Мы уѣхали бы обратно, если бы насъ отпустили... Ибо мы вѣдь не вступили на путь „тайнаго насилія“, которое практиковалось въ XVIII вѣкѣ и въ началѣ XIX-го...

Рѣшеніе Царя совпало въ главномъ... Но разошлось въ частностяхъ... Алексѣй или Михаилъ передъ основнымъ фактомъ — отреченіемъ — все же была частность... Допустимъ, на эту частность мы бы „не согласились“... Каковъ результатъ? Прибавился бы только одинъ лишній поводъ къ неудовольствію. Государь передалъ Престолъ „вопреки желанію Государственной Думы“... И положеніе новаго Государя было бы подорвано.

Кромѣ того каждый мигъ былъ дорогъ. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которыхъ мы достаточно насмотрѣлись въ Петроградѣ, и знали, что это такое, и которые генералъ Рузскій приказалъ остановить (но остановятъ ли?), но и еще вотъ почему: съ каждой минутой революціонный сбродъ въ Петроградѣ становится наглѣе, и слѣдовательно требованія его будутъ расти. Можетъ быть, сейчасъ еще можно спасти монархію, но надо думать и о томъ, чтобы спасти хотя-бы жизнь членамъ династіи.

Если придется отрекаться и слѣдующему, — то вѣдь Михаилъ можетъ отречься отъ Престола...

Но малолѣтній наслѣдникъ не можетъ отречься — его отреченіе недѣйствительно.

И тогда, что они сдѣлаютъ, эти вооруженные грузовики, движущіеся по всѣмъ дорогамъ?

Навѣрное, и въ Царское Село летятъ — проклятые...

И сдѣлались у меня —

„Мальчики кровавые въ глазахъ“...

* * *

А кромѣ того...

Если что можетъ еще утишить волны — это если новый Государь воцарится, присягнувъ конституціи...

Михаилъ можетъ присягнуть.

Малолѣтній Алексѣй — нѣтъ...

* * *

А кромѣ того...

Если здѣсь есть юридическая неправильность... Если Государь не можетъ отрекаться въ пользу брата... Пусть будетъ неправильность!.. Можетъ быть, этимъ выиграется время... Нѣкоторое время будетъ править Михаилъ, а потомъ, когда все угомонится, выяснится, что онъ не можетъ царствовать, и престолъ перейдетъ къ Алексѣю Николаевичу...

* * *

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, какъ бываетъ въ такія минуты... Какъ будто не я думалъ, а кто-то другой за меня, болѣе быстро соображающій...

* * *

И мы „согласились“...

* * *

Государь всталъ... Всѣ поднялись...

Гучковъ передалъ Государю „набросокъ". Государь взялъ его и вышелъ.

* * *

Когда Государь вышелъ — генералъ, который сидѣлъ въ углу и который оказался Юріемъ Даниловымъ, подошелъ къ Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызоветъ ли отреченіе въ пользу Михаила Алексадровича впослѣдствіи крупныхъ осложненій въ виду того, что такой порядокъ не предусмотрѣнъ закономъ о престолонаслѣдіи?

Гучковъ, занятый разговоромъ съ барономъ Фредериксомъ, познакомилъ генерала Данилова со мной, и я отвѣтилъ на этотъ вопросъ. И тутъ мнѣ пришло въ голову еще одно соображеніе, говорящее за отреченіе въ пользу Михаила Александровича.

— Отреченіе въ пользу Михаила Александровича не соотвѣтствуетъ закону о престолонаслѣдіи. Но нельзя не видѣть, что этотъ выходъ имѣетъ при данныхъ обстоятельствахъ серіозныя удобства. Ибо, если на престолъ взойдетъ малолѣтній Алексѣй, то прійдется рѣшать очень трудный вопросъ, останутся ли Родители при немъ или придется разлучиться. Въ первомъ случаѣ, т.-е. если Родители останутся въ Россіи, отреченіе будетъ въ глазахъ тѣхъ, кого оно интересуетъ, какъ бы фиктивнымъ... Въ особенности это касается Императрицы... Будутъ говорить, что Она такъ же правитъ при Сынѣ, какъ при Мужѣ... При томъ отношеніи, какое сейчасъ къ Ней, — это привело бы къ самымъ невозможнымъ затрудненіямъ. Если же разлучить малолѣтняго Государя съ Родителями, то, не говоря о трудности этого дѣла, это можетъ очень вредно

отразиться на Немъ. На тронѣ будетъ подрастать юноша, ненавидящій все окружающее, какъ тюремщиковъ, отнявшихъ у него Отца и Мать... При болѣзненности ребенка это будетъ чувствоваться особенно остро...

* * *

Баронъ Фредериксъ былъ очень огорченъ, узнавъ, что его домъ въ Петроградѣ горитъ. Онъ безпокоился о баронессѣ, но мы сказали, что баронесса въ безопасности...

* * *

Черезъ нѣкоторе время Государь вошелъ снова, Онъ протянулъ Гучкову бумагу, сказавъ:

— Вотъ текстъ...

Это были двѣ или три четвертушки — такія. какія очевидно, употреблялись въ Ставкѣ для телеграфныхъ бланковъ. Но текстъ былъ написанъ на пишущей машинкѣ.

Я сталъ пробѣгать его глазами, и волненіе, боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текстъ былъ написанъ тѣми удивительными словами, которыя теперь всѣ знаютъ...

* * *

„Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стремящимся почти три года поработить Нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать Россіи новое тяжкое испытаніе. Начавшіяся внутреннія народныя волненія грозятъ бѣдственно отразиться на дальнѣйшемъ веденіи упорной войны. Судьба Россіи, честь геройской Нашей арміи, благо народа, все будущее дорогого Нашего отечества требуютъ

доведенія войны во что бы то ни стало до побѣднаго конца. Жестокій врагъ напрягаетъ послѣднія силы, и уже близокъ часъ, когда доблестная армія Наша совмѣстно со славными Нашими союзниками сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣшительные дни въ жизни Россіи почли Мы долгомъ совѣсти облегчить народу Нашему тѣсное единеніе и сплоченіе всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженія побѣды, и въ согласіи съ Государственной Думой признали Мы за благо отречься отъ Престола Государства Россійскаго и сложить съ Себя Верховную Власть. Не желая разстаться съ любимымъ сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ наслѣдіе Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляемъ Его на вступленіе на Престолъ Государства Россійскаго. Заповѣдуемъ Брату Нашему править дѣлами государственными въ полномъ и ненарушимомъ единеніи съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ, на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими установлены. Во имя горячо любимой Родины призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненію своего святого долга передъ нимъ, повиновеніемъ Царю въ тяжелую минуту всенародныхъ испытаній помочь Ему, вмѣстѣ съ представителями народа, вывести государство Россійское на путь побѣды, благоденствія и славы. Да поможетъ Господь Богъ Россіи“.

НИКОЛАЙ.

* * *

Какимъ жалкимъ показался мнѣ набросокъ, который мы привезли. Государь принесъ и его, и положилъ его на столъ.

* * *

Къ тексту отреченія нечего было прибавить... Во всемъ этомъ ужасѣ на мгновенье пробился одинъ свѣтлый лучъ... Я вдругъ почувствовалъ, что съ этой минуты жизнь Государя въ безопасности... Половина шиповъ, вонзившихся въ сердца Его подданныхъ, вырывалась этимъ лоскуткомъ бумаги. Такъ благородны были эти прощальныя слова... И такъ почувствовалось, что Онъ такъ же, какъ и мы, а можетъ быть гораздо больше, любитъ Россію...

* * *

Почувствовалъ ли Государь, что мы растроганы, но обращеніе Его съ этой минуты стало какъ то теплѣе...

* * *

Но надо было дѣлать дѣло до конца... Былъ одинъ пунктъ, который меня тревожилъ... Я все думалъ о томъ, что, можетъ быть, если Михаилъ Александровичъ прямо и до конца объявитъ „конституціонный образъ правленія“, ему легче будетъ удержаться на тронѣ... Я сказалъ это Государю... И просилъ Его въ томъ мѣстѣ, гдѣ сказано: “... съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ, на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими установлены...“, приписать: „принеся въ томъ всенародную присягу“.

Государь сейчасъ же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И, присѣвъ къ столу, приписалъ карандашемъ: „Принеся въ томъ ненарушимую присягу“... Онъ написалъ не „всенародную“, а „ненарушимую“, что, конечно, было стилистически гораздо правильнѣе.

Это единственное измѣненіе, которое было внесено...

* * *

Затѣмъ я просилъ Государя.

— Ваше Величество... Вы изволили сказать, что пришли къ мысли объ отреченіи въ пользу Великаго Князя Михаила Александровича сегодня въ 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здѣсь, ибо въ эту минуту Вы приняли рѣшеніе...

Я не хотѣлъ, чтобы когда нибудь кто нибудь могъ говорить, что манифестъ „вырванъ“... Я видѣлъ, что Государь меня понялъ, и повидимому это совершенно совпало и съ Его желаніемъ, потому что Онъ сейчасъ же согласился и написалъ „2 марта, 15 часовъ“, то есть 3 часа дня... Часы показывали въ это время начало двѣнадцатаго ночи...

* * *

Потомъ мы, не помню по чьей инициативѣ, начали говорить о Верховномъ Главнокомандующемъ и Предсѣдателѣ Совѣта Министровъ.

Тутъ память мнѣ измѣняетъ. Я не помню, было ли написано назначеніе Великаго Князя Николая Николаевича Верховнымъ Главнокомандующимъ при насъ или же намъ было сказано, что это уже сдѣлано...

Но я ясно помню, какъ Государь написалъ при насъ указъ Правительствующему Сенату о назначенiи Предсѣдателя Совѣта Министровъ...

Это Государь писалъ у другого столика и спросилъ:

— Кого вы думаете?..

— Мы сказали: — Князя Львова...

Государь сказалъ, какъ-то особой интонацiей, — я не могу этого передать:

— Ахъ, — Львовъ? Хорошо — Львова...

Онъ написалъ и подписалъ...

Время по моей же просьбѣ было поставлено для дѣйствительности акта двумя часами раньше отреченiя, т.-е. 13 часовъ.

* * *

Когда Государь такъ легко согласился на назначенiе Львова, — я думалъ: „Господи, Господи, ну не все-ли равно — вотъ теперь пришлось это сдѣлать — назначить этого человѣка „общественнаго довѣрiя“, когда все пропало... Отчего же нельзя это было сдѣлать нѣсколько раньше... Можетъ быть, этого тогда-бы и не было...

* * *

Государь всталъ... Мы какъ-то въ эту минуту были съ Нимъ вдвоемъ въ глубинѣ вагона, а остальные были тамъ — ближе къ выходу... Государь посмотрѣлъ на меня и, можетъ быть, прочелъ въ моихъ глазахъ чувства, меня волновавшiя, потому что взглядъ Его сталъ какимъ то приглашающимъ высказать... И у меня вырвалось:

— Ахъ, Ваше Величество... Если-бы Вы это сдѣлали раньше, ну хоть до послѣдняго созыва Думы, можетъ быть всего этого...

Я не договорилъ...

Государь посмотрѣлъ на меня какъ-то просто и сказалъ еще проще:

— Вы думаете — обошлось-бы?

* * *

Обошлось-ли? Теперь я этого не думаю... Было поздно, въ особенности послѣ убійства Распутина. Но если-бы это было сдѣлано осенью 1915 года, то-есть послѣ нашего великаго отступленія, — можетъ быть, и обошлось-бы...

* * *

Государь смотрѣлъ на меня, какъ будто бы ожидая, что я еще что нибудь скажу. Я спросилъ:

— Разрѣшите узнать, Ваше Величество, Ваши личные планы? Ваше Величество поѣдете въ Царское?

Государь отвѣтилъ:

— Нѣтъ... Я хочу сначала поѣхать въ Ставку... проститься... А потомъ, я хотѣлъ-бы повидать Матушку... Поэтому я думаю или проѣхать въ Кіевъ, или просить Ее пріѣхать ко мнѣ... А потомъ — въ Царское...

* * *

Теперь, кажется, было уже все сдѣлано. Часы показывали безъ двадцати минутъ двѣнадцать. Государь отпустилъ насъ. Онъ подалъ намъ руку съ тѣмъ характернымъ короткимъ движеніемъ головы, которое Ему было свойственно. И было это движеніе, можетъ быть, даже чуточку теплѣе, чѣмъ то, когда Онъ насъ встрѣтилъ...

* * *

Мы вышли изъ вагона. На путяхъ, освѣщенныхъ голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, насъ окружили, и эти люди наперебой старались пробиться къ намъ и спрашивали: „Что? Какъ?“. Меня поразило то, что они были такіе тихіе, шепчущіе... Они говорили, какъ будто въ комнатѣ тяжело больного, умирающаго...

Имъ надо было дать отвѣтъ. Отвѣтъ далъ Гучковъ. Очень волнуясь, онъ сказалъ:

— Русскіе люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу... Государь-Императоръ ради спасенія Россіи снялъ съ себя... свое царское служеніе... Царь подписалъ отреченіе отъ Престола. Россія вступаетъ на новый путь... Будемъ просить Бога, чтобы Онъ былъ милостивъ къ намъ...

Толпа снимала шапки и крестилась... И было страшно тихо...

* * *

Мы пошли въ вагонъ генерала Рузскаго. По путямъ — сквозь эту разступавшуюся толпу.

Когда мы пришли къ генералу Рузскому, черезъ нѣкоторое время, кажется, былъ поданъ ужинъ. Но съ этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились, и сдѣлалась такая жестокая мигрень, что все было, какъ въ туманѣ. Я не помню поэтому, что происходило за этимъ ужиномъ, но, очевидно, генералъ Рузскій разсказывалъ, какъ произошли событія.

Вотъ то, вкратцѣ, что произошло до нашего пріѣзда.

28 февраля былъ отданъ приказъ двумъ бригадамъ, одной снятой съ сѣвернаго фронта, другой

съ западнаго, двинуться на усмиреніе Петрограда. Генералу-адъютанту Иванову было приказано принять командованіе надъ этими частями. Онъ долженъ былъ оставаться въ окрестностяхъ Петрограда, но не предпринимать рѣшительныхъ дѣйствій до особаго распоряженія. Для непосредственнаго окруженія ему были даны два баталіона георгіевскихъ кавалеровъ, составлявшихъ личную охрану Государя въ Ставкѣ. Съ сѣвернаго фронта двинулись два полка 38 пѣхотной дивизіи, которые считались лучшими на фронтѣ. Но гдѣ-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроградъ. Бригада, взятая съ западнаго фронта, тоже не дошла. Наконецъ, и два батальона георгіевцевъ тоже вышли изъ повиновенія.

Перваго марта генералъ Алексѣевъ запросилъ телеграммой всѣхъ главнокомандующихъ фронтами. Телеграммы эти запрашивали главнокомандующихъ ихъ мнѣніе о желательности при данныхъ обстоятельствахъ отреченія Государя Императора отъ Престола въ пользу Сына. Къ часу дня второго марта всѣ отвѣты главнокомандующихъ были получены и сосредоточились въ рукахъ генерала Рузскаго. Отвѣты эти были:

1) Отъ Великаго Князя Николая Николаевича — главнокомандующаго Кавказскимъ фронтомъ.

2) Отъ генерала Сахарова — фактическаго главнокомандующаго Румынскимъ фронтомъ (собственно главнокомандующимъ былъ король Румыніи, а Сахаровъ былъ его начальникомъ штаба).

3) Отъ генерала Брусилова — главнокомандующаго Юго-западнымъ фронтомъ.

4) Отъ генерала Эверта — главнокомандующаго Западнымъ фронтомъ.

5) Отъ самого Рузскаго — главнокомандующаго Сѣвернымъ фронтомъ.

Всѣ пять главнокомандующихъ фронтами и генералъ Алексѣевъ (ген. Алексѣевъ былъ начальникомъ штаба при Государѣ) высказались за отреченіе Государя Императора отъ Престола.

Въ часъ дня второго марта генералъ Рузскій, сопровождаемый своимъ начальникомъ штаба генераломъ Даниловымъ и Савичемъ — генералъ-квартирмейстеромъ, былъ принятъ Государемъ. Государь принялъ ихъ въ томъ же самомъ вагонѣ, въ которомъ черезъ нѣсколько часовъ было отреченіе.

Генералъ Рузскій доложилъ Государю мнѣніе генерала Алексѣева и главнокомандующихъ фронтами, въ томъ числѣ свое собственное. Кромѣ того генералъ Рузскій просилъ еще выслушать генераловъ Данилова и Савича. Государь приказалъ Данилову говорить.

Генералъ Даниловъ сказалъ приблизительно слѣдующее:

— Положеніе очень трудное... Думаю, что главнокомандующіе фронтами правы. Зная Ваше Императорское Величество, я не сомнѣваюсь, что если благоугодно будетъ раздѣлить наше мнѣніе, Ваше Величество принесете и эту жертву Родинѣ...

Савичъ кратко сказалъ, что онъ присоединяется къ мнѣнію генерала Данилова.

На это Государь отвѣтилъ очень взволнованно и очень прочувствованно, въ томъ смыслѣ, что нѣтъ такой жертвы, которой Онъ не принесъ бы для Россіи.

* * *

После этого была составлена краткая телеграмма, извѣщавшая генерала Алексѣева о томъ, что Государь принялъ рѣшеніе отречься отъ Престола. Генералъ Рузскій взялъ телеграмму и удалился, но нѣсколько медлилъ съ отправкой ея, такъ какъ онъ зналъ, что Гучковъ и Шульгинъ утромъ выѣхали изъ Петрограда: онъ хотѣлъ посовѣтоваться съ ними особенно по вопросу о томъ, кто станетъ во главѣ Правительства. Генералъ Рузскій не довѣрялъ Львову и предпочиталъ Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали съ часу на часъ.

Но уже въ три часа дня отъ Государя пришелъ кто-то съ приказаніемъ вернуть телеграмму. Тогда же генералъ Рузскій узналъ, что Государь передумалъ въ томъ смыслѣ, что отреченіе должно быть не въ пользу Алексѣя Николаевича, а въ пользу Михаила Александровича. Послѣ повторнаго приказанія вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и такимъ образомъ послана не была. День прошелъ въ ожиданіи Гучкова и Шульгина.

* * *

Все это должно быть, тогда же разсказалъ намъ генаралъ Рузскій. Во всякомъ случаѣ, событія этого дня можно считать точно установленными въ такомъ видѣ, какъ я ихъ изложилъ. Позднѣе это подтвердилъ мнѣ генералъ Даниловъ, который былъ лично свидѣтелемъ вышеизложеннаго.

* * *

Около часу ночи, а можетъ быть двухъ, принесли второй экземпляръ отреченія. Оба экземпляра были подписаны Государемъ. Ихъ судьба, на-

сколько я знаю, такова. Одинъ экземпляръ мы съ Гучковымъ тогда же оставили генералу Рузскому. Этотъ экземпляръ хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1917 года этотъ экземпляръ былъ доставленъ генераломъ Даниловымъ главѣ временнаго правительства князю Львову.

Другой экземпляръ мы повезли съ Гучковымъ въ Петроградъ. Впрочемъ, обгоняя насъ, текстъ отреченія побѣжалъ по прямому проводу и былъ извѣстенъ въ Петроградѣ ночью же...

* * *

Мы выѣхали. Въ вагонѣ я заснулъ свинцовымъ сномъ. Раннимъ утромъ мы были въ Петроградѣ...

Послѣдніе дни „конституціи".

3-ье Марта 1917 года.

Не помню какъ и почему, когда мы пріѣхали въ Петроградъ на вокзалъ какіе-то люди, которыхъ уже было много, что-то намъ говорили и куда-то насъ тащили... И изъ этой кутерьмы вышло такое рѣшеніе, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю, куда. А мнѣ выпало на долю объявить о происшедшемъ „войскамъ и народу". Какіе-то люди суетились вокругъ меня, торопили и говорили, что войска уже ждутъ, выстроены въ вестибюлѣ вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой я пошелъ съ ними. Они привели меня въ то помѣщеніе гдѣ продаются билеты; — словомъ въ входной залъ.

Здѣсь дѣйствительно стоялъ полкъ или большой батальонъ, выстроившись на три стороны „покоемъ". Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошелъ въ это карэ и въ ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караулъ и стало совершенно тихо...

* * *

Стало такъ тихо, какъ кажется никогда еще... У меня очень слабый голосъ... Но я чувствовалъ, какъ каждое слово летитъ надъ строемъ и дальше въ толпу и слышно имъ было все ясно.

Я читалъ имъ „отреченіе".

* * *

Слова падали. И сами по себѣ они были какъ это сказать — вѣковымъ волненіемъ волнующіе... А тутъ въ этой обстановкѣ... передъ строемъ, замершихъ въ торжественномъ жестѣ и передъ этой толпой, испуганной, благоговѣйно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовалъ что слова падаютъ, падаютъ во что-то горячее, что могло быть только человѣческимъ сердцемъ...

„ ...Да поможетъ Господь Богъ Россіи“...

* * *

Я поднялъ глаза отъ бумаги. И увидѣлъ, какъ дрогнули штыки, какъ будто вѣтеръ дохнулъ по колосьямъ... Прямо противъ меня молодой солдатъ плакалъ. Слезы двумя струйками бѣжали по румянымъ щекамъ...

Тогда я сталъ говорить... Хорошо-ли,—плохо— не знаю... Это кто-то другой говорилъ, кто больше, сильнѣй, горячѣе меня.

— Вы слышали слова Государя... Послѣднія слова... Императора Николая II. Онъ подалъ намъ всѣмъ... примѣръ... намъ всѣмъ—русскимъ... какъ нужно .. умѣть забывать.. себя для Россіи... Сумѣемъ-ли мы такъ поступить? Мы... Люди разные... разныхъ званій, состояній... занятій... Офицеры и солдаты!.. Дворяне и крестьяне!.. Инженеры и рабочіе!.. Богатые и бѣдные!.. Сумѣемъ ли мы все забыть для того, что у насъ у всѣхъ есть единое... общее?. А что у насъ общее?.. Вы всѣ это знаете... Это общее — Родина... Россія... Ее надо спасать... О ней думать... Идетъ война... Врагъ стоитъ на фронтѣ... Врагъ неумолимый... который раздавитъ насъ!.. Раздавитъ, если не будемъ всѣ вмѣстѣ... Если не будемъ едины... Какъ быть едиными? Только одинъ

путь... Всѣмъ собраться вокругъ новаго Царя!.. Всѣмъ оказать Ему повиновеніе!.. Онъ поведетъ насъ!.. Государю Императору... Михаилу... второму!.. провозглашаю „ура“!!!

* * *

И оно взмыло — горячее, искренное, растроганное... и по́дъ эти крики я пошелъ прямо передъ собой, прошелъ черезъ строй, который распаялся, и черезъ толпу, которая разступилась, пошелъ самъ не зная — куда...

* * *

И показалось мнѣ на одно короткое мгновенье что Монархія спасена...

* * *

Я очнулся въ какомъ-то коридорѣ вокзала... Кто-то изъ желѣзнодорожныхъ служащихъ твердилъ мнѣ что-то, и, наконецъ, я понялъ, что Милюковъ уже много разъ добивается меня по телефону.

* * *

Я услышалъ голосъ который я съ трудомъ узналъ, до такой степени онъ былъ хриплый и надорванный...

— Да, это я Милюковъ... Не объявляйте манифеста... Произошли серьезныя измѣненія...

— Но какъ же?.. Я уже объявилъ..

— Кому?

— Да всѣмъ, кто здѣсь есть... какому-то полку, народу!.. Я провозгласилъ Императоромъ Михаила...

— Этого не надо было дѣлать... Настроеніе сильно ухудшилось съ того времени, какъ вы уѣха-

ли... Намъ передали текстъ... Этотъ текстъ совершенно не удовлетворяетъ... совершенно необходимо упоминаніе объ Учредительномъ Собраніи... Не дѣлайте никакихъ дальнѣйшихъ шаговъ... могутъ быть большія несчастія...

— Единственное что я могу сдѣлать, — это отыскать и предупредить его, Гучкова... Онъ тоже гдѣ-то, очевидно, объявляетъ...

— Да, да... Найдите его и немедленно пріѣзжайте оба на Милліонную 12. Въ квартиру князя Путятина...

— Зачѣмъ?

— Тамъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ... и всѣ мы ѣдемъ туда... пожалуйста поспѣшите...

* * *

Я спросилъ кого то изъ тѣхъ кто меня почему то окружали:

— Гдѣ Гучковъ?

— Александръ Ивановичъ въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ на митингѣ рабочихъ... отвѣтили голоса...

На митингѣ рабочихъ. Значитъ мнѣ надо сейчасъ пробраться къ нему и вытащить его оттуда... Но какъ же быть съ текстомъ отреченія... Вотъ я его чувствую подъ рукой въ боковомъ карманѣ... И съ такимъ документомъ на „митингъ“? къ рабочимъ?.. Войти войдешь — но выйдешь ли?.. Могутъ отнять и уничтожить... И Богъ его знаетъ, что еще можетъ быть...

Какъ быть? Вокругъ меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, слѣдившая за каждымъ моимъ движеніемъ... Но ни одного не то,

что вѣрнаго, но просто знакомаго лица... Кому передать документъ? Въ то время меня опять позвали къ телефону...

— Это я — Бубликовъ... Я знаете на всякій случай послалъ къ вамъ человѣчка... одинъ инженеръ... совершенно вѣрный... онъ найдетъ васъ на вокзалѣ... скажетъ, что отъ меня... Можете ему все повѣрить... Понимаете?

— Понимаю...

* * *

Черезъ нѣсколько минутъ изъ толпы меня окружавшей какой-то господинъ протискался сказавъ, что онъ отъ Бубликова... Я сказалъ ему:

— Васъ никто не знаетъ... За вами не будутъ слѣдить... Идите пѣшкомъ, совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю...

Я незамѣтно передалъ ему конвертъ. Онъ исчезъ...

Теперь я могъ идти на митингъ...

* * *

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская съ желѣзностекляннымъ потолкомъ... Густая толпа рабочихъ стояла стѣной, а тамъ, вдали, въ глубинѣ, былъ высокій эшафотъ, то-есть не эшафотъ, а помостъ на которомъ стоялъ Гучковъ и еще какіе-то люди...

Я сталъ пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня „срочное порученіе". Съ трудомъ я пробился къ подножію „эшафота". На помостъ вела приставная лѣстница... Я вскарабкался по этой лѣстницѣ послѣ цѣлаго ряда ссоръ и объясненій,

что у меня „срочное порученіе“. Съ трудомъ я пробился къ подножію „эшафота“. На помостъ вела приставная лѣстница... Я вскарабкался по этой лѣстницѣ послѣ цѣлаго ряда ссоръ и объясненій, что у меня „срочное порученіе“. Когда я вскарабкался предсѣдатель этого собранія—рабочій, который стоялъ рядомъ съ Гучковымъ, говорилъ рѣчь, такого содержанія:

— Вотъ, къ примѣру, они образовали Правительство... кто же такіе въ этомъ Правительствѣ? Вы думаете, товарищи, отъ народа кто-нибудь?.. Такъ сказать отъ того народа, кто свободу себѣ добылъ? Какъ бы не такъ!.. Вотъ читайте... князь Львовъ... Князь...

По толпѣ пошелъ рокотъ... Предсѣдатель продолжалъ:

— Ну, да... Князь Львовъ... Князь... такъ вотъ для чего мы, товарищи, революцію дѣлали!.. Отъ этихъ самыхъ князей и графовъ все и терпѣли... Вотъ освободились — и на тебѣ!.. Князь Львовъ...

Толпа забурлила... Онъ продолжалъ:

— Дальше... Напримѣръ, товарищи, кто у насъ будетъ министромъ финансовъ... Какъ бы вы думали?.. Можетъ быть кто-нибудь изъ тѣхъ, кто на своей шкурѣ испыталъ... какъ бѣдному народу живется... и что такое есть финансы?... Такъ вотъ что я вамъ скажу... Теперь министромъ финансовъ будетъ у насъ господинъ Терещенко... Кто такой господинъ Терещенко? Я вамъ скажу, товарищи... Сахарныхъ заводовъ — штукъ десять... Земли — десятинъ тысячъ сто... Да денжонками — милліоновъ тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передалъ ему свой разговоръ съ Милюковымъ.

— Намъ надо уходить отсюда...

— Да, но это не такъ просто... Они меня пригласили, — я долженъ имъ сказать...

— Я попробую добиться отъ этого предсѣдателя, чтобы онъ далъ мнѣ слово не въ очередь и заявлю, что у насъ очень срочное дѣло...

Въ это время предсѣдатель уже окончилъ свою рѣчь подъ оглушительныя рукоплесканія... И передалъ слово кому то другому, такому же какъ и онъ...

Я присталъ къ нему, объясняя, что мнѣ надо Онъ нетерпѣливо отъ меня отбояривался и твердилъ „подождите".

Въ это время другой ораторъ распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вотъ они поѣхали... Привезли!.. Кто ихъ знаетъ, что они привезли!.. Можетъ быть такое, что совсѣмъ для революціонной демократіи неподходящее... Кто ихъ просилъ?.. Отъ кого поѣхали? Отъ народа? Отъ совѣта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ? Нѣтъ!.. Отъ Государственной Думы!.. А кто такіе Государственная Дума? Помѣщики!.. Я бы такъ совѣтовалъ, товарищи, что и не слѣдовало бы, можетъ быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпустить... Вотъ бы вы тамъ, товарищи, двери и поприкрыли бы!..

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрыть двери!..

Двери закрылись... Это становилось совсѣмъ непріятнымъ.

Въ это время предсѣдатель сказалъ тихонько Гучкову, стоявшему съ нимъ рядомъ:

— Александръ Ивановичъ... А вы очень... оскорбитесь... если мы документикъ то у васъ—того...

Гучковъ отвѣтилъ:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вотъ дайте мнѣ слово...

А я подумалъ: „Опоздали, голубчики... Документикъ то того. Отосланъ куда надо"...

Въ это время неожиданно къ намъ протянули руку помощи. Какой то человѣкъ, по виду рабочій, но съ интеллигентнымъ лицомъ, должно быть инженеръ сталъ говорить:

— Вотъ вы кричите закрыть двери, товарищи... А я вамъ скажу — неправильно вы поступаете... Потому что вотъ смотрите какъ съ ними — вотъ съ Александромъ Ивановичемъ — старый режимъ поступилъ... Они какъ къ нему поѣхали? Съ оружіемъ? Со штыками? Нѣтъ... Вотъ такъ какъ стоятъ теперь передъ вами — такъ и поѣхали — въ пиджачкахъ-съ!.. И старый режимъ ихъ уважилъ... Что съ ними могъ сдѣлать старый режимъ? Арестовать!.. Разстрѣлять!.. Вѣдь — одни пріѣхали. Въ самую пасть. Но старый режимъ, обращая вниманіе... какъ пріѣхали! — ничего имъ не сдѣлалъ — отпустилъ... И вотъ они — здѣсь... Мы же сами ихъ пригласили... Они довѣрились — пришли къ намъ.. А за это, за то, что они намъ повѣрили... и пришли такъ, какъ къ старому режиму вчера ѣздили, за это вы — что?.. „Двери на запоръ"... Угрожаете?.. Такъ я вамъ скажу, товарищи, что вы хуже стараго режима!..

* * *

Ахъ — толпа!.. Въ особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходятъ мгновенно другъ другу на смѣну.

* * *

Слова инженера родили обратную волну. Закричали тамъ и здѣсь:

— Вѣрно. Вѣрно говоритъ! Что тамъ... Открыть двери!..

Но двери нѣкоторое время сопротивлялись

Тогда звыли сотни голосовъ — уже грозныхъ:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Сталъ говорить Гучковъ. Я не помню что — какія то успокаивающія слова. Во время его рѣчи мнѣ удалось добиться отъ предсѣдателя обѣщанія дать мнѣ слово внѣ очереди. Онъ наконецъ понялъ, почему это нужно, и когда Гучковъ кончилъ, далъ мнѣ слово. Я сказалъ имъ:

— Вотъ мы тутъ разсуждаемъ о томъ, о другомъ: хорошъ ли князь Львовъ и сколько милліоновъ у Терещенко. Можетъ быть — рано? Я присланъ сюда со срочнымъ порученіемъ: сейчасъ въ Государственной Думѣ между Комитетомъ Думы и Совѣтомъ Рабочихъ Депутатовъ идетъ важнѣйшее совѣщаніе. На этомъ совѣшаніи все рѣшится. Можетъ быть такъ рѣшится, что всѣмъ понравится. Такъ, можетъ быть, и это все, что здѣсь говорится — зря говорится... Во всякомъ случаѣ намъ съ Александромъ Ивановичемъ надо немедленно ѣхать!

— Ну и ѣзжайте... Кто васъ держитъ?

Какъ разъ было время. Мы слѣзли съ Гучковымъ съ эшафота по приставной лѣстницѣ и стали пробиваться къ выходу. Толпа разступалась — скорѣе дружелюбно, какъ бы заглаживая, что хотѣла „закрыть двери“.

Мы вышли на залитый солнцемъ и морозомъ день. Когда мы прошли нѣсколько шаговъ, къ намъ бросилось нѣсколько офицеровъ:

— Ну, слава Богу...

Они были мнѣ незнакомы. Одинъ изъ нихъ прошепталъ мнѣ на ухо:

— Намъ сказали, что васъ арестовали тамъ въ мастерскихъ... Такъ вотъ мы и приготовились...

Онъ показалъ рукой. На нѣкоторомъ разстояніи, обращенный лицомъ къ дверямъ мастерскихъ притаился приземистый зеленый толстоватый безхвостый ящеръ на колесикахъ, — то есть пулеметъ.

Эти офицеры должно быть были саперы. Это потому я такъ думаю, что Гучкова сейчасъ же окружили и просили зайти на минутку въ саперныя казармы, которыя „тутъ же“ и А. И. пошелъ.

Онъ быстро вернулся. Въ это время откуда то появился приземистый человѣкъ — весь въ кожѣ, но не черной, а желтой, какъ будто интеллигентный рабочій. У него висѣлъ револьверъ на поясѣ. Кто онъ былъ я не знаю, но словомъ онъ объявилъ, что автомобиль поданъ. Мы пошли, неизмѣнно сопрдвождаемые откуда то берущейся толпой. Пошли черезъ вокзалъ на площадь... На площади передъ вокзаломъ была масса народу... У ступеней перона стоялъ автомобиль, подъ огромнымъ краснымъ флагомъ. Изъ оконъ торчали штыки. Кромѣ того два солдата лежали на двухъ крыльяхъ автомобиля на животѣ штыками впередъ.

Мы полѣзли въ автомобиль. Человѣкъ въ желтой кожѣ тоже втиснулся. Онъ сѣлъ противъ меня, вынулъ револьверъ и сказалъ шофферу, чтобы ѣхалъ. Машина взяла ходъ, тогда онъ спросилъ:

— Куда ѣхать?

Я отвѣтилъ:

— На Милльонную, 12...

Онъ сказалъ шофферу и прибавилъ какъ бы въ объясненіе:

— Чтобъ тамъ не слышали... куда ѣдемъ...

Я понялъ, что онъ — нашъ... Я его больше никогда не видѣлъ. Онъ чего то боялся. Повидимому боялся не преслѣдуетъ ли насъ какая нибудь машина.

* * *

Мы неслись бѣшенно. День былъ морозный, солнечный... Городъ былъ совсѣмъ странный — сумасшедшій, хотя и тихимъ помѣшательствомъ... пока.

Трамваи стали, экипажей, извозчиковъ не было совсѣмъ... Изрѣдка неистово проносились грузовики съ ощетиненными штыками. Куда? Зачѣмъ? Съ однимъ изъ нихъ мы имѣли „объясненіе"... Онъ отсталъ послѣ ругани нашего „желтокожаго".

Всѣ магазины закрыты... Но самое странное то, что никто не ходитъ по тротуарамъ. Всѣ почему то выбрались на мостовую. И ходятъ толпами. Главнымъ образомъ — толпы солдатъ. Съ винтовками за плечами, не въ строю, безъ офицеровъ — ходятъ толпами безъ смысла... На лицахъ не то радостное, не то растерянное недоумѣніе... Чего они хотятъ? Ничего... Они сами не знаютъ... Празд-

нуютъ „слободу“... И „что значитъ на фронтъ уже, товарищи, не пойдемъ“!.. Вотъ это въ ихъ глазахъ твердо написано.

И вотъ это, — ужасъ... Стотысячный гарнизонъ — на улицѣ. Безъ офицеровъ! Толпами! Значитъ — конецъ... Значитъ дисциплина окончательно потеряна... Арміи — нѣтъ... Опереться не на что...

* * *

Машина рѣзала эту безсмысленную толпу... Для чего то мы крутили по какимъ то улицамъ... Это должно быть зналъ „желтокожій“. Два „архангела“ лежали на брюхахъ на крыльяхъ автомобиля и ихъ выдвинутые впередъ штыки пронзали воздухъ... Мнѣ все казалось, что они кому то выколютъ глазъ. На одномъ углу я замѣтилъ единственный открытый магазинъ. Продавали цвѣты!.. Какъ глупо...

* * *

Вотъ Милліонная... Вотъ знакомый домъ съ колонками... И тутъ бродитъ какая-то солдатня. Автомобиль останавливается гдѣ-то, не доѣзжая... Не хотятъ „обращать вниманіе“.

Мы идемъ нѣсколько шаговъ пѣшкомъ. Вотъ двѣнадцатый номеръ. Вошли. Внутри — два часовыхъ... Значитъ есть какая-то охрана.

* * *

Поднялись... Квартира Путятина... Въ передней — ходынка платья. И нѣсколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здѣсь?

— Здѣсь... Всѣ члены правительства...

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Всѣ члены Комитета Государственной Думы... Идите — ждали васъ...

— Великій Князь здѣсь?

— Да...

* * *

Посрединѣ между ними въ большомъ креслѣ сидѣлъ офицеръ моложавый, съ длиннымъ худымъ лицомъ... Это былъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ, котораго я никогда раньше не видѣлъ. Вправо и влѣво отъ него на диванахъ и креслахъ — полукругомъ, какъ два крыла только что провозглашеннаго мною Монарха, были всѣ, кто должны были быть его окруженіемъ: вправо — Родзянко, Милюковъ и другіе, влѣво — князь Львовъ, Керенскій, Некрасовъ и другіе. Эти другіе были: Ефремовъ, Ржевскій, Бубликовъ, Шидловскій, Владиміръ Лыковъ, Терещенко, кто еще, не помню.

Гучковъ и я сидѣли напротивъ, потому что пришли послѣдними...

* * *

Это было въ родѣ, какъ засѣданіе... Великій Князь какъ бы давалъ слово, обращаясь то къ тому, то къ другому:

— Вы, кажется, хотѣли сказать?

Тотъ, къ кому онъ обращался, — говорилъ.

* * *

Говорили о томъ: слѣдуетъ ли Великому Князю принять Престолъ или нѣтъ...

Я не помню всѣхъ рѣчей. Но я помню, что

только двое высказались за принятіе престола. Эти двое были: Милюковъ и Гучковъ...

* * *

Направо отъ Великаго Князя стоялъ диванъ, на которомъ ближе къ Великому Князю сидѣлъ Родзянко, а за нимъ Милюковъ.

Пять сутокъ нечеловѣческаго напряженія сказались... Вѣдь и Наполеонъ выдерживалъ только четыре... И желѣзный Милюковъ прячась за огромнымъ Родзянко засыпалъ, сидя... Вздрагивалъ, открывалъ глаза и опять засыпалъ...

— Вы кажется хотѣли сказать?

Это Великій Князь къ нему обратился.

Милюковъ встрепенулся и сталъ говорить.

Эта рѣчь его, если это можно назвать рѣчью, была потрясающая...

* * *

Головой — бѣлый, какъ лунь, лицомъ сизый отъ безсонницы, совершенно сиплый отъ рѣчей въ казармахъ и на митингахъ, онъ не говорилъ, онъ каркалъ хрипло...

— Если Вы откажетесь... Ваше Высочество... будетъ гибель!.. Потому что Россія... Россія потеряетъ... свою ось... Монархъ — это ось... Единственная ось страны!.. Масса, русская масса... вокругъ чего... вокругъ чего она соберется? Если Вы откажетесь... будетъ анархія!.. хаосъ... кровавое мѣсиво... Монархъ — это единственный центръ... Единственное, что всѣ знаютъ... Единственное — общее... Единственное понятіе о власти!.. пока... въ Россіи.. Если Вы откажетесь... будетъ ужасъ... полная неизвѣстность... ужасная неизвѣстность... потому что...

не будетъ... не будетъ присяги!.. а присяга это отвѣтъ... единственный отвѣтъ... единственный отвѣтъ, который можетъ дать народъ!.. намъ всѣмъ... на то, что случилось... это его — санкція... его одобреніе... его согласіе!.. безъ котораго... нельзя...ничего... безъ котораго не будетъ... государства... Россіи!.. ничего не будетъ...

* * *

Бѣлый, какъ лунь, онъ каркалъ, какъ воронъ .. Онъ каркалъ мудрыя, вѣщія слова... самыя большія слова его жизни...

И все же...

И все же онъ оставался тѣмъ, чѣмъ онъ былъ... Милюковымъ...

* * *

Великій Князь слушалъ его, чуть наклонивъ голову... Тонкій, съ длиннымъ почти еще юношескимъ лицомъ, онъ весь былъ олицетвореніемъ хрупкости...

Этому человѣку говорилъ Милюковъ свои вѣщія слова. Ему онъ предлагалъ совершить:

„подвигъ силы безпримѣрной...“

* * *

Что значилъ совѣтъ принять Престолъ въ эту минуту?

Я только что прорѣзалъ Петербургъ. Стотысячный гарнизонъ былъ на улицахъ. Солдаты съ винтовками, но безъ офицеровъ шлялись по улицамъ безпорядочными толпами.

А за этой штыковой стихіей — кто?

„Совѣтъ рабочихъ депутатовъ“ и германскій штабъ, злѣйшіе враги: соціалисты и нѣмцы.

* * *

Совѣтъ принять Престолъ означалъ въ эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять Престолъ сейчасъ — значило: во главѣ вѣрнаго полка броситься на соціалистовъ и раздавить ихъ пулеметами.

* * *

Терещенко дѣлалъ мнѣ какіе-то знаки. Я понялъ, что онъ проситъ меня выскользнуть въ сосѣднюю комнату на минуту.

Я сдѣлалъ это.

— Что такое?

— В. В... Я больше не могу... Я застрѣлюсь... Что дѣлать, что дѣлать!..

* * *

Да, — что дѣлать?.. Съ ума можно было сойти.

* * *

— Бросьте... Успѣете... Скажите, есть ли какія нибудь части?.. на которыя можно положиться?..

— Нѣтъ... ни одной...

А вотъ внизу я видѣлъ часовыхъ...

— Это нѣсколько человѣкъ... Керенскій дрожитъ... Онъ боится... каждую минуту могутъ сюда ворваться... Онъ боится, чтобы не убили Великаго Князя... Какія-то банды бродятъ... Боже мой!..

* * *

Мы вернулись...

И Керенскій говорилъ:

— Ваше Высочество... Мои убѣжденія — республиканскія. Я противъ Монархіи!.. Но я сейчасъ

не хочу, не буду... Разрѣшите Вамъ сказать совсѣмъ иначе... Разрѣшите Вамъ сказать, какъ русскій — русскому! Павелъ Николаевичъ Милюковъ ошибается. Принявъ Престолъ, Вы не спасете Россіи!.. Наоборотъ... Я знаю настроеніе массы!.. рабочихъ и солдатъ... Сейчасъ рѣзкое недовольство направлено именно противъ Монархіи... Именно этотъ вопросъ будетъ причиной кроваваго развала... И это въ то время... когда Россіи нужно полное единство... передъ лицомъ внѣшняго врага.. начнется гражданская, внутренняя война!.. И поэтому я обращаюсь къ Вашему Высочеству... какъ русскій — къ русскому!.. Умоляю Васъ во имя Россіи принести эту жертву!.. Если это жертва... Потому что съ другой стороны... я не въ правѣ скрыть здѣсь, какимъ опасностямъ Вы лично подвергаетесь въ случаѣ рѣшенія принять Престолъ... Во всякомъ случаѣ я не ручаюсь за жизнь Вашего Высочества!..

Онъ сдѣлалъ трагическій жестъ и рѣзко отодвинулъ свое кресло.

* * *

Много лѣтъ тому назадъ, 14 декабря 1825 года были какъ и теперь, — Николай и Михаилъ...

Николай былъ Государь. Михаилъ — Его братъ...

Какъ и теперь...

Какъ и теперь, разразился военный бунтъ.

Бунтъ декабристовъ.

Что сдѣлалъ Николай?

Николай сказалъ:

— Завтра или мертвъ, или Императоръ...

„Завтра“ Онъ вскочилъ на коня, бросился на площадь и картечью усмирилъ бунтъ...

Что сдѣлалъ Михаилъ?

Онъ послѣдовалъ за старшимъ братомъ...

Какъ и теперь...

Да, какъ и теперь, потому что и теперь Михаилъ пошелъ за братомъ, Николаемъ...

* * *

За принятіе Престола говорилъ еще Гучковъ.

* * *

Я, кажется, говорилъ послѣднимъ. Я сказалъ:

— Обращаю вниманіе Вашего Высочества на то, что тѣ, кто должны были быть Вашей опорой въ случаѣ принятія Престола, то есть почти всѣ члены новаго правительства, этой опоры Вамъ не оказали... Можно ли опереться на другихъ? Если нѣтъ, то у меня не хватаетъ мужества при этихъ условіяхъ совѣтовать Вашему Высочеству принять Престолъ...

* * *

Великій Князь всталъ... Тутъ стало еще виднѣе какой онъ высокій, тонкій и хрупкій... Всѣ поднялись.

— Я хочу подумать полчаса...

Подскочилъ Керенскій.

— Ваше Высочество... Мы просимъ Васъ... чтобы Вы приняли рѣшеніе наединѣ съ Вашей совѣстью... не выслушивая кого-либо изъ насъ... отдѣльно...

Великій Князь кивнулъ ему головой и вышелъ въ сосѣднюю комнату...

* * *

Образовались группы... Я былъ у окна... Подошелъ Милюковъ и что-то сталъ мнѣ говорить.

Вдругъ Керенскій съ трагическимъ жестомъ схватилъ меня за руку.

— Я не позволю!.. мы условились!.. Никакихъ сепаратныхъ разговоровъ! Все сообща.

Глаза у него сверкали. Лицо—повелительное...

Я немного разсердился.

— Александръ Федоровичъ. Нельзя ли... другимъ тономъ...

Онъ вдругъ деформировался совершенно... Лицо стало ласковое, умоляющее...

— Ну дорогой мой; ну золотой; ну серебряный .. ну не разстраивайте... ну не разстраивайте же!..

И побѣжалъ къ другимъ...

Онъ былъ должно быть „не въ себѣ"... Мы пожали плечами и продолжали разговоръ...

* *
*

Великій Князь позвалъ къ себѣ Родзянко. Противъ этого почему-то Керенскій не протестовалъ. Родзянко пошелъ.

* *
*

Кто-то подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

— Не грустите... существуетъ легенда... будутъ царствовать Михаилъ и при немъ буд...

* *
*

Великій Князь вышелъ... Это было около двѣнадцати часовъ дня... Мы поняли, что настала минута.

Онъ пошелъ до середины комнаты.

Мы столпились вокругъ него.

Онъ сказалъ:

— При этихъ условіяхъ не могу принять Престола, потому что...

Онъ не договорилъ, потому что... потому что заплакалъ...

* *
*

Керенскій рванулся:

— Ваше Императорское Высочество... Я принадлежу къ партіи, которая запрещаетъ мнѣ... соприкосновеніе съ лицами Императорской крови... Но я берусь... и буду это утверждать... передъ всѣми!.. да, передъ всѣми!.. что я... глубоко уважаю... Великаго Князя Михаила Александровича!..

* *
*

Онъ сорвался и наскоро одѣвшись умчался... Кто-то объяснилъ мнѣ, что онъ все время дрожалъ... что ворвуться... что напряженіе очень сильно.

* *
*

Великій Князь ушелъ къ себѣ. Стали говорить о томъ, какъ написать отреченіе.

* *
*

Некрасовъ показалъ мнѣ набросокъ, имъ составленный. Онъ былъ очень плохъ. Кажется поручили Некрасову, Керенскому и мнѣ его улучшить. Милюковъ объяснилъ мнѣ, что наканунѣ Комитетъ Государственной Думы призналъ необходимымъ подъ давленіемъ слѣва въ той или иной формѣ упомянуть объ Учредительномъ Собраніи.

* *
*

Княгиня Путятина просила всѣхъ завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ея руку — Великій Князь. По лѣвую посадили меня. Рядомъ съ Великимъ Княземъ былъ ка-

жется князь Львовъ. Рядомъ со мной, кажется, Некрасовъ или Терещенко. Напротивъ княгини — Керенскій. Остальныхъ не помню.

За завтракомъ Великій Князь спросилъ меня:

— Какъ держалъ себя мой братъ?

Я отвѣтилъ:

— Его Величество былъ совершенно спококоенъ... Удивительно спокоенъ...

Затѣмъ разсказалъ все, какъ было.

* * *

Послѣ завтрака мы, то есть тѣ, кто долженъ былъ редактировать актъ, перешли въ другую комнату. Это была дѣтская. Стояли кроватки, игрушки и маленькія парты...

На этихъ школьныхъ партахъ и написалось..

* * *

Скоро вызвали Набокова и Нольде.

Они собственно и обработали болѣе или менѣе записку Некрасова.

Потому что Некрасовъ и Керенскій то уходидили, то приходили.

Керенскій все торопилъ, утверждая, что положеніе очень трудное.

Однако онъ же и затѣвалъ споры.

Особенно долго спорили о томъ, кто поставилъ Временное Правительство: Государственная ли Дума или „воля народа“. Керенскій потребовалъ отъ имени Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это не вѣрно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной Думы.

Я при этомъ удобномъ случаѣ заявилъ, что князь Львовъ назначенъ Государемъ Императоромъ Николаемъ II приказомъ Правительствующему Сенату помѣченнымъ двумя часами раньше отрѣченія. Мнѣ объяснили, что они это знаютъ, но что это надо тщательно скрывать, чтобы не подорвать положеніе князя Львова, котораго лѣвые и такъ елееле выносятъ.

Наконецъ, помирились на томъ, чтобы было „волею народа по почину Государственной Думы“, но въ окончательномъ текстѣ „воля народа“ куда то исчезла. Какъ это случилось, не помню.

* * *

Наконецъ, составили и передали Великому Князю. Въ это время въ дѣтской оставались Набоковъ, Нольде и я. Черезъ нѣкоторое время секретарь Великаго Князя, не помню его фамиліи, высокій, плотный блондинъ, молодой, въ земгусарской формѣ, принесъ текстъ обратно. Онъ передалъ, что Великій Князь всюду проситъ употреблять отъ его лица мѣстоимѣніе „Я“, а не „Мы“ (у насъ всюду было — „Мы“), потому что Великій Князь считаетъ, что онъ престола не принялъ, Императоромъ не былъ, а потому не долженъ говорить „Мы“. Во вторыхъ, по этой же причинѣ, вмѣсто слова „повелѣваемъ“, какъ мы написали, — употребить слово „прошу“. И наконецъ, Великій Князь обратилъ вниманіе на то, что нигдѣ кажется въ текстѣ нѣтъ слова „Богъ“, а такіе акты безъ упоминанія имени Божія не бываютъ.

Всѣ эти указанія были выполнены и текстъ передѣланъ. Снова передали Великому Князю и на этотъ разъ онъ его одобрилъ.

Набоковъ сѣлъ на дѣтскую парту переписывать набѣло.

* * *

„Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего передавшаго Мнѣ Императорскій, Всероссійскій Престолъ въ годину безпримѣрной войны и волненій народныхъ. Одушевленный единою со всѣмъ народомъ мыслію, что выше всего благо Родины Нашей, приняъ Я твердое рѣшеніе въ томъ лишь случаѣ воспріять Верховную Власть, если такова будетъ воля великаго народа Нашего, которому надлежитъ всенароднымъ голосованіемъ черезъ представителей своихъ въ Учредительномъ Собраніи установить образъ правленія и новые основные законы Государства Россійскаго. Посему, призывая благословеніе Божіе, прошу всѣхъ гражданъ Державы Россійской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему, и облеченному всею полнотой власти, впредь до того, какъ созванное возможно въ кратчайшій срокъ на основѣ всеобщаго, прямого равнаго и тайнаго голосованія Учредительное Собраніе своимъ рѣшеніемъ объ образѣ правленія, выразитъ волю народа.“

* * *

За это время всѣ разъѣхались. Великій Князь нѣсколько разъ говорилъ со мной. Говорилъ, такъ сказать, по просту. Хотя онъ не зналъ меня раньше, но видимо инстинктивно чувствовалъ, что мнѣ династія дорога не только разумомъ, но и чувствомъ. Великій Князь кромѣ того внушалъ мнѣ личную симпатію. Онъ былъ хрупкій, нѣжный, рож-

денный не для такихъ ужасныхъ минутъ, но онъ былъ искренній и человѣчный. На немъ совсѣмъ не было маски. И мнѣ думалось:

— Какимъ хорошимъ конституціоннымъ монархомъ онъ былъ бы...

Увы... Тамъ въ сосѣдней комнатѣ писали отреченіе династіи.

* * *

Великій Князь такъ и понималъ. Онъ сказалъ мнѣ:

— Мнѣ очень тяжело... Меня мучаетъ, что я не могъ посовѣтоваться со своими. Вѣдь братъ отрекся за себя... А я, выходитъ такъ, что отрекаюсь за всѣхъ...

* * *

Это было часовъ около четырехъ дня — у окна, въ той комнатѣ, гдѣ много ковровъ и мягкихъ креселъ.

* * *

Къ сожалѣнію отъ меня совершенно ускользаетъ самая минута подписанія отреченія... Я не помню, какъ это было. Помню только почему-то, что Набоковъ взялъ себѣ на память перо, которымъ подписалъ Михаилъ Александровичъ. И помню, что появившійся къ этому времени Керенскій умчался стремглавъ въ типографію. (Кто то еще разъ сказалъ, что могутъ каждую минуту ворваться).

Черезъ полъ часа по всему городу клеили плакаты:

„Николай отрекся въ пользу Михаила, Михаилъ отрекся въ пользу народа.“

* * *

Я вспоминаю опять все ясно съ той минуты когда я шелъ домой черезъ Троицкій мостъ.

Я пять сутокъ не былъ дома.

За это время...

* * *

За это время я присутствовалъ при отреченіи двухъ Государей... Когда пять дней тому назадъ я шелъ черезъ этотъ же мостъ, — Россія была Имперіей... Теперь что она?

* * *

И не республика, и не Монархія... Государственное образованіе безъ названія.

Впрочемъ...

* * *

Впрочемъ, развѣ уже не одиннадцать съ лишнимъ лѣтъ мы „безъ названія".

* * *

Empire constitutionel sous un Tzar autocrate

„Конституціонная Имперія подъ самодержавнымъ Царемъ".

Такъ называлъ Россію международный альманахъ Гота съ 1906 года.

Scheinkonstituzionalizmus, — говорили нѣмцы...

„Никакой законъ не можетъ воспріять силы безъ одобренія Думы" — говорили основные Законы.

„Самодержавіе Мое останется при Мнѣ, какъ и встарь" — говорилъ создавшій этотъ строй Государь.

* * *

Послѣдній Государь...

Вотъ она „Русская Конституція"... Началась еврейскимъ погромомъ и кончилась разгромомъ Династіи.

* * *

Я оперся на парапетъ. Закатъ вычертилъ за Петропавловской кровавый плакатъ... И я вспомнилъ...

* * *

Я вспомнилъ, какъ въ 1905 году послѣ манифеста 17 октября за то, что не было въ немъ равноправія „жиды" сбросили Царскую корону".

И какъ жалобно зазвенѣлъ трехсотлѣтній металъ, ударившись о грязную мостовую.

И какъ десятки, сотни, милліоны вдругъ почувствовали смертельную обиду и страхъ, бросились, подняли Царскую Корону и колѣнопреклоненно вернули ее Царю.

„Царствуй на страхъ врагамъ...
„Царствуй на славу намъ"...

* * *

И Царь царствовалъ...

* * *

Увы...

Прошло одиннадцать лѣтъ...

И вотъ уже не „жидовскими происками" стала вновь падать корона.

Государственная Дума бросилась подхватить ее изъ ослабѣвшихъ рукъ Императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаилъ не могъ принять ее изъ рукъ Государственной Думы... Ибо и Дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

* * *

Жалобно звенитъ она о гранитъ мостовыхъ.

Но на этотъ разъ никого не будитъ ея звонъ.

Народъ не бѣжитъ, взволнованный и ужасный, какъ тогда..

„И казаки на зовъ Палія
Не налетятъ со всѣхъ сторонъ“...

* * *

И пройдутъ мѣсяцы, можетъ быть годы, вѣрнѣе — долгіе годы...

Пока...

Пока зазвучитъ набатъ...

* * *

Какой это будетъ годъ?..

* * *

И Петропавловскій Соборъ рѣзалъ небо острой иглой. Зарево было кроваво...

* * *

„Да поможетъ Господь Богъ Россіи“...

